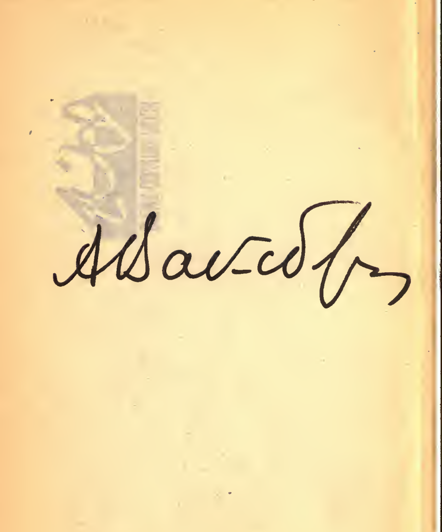


Аркадий
ВАКСБЕРГ

НЕРАСКРЫТЫЕ ТАЙНЫ

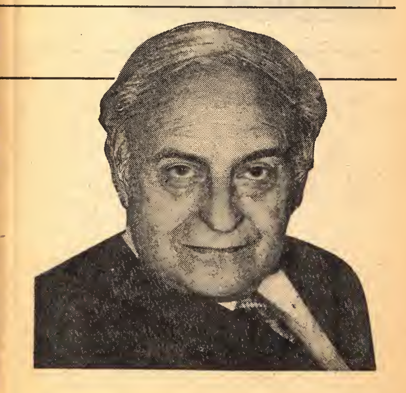
Новости


ВРЕМЯ·СОБЫТИЯ·ЛЮДИ



Аркадий
ВАКСБЕРГ

НЕРАСКРЫТЫЕ ТАЙНЫ



Новости

Москва, 1993

ББК 67.99(2)95
В 14

Фото на обложке В. Савельева



1



Февраль. Достать чернил и плакать!

Б. Пастернак

Чем жила страна в этот день? Закончился ледовый дрейф легендарных седовцев — капитан Бадигин и помполит Трофимов телеграфировали из Мурманска Сталину и Молотову о прибытии экипажа на родную землю. На советско-финском фронте ничего существенного не произошло. Газеты вот уже шестую неделю кряду продолжали печатать поток приветствий товарищу Сталину по случаю его шестидесятилетия. Опубликованы пространные выдержки из речи Гитлера в связи с годовщиной прихода к власти национал-социалистов, постановление СНК и ЦК «Об обязательной поставке шерсти государству».

А в каждом учреждении шла своя — будничная, деловая — работа. У юристов, разумеется, тоже. Военной коллегии Верховного суда СССР предстояло заслушать в тот день, 1 февраля 1940 года, очередные дела.

Теперь, когда многое — вчера еще тайное тайных — стало явным (вообще-то малое, а не многое, но в сравнении с полной безвестностью оно кажется просто гигантским), видно, сопоставляя даты, что дела для «тружеников» из военной коллегии НКВД подбирал пачками, группируя их по каким-то, лишенным логики, одному лишь этому ведомству известным и понятным признакам. Впрочем, понять эту логику, если вообще она была, почти невозможно, но какие-то договоренности на этот счет, видимо, были, поскольку конвейер военной коллегии работал по некоему признаку «сессий». Например, в феврале сорокового множество дел рассмотрено на протяжении первых дней месяца, потом судьи отдыхали от нервных перегрузок, а в конце месяца собрались снова и пропустили через свой конвейер очередную пачку заготовленных на Лубянке дел.

Закономерность эта проявилась гораздо раньше – возможно, она связана не с режимом «работы» судей,

а с готовностью палачей. Публикуемые «Вечерней Москвой» так называемые «расстрельные списки» самого начала тридцатых годов обращают на себя внимание датами казней: десятки ничем и никак не связанных между собой людей уничтожаются в один день или в дни, непосредственно следующие друг за другом. Или — другой пример: когда историки стали выяснять судьбу членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на XVII съезде, сразу бросилась в глаза эта трагическая «групповщина»: 30 октября 1937 года были уничтожены сразу двенадцать цекистов, 27 ноября того же года — семь, 10 февраля 1938 года — пять, 26 февраля — четыре, 29 июля — девять...

Вот и теперь, к очередной «сессии», пришедшейся на начало февраля 1940 года, НКВД подготовил для судей группу сверхзнаменитостей. График был жесткий: двадцать минут на дело. Любая задержка привела бы к сбою, конвейер требует четкого ритма. Везде!

На этот раз, однако, процесс грозил затянуться: одно из дел, вопреки обыкновению (обыкновением стали «дела» по 10—20 страниц в тоненькой пачечке), — в двух увесистых томах. От искусного председателя всецело зависело и при этих условиях соблюсти намеченный график.

«Залом заседаний» военной коллегии нередко служил кабинет Берии в Лефортовской тюрьме. Его персональные кабинеты имелись во всех тюрьмах, где держали «политических» (и в Сухановской, и в Бутырской). Едва ли не каждую ночь он лично участвовал в том, что называлось «допросом». То есть, иначе сказать, в истязаниях: уже без всяких кавычек. Под утро уходил отдыхать, и тогда кабинет поступал в распоряжение судей.

Где заседала в тот день военная коллегия? Мейерхольд содержался в Бутырской тюрьме, другие жертвы, заклание которых было назначено на 1 февраля, разбросаны по другим тюрьмам. Ясное дело, их свезли на Лубянку, которая соединялась с неприметным зданием военной коллегии (угол Театрального проезда и улицы 25 Октября, позади памятника первопечатнику Ивану Федорову) подземным ходом.

Места за столом заняли трое военных. Председательствовал неутомимый армвоенюрист Василий Уль-

рих. Имени этого человека суждено остаться в истории, поэтому нескольких слов о себе он, несомненно, заслуживает, как бы ни были скупы те сведения о нем, которыми мы располагаем.

Уроженец Риги, выходец из смешанной латышско-русской семьи, он еще в детстве оказался среди революционеров. Отец его (партийная кличка Мефодий) многократно ссылался и скитался по тюрьмам. Вместе с родителями будущий «карающий меч» в 10-летнем возрасте стал сибиряком: здесь, в Илимске, в Иркутской губернии, отбывал очередную ссылку Мефодий, он же Василий Данилович Ульрих. Мать, Софья Федоровна, не чуждая изящной словесности, писала в тиши и уюте провинциального городка рассказы, стишки и сказки, играла на стареньком пианино и мурлыкала незатейливые песенки домашнего производства. В этой странной атмосфере революционной страсти и патриархального быта и формировались высокие человеческие качества несгибаемого большевика, каковым он стал в возрасте 21 года.

Его дооктябрьская деятельность проходит в родной Риге, зато сразу же после захвата власти партия кидает товарища Ульриха в наркомвнудел, и сам Феликс Дзержинский определяет его председателем Главного военного трибунала войск внутренней охраны. Василий Васильевич Ульрих отличался — не в пример другим большевикам-универсалам — редкой верностью избранной однажды профессии и, не имея никакого юридического образования, посвятил военной юстиции всю свою жизнь. Образование, как оказалось, было бы на этом пути излишней обузой, и он прекрасно без него обошелся, став уже в январе 1926 года председателем военной коллегии Верховного суда СССР.

На этом боевом посту он пробудет четверть века, пока его одиозная «популярность» Сталину не надоест и вождь без всяких, разумеется, объяснений вышвырнет его на обочину. Генерал-полковник юстиции станет начальником курсов при Военно-юридической академии, которую возглавлял просто полковник. В этом качестве он просуществует чуть больше двух лет, продолжая занимать тот же самый однокомнатный номер в гостинице «Метрополь», где жил долгие годы. Аскет, упоенно преданный своему высокому и многотрудно-

му делу, Ульрих пренебрегал «мещанским уютом» и квартирой долго не обзаводился. Или, точнее, не пользовался. На склоне лет, оставшись фактически не у дел, он вспомнил о существовании и иных радостей жизни. В свой гостиничный номер этот «маленький, лысый человек с розовым лицом и подстриженными усиками» — так рисует его портрет один очевидец — приводил дрожавших от страха представительниц древнейшей профессии и рассказывал им, как «у нас расправляются с врагами народа». При казнях он часто самолично присутствовал, а случалось, и приводил в исполнение те приговоры, которые пачками выносил: чтобы рука не разучилась владеть оружием. Так что красочных сюжетов для рассказов своим посетительницам у него хватало с избытком. Вскоре, однако, его настиг удар — и без всяких почестей он был похоронен на почетном Новодевичьем кладбище.

Но до кладбища еще далеко. 1 февраля 1940 года пятидесятилетний Ульрих был полон энергии и сил. И неукротимой жажды расправиться с новыми врагами. Рядом с ним сидели в тот день двое других, совершенно безвестных судей — Дмитрий Кандыбин и Василий Буканов. Впрочем, возможно, я не совсем точен, назвав их совершенно безвестными. Сегодня их имена действительно никому и ничего не говорят. Но тогда, в конце тридцатых — начале сороковых, так не казалось. Хотя бы уже потому, что Буканов, к примеру, в тридцать восьмом стал депутатом Верховного Совета РСФСР. Вместе с ним, замечу попутно, республиканскими «парламентариями» стали сразу семь (!) членов военной коллегии Верховного суда СССР (Рычков, Голяков, Матулевич, Никитченко, Дмитриев, Солодилов, Буканов). Случай, не имевший аналогов ни до, ни после!.. Причем, заметим это, столь высокую честь оказали не «гражданским» членам Верховного суда СССР, а лишь членам военной коллегии, чьи имена мы найдем в сотнях и тысячах приговоров с одним и тем же финалом. Молча внимали они происходящему в судебном зале и столь же безропотно подписывали заранее заготовленные бумаги. Любопытно: и в «парламенте» ни один из них ни разу не произнес с трибуны ни единого слова: всюду статисты...

Человека, которого ввели первым, судьи знали отлично. Впрочем, совсем никому не знакомых в этот «зал» вообще не вводили: Ульрих судил знаменитостей. Но этого подсудимого знали не только судьи — знала страна. И по имени, и в лицо. Его снимки множество раз публиковались на газетных страницах. Кинохроника, заменявшая тогда телевидение, из журнала в журнал представляла его — на борту самолетов-гигантов, на испанской земле — под фашистскими бомбами, на полях и в шахтах, на солдатских учениях и театральных премьерах.

Это был Михаил Кольцов, известнейший публицист, член редколлегии «Правды», главный редактор «Огонька», «Крокодила», депутат Верховного Совета РСФСР, член-корреспондент Академии наук СССР. Бывший, бывший... Ибо теперь он был шпионом. Агентом трех разведок — германской, французской, американской. Членом антисоветского подполья с двадцать третьего года, «пропагандировавшим троцкистские идеи и популяризировавшим руководителей троцкизма», террористом с тридцать второго, намеревавшимся убить неизвестно кого, как, когда и за что. Признавшимся абсолютно во всем. Так было сказано в обвинительном заключении, уместившемся на двух с половиной страницах.

— Желаете чем-нибудь дополнить? — спросил подсудимого Ульрих.

— Не дополнить, а опровергнуть, — сказал Кольцов. — Все, что здесь написано, — ложь. От начала и до конца.

— Ну как же ложь? Подпись ваша?

— Я поставил ее... После пыток... Ужасных пыток...

— Ну вот, теперь еще вы будете клеветать на органы... Зачем усугублять свою вину? Она и так огромна...

— Я категорически отрицаю... — начал Кольцов, но Ульрих прервал его:

— Других дополнений нет?

Он укладывался в двадцать минут. Даже чуть сэкономил.

Когда 14 лет спустя подполковник юстиции Аракчеев проводил проверку этого дела, его поразила не

просто полнейшая безосновательность обвинения, но отсутствие малейшей попытки создать даже видимость доказательств. Свести хоть как-то концы с концами. Оставить в деле какие-то признаки следственных поисков.

Кольцова арестовали 12 декабря 1938 года. И лишь на следующий день сочинили «постановление об аресте». В нем указана и причина: «его родной брат, историк Фридляндер, расстрелян как активный враг народа...» Хотя родство с кем бы то ни было само по себе вообще не может быть преступлением, горькая ирония заключается в том, что уничтоженный к тому времени выдающийся ученый, декан исторического факультета МГУ Г.С. Фридляндер (отец писателя Феликса Светова) и М. Кольцов, настоящая фамилия которого Фридлянд, не доводились друг другу никем. Даже, как видим, однофамильцами — и теми не доводились. И нигде ни разу ни словом единым в обоих томах имя профессора, «родство» с которым послужило причиной ареста, больше не было упомянуто. О нем забыли.

Забыли и о том (или, напротив, помнили слишком усердно, но отнюдь не как о достоинствах), какие свершения уже вписаны в биографию этого незаурядного человека. Создатель «Огонька», «Чудака», «Крокодила» — наверно, и этого было бы достаточно для одного публициста, чтобы войти в историю отечественной журналистики. Но неукротимой энергии Кольцова было тесно в рамках своей профессии. Особенно его влекла авиация. Об организованных им первых беспосадочных дальних полетах писала вся мировая печать. Особенно прославился он личным участием в беспримерном по тем временам перелете над горами и пустынями по маршруту Москва — Анкара — Тегеран — Кабул. Это он был инициатором постройки самолета-гиганта «Максим Горький». В республиканской Испании этот сугубо штатский корреспондент стал советником правительства по авиации. Не называя Кольцова по имени, но его имея в виду, Фейхтвангер писал еще в начале тридцать седьмого: «Один русский писатель немало способствовал благоприятному ходу борьбы...» Хемингуэй вывел его под псевдонимом Карков в романе «По ком звонит колокол». «Нена-

вист и отвращение, — говорил, по свидетельству Хемингуэя, своим друзьям-испанцам Карков-Кольцов, — вызывает у нас двурушничество таких, как Зиновьев, Каменев, Рыков и их приспешники. Мы презираем и ненавидим этих людей».

Но ни малейших следов этой четкой идеологической позиции, этой бурной политической и общественной деятельности, хотя и ложно, извращенно, пусть даже издевательски истолкованной, в деле Кольцова нет. Она обойдена стороной. Забыта. У «врага народа» не должно быть никакой биографии. Никакой — кроме перечня его зловредной деятельности. На бумаге. В головах же сочинителей вымышленных преступлений биография подлинная, не рожденная их куцей фантазией, а реально существовавшая, — только она и была. И за нее ему мстили. Самым тяжким и непростительным преступлением Кольцова было то, что далось ему при рождении и от него никак не зависело: яркость личности, индивидуальность, резко выделявшая его из общего ранжира. Похоже, именно это больше всего раздражало Сталина.

Из Испании Кольцов вернулся 1 мая 1937 года. Через несколько дней его приняли Сталин и другие члены Политбюро. Почти три часа они слушали его доклад. В тот же вечер Кольцов поделился своим впечатлением с братом — художником Борисом Ефимовым.

«Сталин остановился возле меня, прижал руку к сердцу, поклонился.

— Как вас надо величать по-испански? Мигуэль, что ли?

— Мигель, товарищ Сталин, — ответил я.

— Ну так вот, дон Мигель. Мы, благородные испанцы, сердечно благодарим вас за ваш интересный доклад. До свидания, дон Мигель. Всего хорошего.

— Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин.

Я направился к двери, но тут он снова меня окликнул, и произошел какой-то странный разговор:

— У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?

— Есть, товарищ Сталин, — удивленно ответил я.

— Но вы не собираетесь из него застрелиться?

— Конечно, нет, — еще более удивляясь, ответил я, — и в мыслях не имею.

— Ну вот и отлично, — сказал Сталин. — Отлично! Еще раз спасибо, товарищ Кольцов. До свидания, дон Мигель».

Воспроизведенные Кольцовым ернические реплики Сталина позволяют в какой-то мере представить себе, что пробудило в нем плохо скрытую злость. Совершенно очевидно, что в своем трехчасовом докладе Кольцов представил себя глубоким знатоком испанской ситуации (каковым он, наверно, и был), разбирающимся в ней лучше, чем кто-то другой, и это оправданное, скорее всего, «хвастовство» не могло не вызвать раздражения у вождя народов. Издевательский, шутовской тон Сталина, вообще-то ему не свойственный, свидетельствовал о том, что «докладчик» задел его за живое. Это понял и сам Кольцов. «Знаешь, — сказал он брату, — что́ я совершенно отчетливо прочитал в глазах Хозяина, когда он провожал меня взглядом? «Слишком прыток».

Однако вряд ли правомерно из этого вывести упрощенно прямую связь между сталинской реакцией на доклад и арестом докладчика. Скорее, мне думается, Сталин тогда не только не отдал приказ расправиться с «доном Мигелем», но и дал ясно понять, чтобы от него отцепились. Пока!.. Он еще мог пригодиться: ведь до падения Республики оставалось еще почти два года, никто тогда, в мае тридцать седьмого, не предполагал, что революцию ждет разгром. Уже после беседы с вождем «слишком прыткий» стал депутатом, членкором, выпустил «Испанский дневник», прочитал о себе в газетах и журналах тысячи восторженных слов. И лишь полтора года спустя — 12 декабря 1938 года — был арестован.

Между тем Ежов, который присутствовал при докладе Кольцова членам Политбюро, знал, от каких бумаг уже начало пухнуть его энкаведистское дело. Вот что рассказывает в своей книге «Тайная история сталинских преступлений» бывший резидент советской разведки в Испании Александр Орлов (Лев Фельдбин). Весной (!) тридцать седьмого в Испанию приехал из Москвы дипкурьер и доверительно рассказал своим коллегам: по сведениям Особого управления НКВД, Кольцов «продался англичанам» и «снабжает секретной информацией лорда Бивербрука». Через несколько

дней Кольцов и был отозван (!) в Москву для доклада на заседании Политбюро.

Это был умнейший человек, наблюдательный, анализирующий — неужели и он не понимал, что происходит? Не предчувствовал, какой конец его ожидает? Воспоминания ближайшего к нему человека — Бориса Ефимова — крайне противоречивы. «Он искренне, глубоко, не боюсь сказать, фанатически, — пишет Б. Ефимов, — верил в мудрость Сталина. Сколько раз, после встреч с «хозяином», брат в мельчайших деталях рассказывал мне о его манере разговаривать, об отдельных его замечаниях, словечках, шуточках. Все в Сталине нравилось ему».

И как же сочетать это «все» с другим воспоминанием того же мемуариста, воспроизводящего такие высказанные вслух мысли Кольцова: «То ли кто-то... может быть, Ежов, непрестанно разжигает его (Сталина. — *А. В.*) подозрительность, подсовывает наскоро состряпанные заговоры и измены. То ли, наоборот, он сам настойчиво и расчетливо подогревает усердие Ежова, поддразнивает, что тот не видит у себя под носом предателей и шпионов?»

Не знаю, нуждался ли Ежов в каком-то «поддразнивании». И предателей, и шпионов он видел повсюду. Кольцова забрали, когда Ежова во главе всемогущего ведомства заменили на Берию, но вся необходимая «документация» была подготовлена еще в ежовскую эру.

В справке на арест Кольцова, подготовленной задолго до самого ареста (скорее всего, ждали, когда Сталин даст «добро» — такого «шпиона» без верховной санкции никто арестовать не посмел бы), сказано: «Жена Кольцова, Мария фон-Остэн, дочь крупного немецкого помещика, троцкиста (помещик-троцкист — до такого не каждый додумается! — *А. В.*), сошелся с ней в 1932 году в Берлине. В Москве Остэн вела праздный образ жизни, встречалась с немецкими эмигрантами. (В самом деле, что может быть более праздного? И более криминального? Изгнанные фашизмом из родной страны, немецкие беженцы-коммунисты встречаются на чужбине друг с другом!.. — *А. В.*) Вместе с Кольцовым уехала в Испанию (сражаться с

фашизмом! — *А. В.*), бежала оттуда с немцем Буш (несклоняемый «немец Буш» — это великий певец-антифашист Эрнст Буш, который скоро приедет в Москву и даст триумфальный концерт в Колонном зале Дома Союзов. — *А. В.*) во Францию якобы из-за опасения репрессий по отношению к ней со стороны республиканского (?! — *А. В.*) правительства».

Ничего не скажешь, серьезные основания нашли на Лубянке для ареста первого публициста страны. Но самое поразительное: все, что написано в предыдущем абзаце — не более чем повод, позволивший наскоро сочинить «справку на арест». Вскоре следователи найдут другие имена и другие «причины» — ничуть не более убедительные. Впрочем, они не убедительны, точнее абсурдны, для нормального, незашоренного, непредубежденного взгляда. А Сталину, лично прочитавшему «дело» Кольцова от корки до корки, они казались бесспорными, очевидными. «Я, думаете, верил, мне, думаете, хотелось верить? Не хотелось, но пришлось поверить». Так, по словам Константина Симонова, Сталин ответил Фадееву, который высказал сомнение в виновности Кольцова. И даже дал ему почитать оба следственных тома. Значит, был убежден: впечатление произведут. И ведь действительно произвели. Или просто Фадеев вождю подыграл. Но это значения уже не имеет. Сталин одобрил работу славных чекистов — этим было сказано все.

Обвинения рассыпáлись без всяких усилий, стоило только в них немного вчитаться. Но вчитываться **тогда** никто не хотел. Никто! Жалкая фантазия следствия интереса не представляла (ведь судьи-то знали, что это фантазия), а проверка не имела ни малейшего смысла (ведь судьба жертвы была предрешена).

Вчитаемся все же — теперь.

В террористы Кольцова завербовал — так сказано в приговоре — Карл Радек. Но самому Радеку эта вербовка почему-то в вину не вменялась.

Сотрудница «Правды», писательница Тамара Леонтьева, была арестована на несколько месяцев раньше, чем Кольцов. 25 сентября 1938 года под пыткой она «призналась» следователю Макарову, что вместе с Кольцовым состояла в какой-то троцкистской группе. Можно представить себе, чтó это было за доказатель-

ство, если Особое совещание при НКВД (орган, пощады не знавший и созданный только для казней, в исключительных случаях — для раздачи «путевок» в ГУЛАГ) 21 мая 1941 года, накануне войны, Т. К. Леонтьеву оправдало и дело ее прекратило.

Через 13 с лишним лет, 27 августа 1954 года, ее вызвали в Главную военную прокуратуру, чтобы разобраться, в какой же конкретно троцкистской группе объединилась она с Кольцовым. Леонтьева рассказала, что, избитая до полусмерти, она подписала заранее заготовленный протокол, не только его не читая, но даже не имея возможности прочитать: в бессознательном состоянии ее сразу после допроса уволокли на больничную койку.

Оставалось еще одно — самое главное обвинение. Наверно, ради него и была вся затея. Ежовское ведомство готовило грандиозный «процесс дипломатов». Оно еще не знало, что после мучительно проведенного, прошедшего на грани провала процесса Бухарина — Рыкова публичных судилищ больше не будет. Что с неугодными станут теперь расправляться только тайно и только поодиночке. Но по инерции крутились еще все те же маховики — готовили очередные кровавые шоу.

По первоначальному замыслу во главе дипломатов-шпионов должен был оказаться Максим Литвинов, пока еще остававшийся на посту наркома иностранных дел и своим присутствием как бы гарантировавший приверженность своего государства антифашистской политике. Номером два на будущем процессе предстояло, видимо, стать Борису Штейну, дипломату литвиновско-чичеринской школы[1] и ее кру-

---

[1] Как свидетельствует хорошо знавший скрытые от посторонних глаз взаимоотношения коллег в системе НКИДа Евгений Гнедин, заведовавший отделом печати этого наркомата и тоже потенциальный участник несостоявшегося процесса дипломатов, Литвинов и Чичерин не выносили друг друга, что не мешает нам сегодня, с некоторой исторической высоты, отрешившись от всего личного и несущественного, причислить их к одной «школе»: интеллигентность, образованность, кругозор, гибкий живой ум, порядочность, международная известность и уважение — все это объединяло их, а не разъединяло и резко отличало от «новобранцев», которых «бросили на дипломатию», когда наркоминдел подвергся жестокой чистке командой Молотова, Деканозова и Вышинского.

га, чей образовательный и интеллектуальный уровень снискал им заслуженный авторитет среди зарубежных коллег. Секретарь советской делегации в Генуе и Гааге, непременный участник работы Лиги Наций, посол в Финляндии, потом в Италии, Борис Ефимович Штейн был еще и видным ученым в области истории международных отношений и внешней торговли, наконец, основательным и плодовитым журналистом, к голосу которого прислушивались и в стране, и за границей. Так что место на скамье подсудимых рядом с Литвиновым он мог бы занять по полному праву.

Впрочем, нельзя поручиться, что именно Б. Е. Штейн мог бы стать «номером два» на процессе дипломатов. Судя по другим делам, готовились (можно даже сказать: были уже подготовлены) материалы для ареста, по крайней мере, еще трех дипломатических звезд первой величины — посла в Стокгольме Александры Коллонтай, посла в Лондоне Ивана Майского и посла в Париже Якова Сурица, которых легко связали бы с уже расстрелянными к тому времени виднейшими деятелями советской дипломатии Н. Крестинским, Х. Раковским, Л. Караханом, К. Юреневым, Л. Хинчуком, Б. Стомоняковым, Я. Давтяном, а тем более с М. Розенбергом (посол в Мадриде) и В. Антоновым-Овсеенко (генеральный консул в Барселоне).

Но, судя по материалам состряпанных на лубянской кухне дел, и Штейна, и других дипломатов вполне мог «оттеснить» из-за своей всемирной известности Кольцов, которого пристегнули именно к этой «шпионской группе». Все кандидаты на скамью подсудимых были его друзьями, со всеми он множество раз встречался — и в стране, и за рубежом, и у них были общие, притом близкие знакомые среди европейских и американских деятелей политики, науки, культуры, а такие знакомые на языке тех лет именовались не иначе как сообщниками со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Первые шаги на пути к организации процесса дипломатов были сделаны. Среди арестованных оказались руководящие работники наркомата иностранных дел Гнедин, Гиршфельд и Миронов (Пинес). Особенно легко было связать Кольцова с Гнединым, который перед арестом возглавлял отдел печати наркоминдела и,

естественно, по долгу службы не мог не иметь с Кольцовым постоянных контактов. Гнедину было суждено выжить, пройдя гулаговский ад. Вот как он вспоминал впоследствии об очной ставке с Кольцовым, которую ему организовал следователь Пинзур[1].

Кольцов, пишет Гнедин, «не потерял чувства юмора, ибо с грустной улыбкой проговорил, глядя на меня: «Однако, Гнедин, вы выглядите (пауза и усмешка) ну, совсем, как выгляжу я...» У него был вид тяжело больного человека... Передо мной сидел сломленный человек, готовый к безотказному подчинению». Далее Гнедин продолжает: на вопрос, признает ли он себя виновным, Кольцов «сразу, можно сказать, привычно, ответил утвердительно, даже пространно... Похоже, Кольцов повторял выдумку наизусть». Сказал, что они оба — и Гнедин, и Кольцов — входили в группу заговорщиков, организованную Константином Уманским, который до Гнедина возглавлял отдел печати НКИД. Скорее всего, с подачи того же Пинзура он полагал, что Уманский, как было первоначально задумано, сидит где-то в камере по соседству, а он, получив пост посла в США, благополучно пребывал в это время в Вашингтоне.

В октябре 1939 года, вспоминает Гнедин, Пинзур дал ему понять, что дело против Литвинова заведено не будет. Видимо, Сталин решил ограничиться лишением его наркомовского портфеля — возможно, дружба с фашистской Германией, как это ни покажется парадоксальным, спасла Литвинова: уничтожение люто и откровенно ненавидимого Гитлером дипломата было бы слишком демонстративным и чрезмерным шагом. Но то, что против него затевалась кровавая баня, не вызывает ни малейших сомнений. Об этом с

---

[1] Имя капитана госбезопасности (соответствует воинскому званию «полковник») Израиля Львовича Пинзура встречается во множестве сфальсифицированных политических дел. Одно время он руководил следственной частью московского управления госбезопасности, потом возвысился до помощника начальника следственной части главного управления госбезопасности НКВД СССР. 27 апреля 1940 года был награжден медалью «За отвагу». Судя по датам — за успешно проведенное следствие по делу Гнедина. Отваги, конечно, Пинзуру было не занимать, но ценилась она к тому времени, как видим, не очень высоко. В тридцать шестом — тридцать восьмом за подобные доблести давали и ордена, да какие!..

дивной непосредственностью поведал престарелый Молотов своему конфиденту Феликсу Чуеву, который недавно довел до всеобщего сведения записи своих бесед с самым верным соратником великого Сталина. «Такая сволочь, — аттестовал своего коллегу Вячеслав Михайлович. — Он заслуживал высшую меру наказания... Это сволочь большая. Литвинов только случайно жив остался»[1].

Так развалилось славно задуманное дело — не по вине, разумеется, костоломов: планы Сталина изменились. Ни Литвинов, ни Штейн, ни Коллонтай не пострадали. Но участь уже арестованных была предрешена. Счастливый билет им не выпал.

Едва начавшись, процесс уже подходил к концу. Кольцов хотел что-то сказать, но Ульрих не дал ему вымолвить ни слова. «Расстрел», — привычно прозвучало в этом залитом кровью зале.

Почти пятнадцать лет спустя приговор был отменен: «Невиновен». Это произошло 18 декабря 1954 года. В Большом Кремлевском дворце заседал в те дни второй съезд писателей. Но о запоздало восстановленной справедливости на нем ничего сказано не было. Слово «реабилитация» еще не вошло в нашу жизнь, в наш привычный словарь.

Несколько слов о «Марии фон-Остэн».

Начнем с того, что неизвестно, откуда взялось даже это «фон»: ведь Остен — литературный псевдоним немецкой писательницы Марии Грессгенер, отец которой, Генрих Грессгенер, насколько я знаю, дворянского титула не имел. А если бы даже имел, то Мария могла бы именоваться «фон Грессгенер», но никак не «фон Остен». Речь идет не об описке и не об обмолвке: при тогдашнем «политическом мышлении» принадлежность гражданской жены Кольцова к германскому

[1] На восьмом чрезвычайном съезде советов (ноябрь 1936 г.) «большая сволочь» Литвинов, назвав Советский Союз неприступной крепостью, продолжил: «Эта уверенность еще больше крепнет в нас от сознания того, что управление этой крепостью и ее ключи находятся в руках такого коменданта, как наш славный, великий вождь товарищ Сталин». Комендант, надо отдать ему должное, знал цену этому признанию в любви, однако же оратора пощадил, проницательно сообразив, что тот еще может ему пригодиться.

дворянству уже само по себе должно было свидетельствовать о предательстве им классовых интересов. В «оправдание» шефов Лубянки скажу лишь, что с приставкой «фон», насколько можно судить по материалам будущего дела самой Остен, Мария именовалась в анонимных донесениях зарубежных агентов НКВД, которые, зная царившие в советских «органах» нравы, этой приставкой — без каких-либо комментариев — подчеркивали не только происхождение молодой писательницы и журналистки, но и ее отношение к советской власти.

Между тем это отношение было самым восторженным, а восторг, несомненно, искренним. С этой германской коммунисткой Кольцов впервые встретился в Берлине летом 1932 г. «Немец Буш» был как раз и причастен к этому знакомству. Год спустя Кольцов вернулся из Германии не только с подругой, но и с десятилетним мальчиком Губертом Лосте, сыном многодетного рабочего, семья которого жила в Сааре. Трудно сказать, кому именно — Кольцову, Марии или им обоим — пришла в голову мысль взять немецкого пионера с собой и создать книгу: впечатления зарубежного ребенка об осуществленной мечте — цветущем социалистическом рае. О нелепости этого фальшивого пропагандистского замысла не говорю, он очевиден. Похоже, влюбленные искали какой-то приличный повод, который оправдал бы не кратковременный, а долгосрочный приезд Марии в «страну чудес». Взятые в кавычки слова не ироническая метафора, а название книги, которую Мария Остен все-таки сочинила: «Губерт в стране чудес» — парафраз известного произведения Льюиса Кэрролла — какое-то время был «бестселлером» советской детской литературы, о Губерте много писали, его портреты печатались в газетах, его принимали Буденный и Тухачевский, его имя присвоили тюзам и кинотеатрам — словом, он стал на короткое время одной из тех знаменитостей, которых штамповали тогда кинохроника и печать.

На первом же допросе Кольцову вменили «преступную связь с германской шпионкой Остен», и после пыток он эту «связь» признал. Но Мария не только не знала об этом, но, конечно, и предположить не могла, кем ее, страстную антинацистку, считают на Лубянке.

И тем более не могла представить себе, что мужественного Кольцова смогут так быстро сломать.

Любопытно, что в энкаведистских документах Мария Остен именуется женой Кольцова, тогда как его женой, по крайней мере формально, была совсем другая женщина, которую «органы» — подберем наиболее невинный эвфемизм — знали более чем хорошо. Елизавета Ратманова загадочным образом появлялась там, где были вместе Кольцов и Мария: в Париже, в Испании... Среди авторов многочисленных доносов на Кольцова и Остен следует выделить не только чудовищного Андре Марти, но и мать будущего убийцы Троцкого — Каридад Меркадер, «работавшую» в связке с одним из самых зловещих лубянских шишек — многократным убийцей Леонидом Эйтингоном, который в Испании носил псевдоним Котов.

Судьба Марии Остен и юного Губерта сложилась трагически. Весть об аресте Кольцова застала Марию в Париже. Несмотря на уговоры мудрых друзей — Фейхтвангера, Мальро и других, бесстрашная женщина ринулась в Москву спасать своего друга. Ей, разумеется, беспрепятственно дали визу, но, вопреки прогнозам, не арестовали. Она получила советское гражданство и даже кое-какую работу, чтобы могла свести концы с концами. В Москве ее ожидал еще один удар: быстро усвоивший нравы «страны чудес», юный Губерт, остававшийся в московской квартире, которую Кольцов «пробил» для Марии, не пустил ее на порог — доказывал тем самым лояльность режиму, отвергая свою связь с «врагами народа». Мария Остен, презрев стыд, затеяла даже «процесс о вселении», но в суде проиграла: длительное отсутствие лишало ее права на площадь.

Разумеется, хлопоты за друга (мужа!) ни к чему не привели. Она и не знала, что Кольцова уже нет в живых. Развязка наступила лишь вечером 22 июня 1941 г. В первый же день войны ее навсегда увели из гостиницы «Балчуг», где Марии удалось устроиться при помощи Вильгельма Пика, Александра Фадеева и ближайшего друга Марии и «немца Буша» — советского композитора и музыковеда Григория Шнеерсона.

В отличие от сломленного Кольцова, который лишь на 20-минутном суде нашел в себе силы отверг-

нуть вздорные обвинения и защитить свою честь и честь верной подруги, Мария Остен проявила беспримерное мужество, устояв перед всеми пытками. Ни разу она не поставила подписи ни под одним клеветническим протоколом. Ее крохотное «судебное» досье невозможно читать без слез. Краткие ответы: «Нет», «Нет», «Нет», «Ни в чем виновной себя не признаю» — скрывают безмерные муки, которые ей пришлось перенести. Но финал, разумеется, был все тот же: «германская и английская шпионка», «сообщница шпионов Кольцова-Фридлянда и Андре Мальро» тройкой НКВД (без суда, заочно) была приговорена 8 августа 1942 г. к расстрелу и казнена в тот же день. Жизненный путь «дважды шпионки» завершился, не оставив, если бы не Кольцов, никакого следа. Жаль! Судя по всему, это была яркая, незаурядная женщина, вполне достойная того, чтобы остаться в памяти не только как подруга Михаила Кольцова.

И уж совсем поразительная судьба (хотя можно ли было чем-либо поразить в то время в этой стране?) выпала на долю Губерта Лосте. «Жизнь улыбалась бывшему саарскому пионеру», — без всякой иронии пишет в своих воспоминаниях, изданных в 1989 году (!), Борис Ефимов. О да, она ему улыбалась, показав свой звериный оскал. Как и почти все лица немецкого происхождения (за ничтожным исключением — вроде академика Отто Шмидта или «папанинца» Эрнста Кренкеля), он был выслан из Москвы ранней осенью сорок первого и оказался в Казахстане, под Карагандой.

Здесь Губерта встретил его сверстник (он был на год старше) Вольфганг Леонгард, сын немецкой коммунистки-эмигрантки, впоследствии партийный функционер ульбрихтовского режима, очень быстро прозревший, порвавший с социалистическим раем и бежавший в другой рай — тоже социалистический, но построенный Тито. В книге «Революция отвергает своих детей» здравствующий в Германии и поныне профессор В. Леонгард пишет: «...Он стоял передо мной грязный, оборванный и вставлял в речь русские ругательства. Только его на редкость живые глаза и веснушки напоминали прежнего Губерта «в стране чудес»... Совсем недавно он был героем советских

пионеров, а теперь превратился в оборванного пастуха. Раньше его принимали в Кремле, а теперь он боялся бригадира маленького колхоза в северном Казахстане. Впоследствии я несколько раз пытался разыскать его, но все мои усилия были напрасны. Знаменитый Губерт «в стране чудес» затерялся окончательно».

Нет, он не затерялся. Те, кому нужно, его нашли. Прежде всего, в соответствии с высочайшим указанием, ему, как и всем ссыльным, выдали советский паспорт. В этом не было бы ничего особенно примечательного, если бы не одна деталь. Помимо обязательного указания «немец» в графе «национальность», ему определили русское отчество, официальным же местом рождения повелели считать не родной Саар, а ту деревню, куда его сослали. Так сын Ганса Лосте стал Губертом Ивановичем Лосте, уроженцем села Ростовка Карагандинской области. Здесь изголодавшийся 24-летний Губерт, выросший из пастуха в механика-тракториста, был арестован 13 октября 1947 г. за кражу зерна. К нему применили только что вступивший в силу свирепый сталинский указ от 4 июня того же года и за несколько колосков пшеницы определили пять лет лагерей. Трудно сказать, действительно ли он кому-нибудь жаловался на горемычную свою судьбу или лагерные стукачи наговорили на слишком уж знаменитого «зэка», но три года спустя, 29 ноября 1950 г., спецлагсуд впаял ему еще семь лет (плюс три года поражения в правах) за «антисоветские разговоры». Он освободился лишь 6 сентября 1955 г. по отбытии срока — с применением так называемых «зачетов рабочих дней».

Губерт добрался до Москвы, разыскал брата Кольцова — художника Бориса Ефимова, снова встретился с друзьями тех, кто уготовил ему (не по злому, конечно, умыслу) эту судьбу. Хрущевская оттепель позволила Губерту Ивановичу перебраться ближе к теплу: он снова стал трактористом — в одном из колхозов степного Крыма. Здесь и умер в августе 1959 г. от гнойного аппендицита. Ему было 36 лет. Разве что глубокие старики смутно помнят еще, быть может, о веснушчатом немецком мальчишке, которому некогда завидовали миллионы советских школьников.

И только «немец Буш», по счастью, избежал и пули, и лагеря. Точнее, и в лагерь, и в тюрьму он попал. Но не в Лубянскую, а в Моабит. Сталину понравилось, как он поет, и Буша вернули в Европу. О его дальнейшей судьбе я подробно рассказал в очерке «Марш левой! Два, три!», опубликованном в книге «Ночь на ветру» (издательство «Искусство», М., 1982).

— Введите следующего, — приказал Ульрих.

Следующим был человек, чье имя знал весь цивилизованный мир. Великий реформатор театра, которого еще при жизни знатоки называли гением, а невежды — трюкачом, формалистом, исказителем классики, Всеволод Мейерхольд был арестован 20 июня 1939 года. Сразу же после речи, произнесенной в присутствии Вышинского на всесоюзной конференции режиссеров, он выехал в Ленинград, чтобы помочь Институту имени Лесгафта поставить театрализованное зрелище на предстоящем физкультурном параде. Тут его и схватили.

Когда в мае 1988 года в «Литературной газете» я процитировал несколько пассажей из реабилитационного дела и привел адресованные военному прокурору отзывы крупнейших деятелей отечественной культуры об уничтоженном Мастере, никаких публикаций, раскрывающих тайну его гибели, еще не было, так что каждая, пусть и незначительная, казалось, деталь представляла большой интерес. Теперь «дело» Мейерхольда открыто, изучено и фактически целиком воспроизведено в печати («Театральная жизнь», 1989, № 5 и 1990, № 2), благодаря стараниям многих людей, прежде всего внучки В. Э. Мейерхольда — Марии Алексеевны Валентей. Так что ныне в сколько-нибудь подробном рассказе о так называемом следствии и судебном процессе надобности уже нет: проще и полезнее прочитать факсимильно воспроизведенные документы.

Сопоставим лишь некоторые факты и даты. Отнюдь не случайно, что Кольцов и Мейерхольд предстали пред судьями в один и тот же день и в один и тот же день погибли. По какой-то дичайшей, дьявольской логике повязали их общей цепью, объединили, объявили сообщниками. В протоколе допроса Кольцова, помеченного шестнадцатым мая, впервые упомянут

Мейерхольд как связной (наряду с ним, Кольцовым) французского журналиста, редактора известной газеты «Вю» Вожеля — лубянские грамотеи именуют его «разведчиком по русским делам». Здесь же говорится и о другом «деятеле французской разведки» — Андре Мальро. (Вряд ли надо представлять нашему читателю этого известного романиста и эссеиста, будущего министра в правительстве де Голля.) Через Мальро и тот и другой были «связаны» с Эренбургом, который завербовал Мейерхольда в некую троцкистскую организацию, а попутно еще и во французские шпионы. Заодно Мейерхольд стал и шпионом английским — при помощи известного литовского и русского поэта (он писал на двух языках) Юргиса Балтрушайтиса, который с 1921-го по апрель 1939 года был послом Литвы в Москве. Пережив здесь кошмар советских «чисток», Балтрушайтис стал советником литовского посольства в Париже, где и умер 3 января 1944 года, не дождавшись освобождения Франции от нацистов и так и не узнав, какое досье собрали против него на Лубянке. Там же, в Париже, жил в 1939-м и Илья Эренбург, собкор «Известий». Он рвался в Москву, не имея понятия о том, что он кого-то куда-то завербовал. О том, что они тоже завербованы Эренбургом — в ту же самую организацию, — не имели представления и другие ее члены: Юрий Олеша и Борис Пастернак. Когда в 1955 году военный прокурор, старший лейтенант юстиции Борис Ряжский начал проверку «дела Мейерхольда-Райха В.Э.», он безуспешно пытался найти в архиве дела́ заговорщиков Эренбурга, Олеши и Пастернака. Все трое — живыми и невредимыми — явились по вызову к старшему лейтенанту, но даже от него, по счастью, так и не узнали, что́ против них затевалось.

Нет никакого сомнения в том, что о сенсационном заявлении Кольцова доложили Сталину. Во всяком случае, когда он читал дело Кольцова, не заметить там Мейерхольда, конечно, не мог.

Впрочем, никаких оснований для предположения у нас уже не остается. В посмертно опубликованных воспоминаниях одного из самых близких Фадееву людей — критика Корнелия Зелинского дается совершенно определенный ответ. Фадеев доверительно ему рассказал (как теперь мы знаем, не только ему) о своем

разговоре со Сталиным. О том самом, который происходил после чтения им дела Кольцова. «Мейерхольда, с вашего позволения, мы намерены арестовать», — сказал Сталин Фадееву. «Мы» означало «я»...

«Каково мне было все это слушать? — делился Фадеев своими переживаниями с К. Зелинским. — Но каково мне было потом встречаться с Мейерхольдом! Его арестовали только через пять месяцев после этого случая. Он приходил в союз, здоровался со мной, лез целоваться, а я знал про него такое, что не мог уже и смотреть на него».

Не мог смотреть, то есть, иначе говоря, верил в весь сочиненный костоломами вздор — это факт трагической биографии Александра Фадеева. А нас интересует сейчас судьба Мейерхольда. Теперь уже, не боясь ошибиться, мы можем сказать, что она была предрешена задолго до его ареста. Если об этом знал Фадеев, то Вышинский подавно. Стало быть, слушая речь Мастера в зале Центрального Дома актера, он слушал заведомо обреченного. Демонстративная овация, которой встретили собравшиеся появление Мейерхольда на трибуне, могла лишь ускорить развязку. Но считать, что именно его речь, какой бы она ни была, и явилась непосредственной причиной ареста, конечно, нельзя. Отчет Вышинского Сталину о том, чему он явился свидетелем, был, возможно, последней каплей. Хотя, наверное, и весомой. Тем горше читать сегодня несбывшееся пророчество Сергея Прокофьева в его дневнике двадцать седьмого года: «...Бояться ему (Мейерхольду. — *А. В.*) нечего, так как посадить почетного красноармейца в тюрьму неудобно». Не знаю, можно ли обвинить великого композитора в политической наивности: кто мог предсказать, что́ станет «удобным» всего через десять лет?!

О том, что собой представляла прощальная речь Мейерхольда, свидетельства современников и мнения специалистов существенно расходятся. Запись речи, сделанная по памяти бывшим артистом оркестра Вахтанговского театра Юрием Елагиным после его перехода на Запад (в посвященной Мейерхольду книге «Темный гений»), конечно, не может считаться ни в какой мере достоверным документом. Ее можно рассматривать лишь как одно из свидетельств очевидца,

нуждающееся в проверке. Есть и еще одно свидетельство, совпадающее с тем, о чем рассказывает Елагин. Бывший московский театральный критик Лидия Львовна Жукова, живущая с 1978 года в США, рассказывает: «На всесоюзном съезде театральных режиссеров в июне 1939 года... Мейерхольд вдруг словно очнулся, он сорвался — терять ему уже было нечего, — и он кричал с гневом, с болью, он гремел: «Охотясь за формализмом, вы уничтожили искусство». Я хорошо помню атмосферу небольшого зала ВТО во время этой налетевшей вдруг бури»[1].

Есть, однако, и другие свидетельства. Бывшая актриса ГОСТИМа Елена Тяпкина (одна из последних, кто видел Мейерхольда перед его арестом) вспоминает, что сам он был недоволен своим выступлением, говорил, что «выступал плохо, неудачно». Рассказывают также, что речь была отнюдь не патетичной и героической, а скорее вялой и о пустяках. Исследователь творчества Мейерхольда К. Л. Рудницкий незадолго до своей кончины сказал мне, что найдена правленная самим оратором стенограмма его речи на конференции и текст разительно расходится с тем, который воспроизвел Ю. Елагин.

Судя по всем дошедшим до нас воспоминаниям, Мейерхольд не ожидал ареста, он был полон рабочих планов, даже сам его приезд в Ленинград сразу после выступления, чтобы «подработать», говорил отнюдь не о готовности к тюрьме. Мог ли он в таком случае произнести геройскую речь самоубийцы, наивно полагая, что — пронесет?..

Но факт остается фактом: Мейерхольду была устроена овация сочувствия и солидарности (это подтверждают абсолютно все очевидцы), и, как свидетельствует та же Е. Тяпкина: «Мы тогда говорили дома, что после этой овации могут быть только два выхода — либо театр восстановить, либо Мейерхольда убрать, посадить». Какое именно «либо» выбрали в Кремле и на Лубянке — мы знаем.

Выбор, напомню, был сделан гораздо раньше — выступление Мейерхольда вряд ли могло бы внести в него коррективы: разве что отложить или, напротив, ускорить... Впрочем, машина уже была запущена и

[1] «Russica». Литературный сборник. Нью-Йорк. 1982. С. 324.

стремительно неслась по инерции. Изменение первоначального замысла, несомненно, состоялось, но Мейерхольда оно не коснулось[1].

О том, каким был замысел и в чем состояло его изменение, скажем чуть ниже. Но то, что он был, не вызывает ни малейших сомнений. В этом убеждают материалы еще одного дела, заслушанного шестью днями раньше.

27 января был расстрелян Исаак Бабель, приговоренный накануне к смерти все тем же Ульрихом (его ассистентами на этот раз были Кандыбин и Дмитриев). Через 14 лет в заключении военного прокурора подполковника юстиции Долженко о реабилитации Бабеля будет сказано: «Что послужило основанием для его ареста, из материалов дела не видно, так как постановление на арест было оформлено 23 июня 1939 года, то есть через 35 дней после ареста Бабеля». (Точнее — через 39 дней: он был арестован 16 мая 1939 г. на даче в Переделкине. — *А. В.*)

Мир знал его как большого писателя, судьи — как члена антисоветской троцкистской организации с 1927 года, агента французской и австрийской (!) разведок — с 1934-го. Догадаться о том, что послужило не основанием, но поводом для его ареста, как раз несложно. Только что отправился вслед за своими жертвами державший в страхе страну кошмарный Ежов (он был арестован 10 апреля 1939 года, проведя несколько месяцев в томительном ожидании неизбежного). Бабель был издавна и хорошо знаком с женой Ежова, Евгенией Соломоновной. Одесситка Женя Хаютина (по первому мужу Гладун[2]) знала его с детства. Какой-то

[1] Уже упоминавшийся И. Пинзур, терзавший Кольцова и Гнедина, подписал вместе со следователем Шипковым и обвинительное заключение по делу Мейерхольда. В очень небрежно подготовленной подборке документов, опубликованной «Советской культурой» (1990, 3 февраля), Пинзур назван Цензуром, а один из судей, подписавших приговор Мейерхольду (Бабелю — тоже), Кандыбин, переделан в Колдобина. Вроде пустяк, но имена палачей мы должны знать так же точно, как и имена героев и жертв.

[2] Алексей Федорович Гладун, дипломат, расстрелян как троцкист и шпион. Его жена сошлась с Ежовым еще до расторжения их брака, и он был хорошо знаком с будущим кровавым карликом. Из материалов его дела явствует, что не Ежов — Гладуна, Гладун — Ежова через посредство своей жены завербовал в «антисоветскую организацию».

контакт между ними не прервался и позже. Он стал еще более тесным, когда Евгения Соломоновна возглавила журнал «СССР на стройке» и, естественно, старалась привлечь к работе знаменитых авторов. Несмотря на всю свою знаменитость, Бабель после разгрома «Конармии» и кампании поношений не слишком часто появлялся на печатных страницах — заказы одесской подруги пришлись очень кстати, тем более что поручение, которое он получил, совпадало с его замыслом — написать «колхозный роман».

В мемуарах Ильи Эренбурга рассказано, что Бабель бывал в доме Ежовых уже и после того, как муж Жени стал грозным наркомом. Бывал, сознавая, чем он рискует. Невидимая сила тянула его в это загадочное «логово зверя» — много ли было тогда людей этого круга, которые запросто были вхожи в тот? Как «друзья дома»... Кто знает, может быть, Бабель вынашивал замысел будущего романа, где все его наблюдения пригодились бы — наблюдения, полученные из первых рук...

Знаком он был не только с женской частью семейного дуэта, но и с мужской. В доме Ежовых на Кисельном бывали и встречались с Бабелем и другими писателями крупные энкаведистские шишки. Но личные контакты отнюдь не означали сами по себе контактов «служебных», или секретных, нечистоплотных. А странные намеки такого плана, увы, встречаются в иных сочинениях. О том, как создаются легенды, мы можем судить по одному весьма наглядному примеру.

«А. Н. Пирожкова сообщает, — читаем мы в одном исследовании, — что Бабель купил весной 1938 г. мебель Политического Красного Креста... Таким образом подтверждаются... косвенно сведения о близком знакомстве Бабеля с верхушкой тогдашнего НКВД»[1]. Что же на самом деле пишет в своих воспоминаниях[2] последняя жена Бабеля Антонина Николаевна Пирожкова?

«Мебели у нас не было никакой. Но случилось так, что вскоре Бабелю позвонила Екатерина Павловна

[1] См. сборник «Память». Москва — Париж. № 3. С. 538.
[2] И. Бабель. Воспоминания современников. М. 1972. С. 368.

Пешкова и сообщила, что ликвидируется Комитет Красного Креста и распродается мебель. Мы поехали туда и выбрали два одинаковых стола, не письменных, а более простых, но все же со средними выдвижными ящиками и точеными круглыми ножками. Указав на один из них, Екатерина Павловна сказала: «За этим столом я проработала здесь двадцать пять лет». Были выбраны также диван с резной деревянной спинкой черного цвета, небольшое кресло с кожаным сиденьем и еще кое-что.

Довольные, мы отправились домой вместе с Екатериной Павловной, которую отвезли на Машков переулок (теперь улица Чаплыгина), где она жила».

Возникает вопрос: каким образом этот трагический рассказ хотя бы «косвенно» свидетельствует «о близком знакомстве Бабеля с верхушкой тогдашнего НКВД»? Столь примитивным и, мягко говоря, недобросовестным путем не только «спрямляется» история, но подлинная беда превращается в заурядный фарс.

Между тем знакомство, и отнюдь не шапочное, Бабеля с Ежовым — факт несомненный, но никакого пятна на писателя оно не бросает. Отлученный Сталиным от коммунизма и объявленный ренегатом, известный французский историк Борис Суварин вспоминает о встречах в Париже с приятелем Бабеля (только ли Бабеля?!) писателем Львом Никулиным, чьи достаточно определенные отношения с Лубянкой ни для кого не составляли секрета. Похоже, и сам он не очень-то их скрывал. В один из своих парижских приездов он встретился, как обычно, с Б.Увариным и известным художником Юрием Анненковым и на вопрос, знает ли он что-нибудь о причинах «исчезновения» Бабеля, ответил так: «Бабель стал жертвой своих отношений с Ежовым. Вокруг Ежова многих арестовали...»

Похоже, ответ был точным. Вот что написано в приговоре: «Будучи организационно связанным по антисоветской деятельности с женой врага народа Ежова — Гладун-Хаютиной, последней Бабель был вовлечен в антисоветскую заговорщическую террористическую деятельность, разделяя цели и задачи этой антисоветской организации, в том числе и террористи-

ческие акты... в отношении руководителей ВКП(б) и Советского правительства»[1].

На допросе, продолжавшемся трое суток без перерыва — с 29 по 31 мая 1939 года, Бабель сначала отверг все обвинения, а потом — по не отраженной протоколом причине — внезапно круто изменил «линию поведения» и показал, что был членом шпионской троцкистской группы, куда его завербовал опять-таки Эренбург, а шпионом-связником был все тот же Мальро. Мы помним, конечно, что эти имена в том же самом качестве исторгли из уст Кольцова и Мейерхольда. Единая установка очевидна, если учесть к тому же, что и члены следственной зондеркоманды в большинстве своем совпадают: и там и тут надзирает Лев Шварцман, лично участвующий в особо ответственных допросах (читай: истязаниях), а над ним — подымай выше! — сам Богдан Кобулов, заместитель Берии, тянет в ту сторону, куда надо.

Представит, наверное, интерес и состав группы террористов-троцкистов, в которую входил Бабель: кроме Эренбурга, мы встретим там писателей Леонида Леонова, Валентина Катаева, Всеволода Иванова, Юрия Олешу, Лидию Сейфуллину, Владимира Лидина, кино-

[1] Евгения Соломоновна избежала ареста и казни, покончив самоубийством (см. «Политический дневник», Амстердам, 1975, № 2 и «Континент», № 23, 1980, с. 374). Есть сведения, что и газеты сообщили о ее смерти от гриппа, но мне таких сообщений разыскать не удалось. Было ли это действительно самоубийство? Или ей «помогли», что гораздо больше похоже на истину?

Кроме «связи» Бабеля с Е.С. Ежовой, могла быть и еще одна причина, по которой Сталин имел особую «симпатию» к этому писателю. В воспоминаниях Бориса Суварина «Последние разговоры с Бабелем» сообщается, сколь беззаботно и непредусмотрительно Бабель рассказывал о событиях, лично задевавших Отца Народов. В ноябре 1927 года внезапно «покончила самоубийством» жена С. Буденного. Однако тут же поползла молва: на самом деле она была убита своим мужем за то, что возмущалась арестом Троцкого. Буденный не отрицал семейной ссоры по этому поводу, но уверял, что «всего лишь обругал» жену за ее политически неправильную позицию. Смерть Н.С. Аллилуевой связывали напрямую со смертью жены Буденного — только ли по «модели»? Бабель в разговорах подтверждал эту версию: «Буденный... убил свою жену и женился на буржуйке... Сталин держит его, зная за ним грязную историю. Сталин не любит биографий без пятен». О связи этого «пятна» с «пятном» в биографии Сталина: «У нас такие вещи случаются». Вряд ли «доброжелатели» не сообщили в Москву об откровениях Бабеля.

режиссеров Сергея Эйзенштейна и Григория Александрова, артистов Соломона Михоэлса и Леонида Утесова, академика Отто Шмидта и многих других. (Можно назвать еще много имен известнейших деятелей литературы и искусства, которые фигурируют в разных чекистских и судебных досье как шпионы, террористы, троцкистские агенты и прочая, прочая, прочая: композиторы Дмитрий Шостакович и Виссарион Шебалин, поэты Семен Кирсанов, Михаил Светлов, Михаил Голодный, артист Эраст Гарин, театральный художник Владимир Дмитриев — всех не перечесть.)

Сегодня, кажется, уже никакая, даже самая изощренная фантазия безумцев, стряпавших дела на дьявольской кухне Ягоды, Ежова и Берии, не может нас удивить. И однако, читая список «подпольщиков», чувствуешь, что сходишь с ума. Леонов — террорист?! Катаев — диверсант?! Олеша — заговорщик?! Полно, не может быть...

Но нет, список не так уж безумен. Все это не только яркие таланты, что само по себе не имеет прощения, не только люди независимых суждений и критического ума, что никак их не украшает, — почти все они так или иначе имели неосторожность прогневить вождя. В эти самые дни подвергались разносу на высшем уровне «Метель» Леонова, «Домик» Катаева, «Бежин луг», над которым Эйзенштейн начинал работу вместе с Бабелем. Еще раньше под огнем проработочной критики были Сейфуллина и Всеволод Иванов. Вполне подходящие кандидатуры для группы троцкистов!..

Несколько неожиданным выглядит в этой компании разве что Отто Юльевич Шмидт. И однако.. Прославленный герой-челюскинец, имя и бороду которого знала тогда вся страна, тоже бывал в гостях у Ежовых. Возможно, и тут связующей нитью была Евгения Соломоновна, знакомая с женой будущего академика Маргаритой Эммануиловной Голосовкер. Не ручаюсь за то, что именно таким путем попал выдающийся ученый в дом выдающегося палача, — важно, что был вхож... Он был еще более тесно — гораздо, гораздо теснее! — связан с Вышинским. Работал с ним вместе в Наркомпросе: именно на пост начальника главного управления профессионального образования, оставленный Шмидтом, чтобы ведать

образованием высшим, был возвышен ректор МГУ Вышинский. Они жили в одном и том же доме на улице Грановского (даже в одном подъезде), у обоих были дачи на Николиной Горе. Близость к тиранам до добра не доводит. Несмотря на всю свою популярность (а может быть, как раз благодаря ей), Шмидт в одном ряду с самыми крупными деятелями литературы и искусства был тем самым и ближе всех к скамье подсудимых. До скамьи дело все-таки не дошло, но, как рассказывает в письме ко мне его сын, профессор Сигурд Оттович Шмидт, Вышинский однажды (шел уже 1940 год) позволил себе грубо бранить вице-президента Академии наук СССР О. Ю. Шмидта за то, что тот плохо разоблачает врагов народа, «окопавшихся» в Академии. Отто Юльевичу стало плохо, и прямо с «академического» заседания его отвезли в больницу. Свидетелем публичных шельмований, которым подвергался Шмидт, был и А. А. Фадеев.

Вряд ли кто-нибудь сомневался в том, каких взглядов придерживался герой челюскинской эпопеи и один из первых Героев Советского Союза. Вот что сказал он, вернувшись в Москву с дрейфующей льдины, на Первом съезде писателей. Сказал, едва-едва освободившись от ласковых объятий вождя всех времен и народов: «...Наша работа не нуждается в подстегивании, в нажимах, возгласах, не нуждается в противопоставлении вождя остальной массе. Это совершенно не наши методы. Я не хочу употребить слова, но это заграничные методы одного из соседних государств». Яснее не скажешь! Зал хорошо понял оратора — недаром после этих слов в стенограмме записано: «аплодисменты».

Шмидту на том же съезде вторил Бабель: «...Выдуманные, пошлые, казенные слова... играют на руку враждебным нам силам... Невыносимо громко говорят у нас о любви... Если так будет продолжаться, у нас скоро будут объясняться в любви через рупор, как судьи на футбольных матчах». Не было таких недоумков, которые не поняли, в любви к кому объяснялись тогда через рупор. И вряд ли такая дерзость оратора могла остаться без всяких последствий.

Ему вспомнили и «Конармию», где «он описал, — сказано в обвинительном заключении, — все жестокости и несообразности гражданской войны, подчеркнув

изображение только крикливых и резких эпизодов и полное забвение роли партии в деле сколачивания из казачества, тогда еще недостаточно проникнутого пролетарским сознанием, регулярной и внушительной единицы Красной армии, которой являлась в действительности 1-я Конная»[1]. Следствие квалифицировало этот ставший классикой цикл рассказов как диверсию и измену.

Обратим внимание еще на некоторые фрагменты из «показаний» Бабеля, то есть из того, что приписано ему в обвинительном заключении: «По поводу проходивших судебных процессов над троцкистами он говорил, что в стране происходит якобы не смена лиц, а смена поколений, клеветнически говорил о том, что арестованы лучшие, наиболее талантливые политические и военные деятели» (лист дела 48).

Когда будут подняты самые-самые секретные архивы, где хранятся доносы сексотов, я убежден, что приведенные откровения мы найдем именно там. Мне кажется (никаких доказательств я пока привести, разумеется, не могу), что нечто подобное этот умнейший, наблюдательнейший, все понимавший человек действительно говорил в узком дружеском кругу, и это тотчас становилось известным благодаря оперативной бдительности «добровольных помощников». Не следует думать, что обвинение, предъявленное Бабелю, становится тем самым чуть ли не обоснованным. Ведь даже если именно так он и говорил, то ни с точки зрения действовавшего тогда закона, ни тем более по сути в этих мыслях и оценках нет ничего противоправного. Стремясь любое обвинение назвать клеветническим (не противоправным, а именно клеветническим, ложным), мы тем самым поддерживаем сталинскую пропаганду, утверждавшую, что весь народ един в своей «верности партии и правительству». То есть, иначе говоря, оболванены все, и ни одной здравомыслящей головы уже не осталось.

---

[1] Приведенный пассаж, как и некоторые другие, вошедшие в обвинительное заключение, резко отличается по своей лексике от типичных формулировок, содержащихся в подобных документах. Скорее всего, они взяты из «экспертных заключений» литературоведов в штатском, обслуживающих всесильное ведомство. Имена экспертов пока еще не стали достоянием читателя (за самым малым исключением), будем надеяться, скоро станут.

Уже 10 октября 1939 г. Бабель от своих признаний отказался. «Прошу следствие учесть, — сказано в его заявлении, — что при даче прежних показаний я, будучи даже в тюрьме, совершил преступление, я оклеветал нескольких лиц»[1]. Об этом же он трижды писал Ульриху: 5 и 21 ноября 1939 г. и 2 января 1940 г. Просил свидания с прокурором, просил вызвать свидетелей, дать ему ознакомиться с делом, допустить адвоката. Тщетно...

В деле Бабеля есть два документа, которые позволяют понять, что расправа с писателем могла произойти гораздо раньше и что его собирались пристегнуть совсем к другим «заговорщикам». На листе 125 имеется выписка из показаний поэта и филолога Бориса Кушнера: «Должен отметить, что Бабель — ближайший и интимный друг троцкиста Охотникова Якова, с которым они вместе готовили теракты против руководителей партии и Красной Армии. Известно мне это от бывшей жены Охотникова Солнцевой Марии». Не будем сгоряча судить ни Солнцеву, ни Кушнера — ясно, что их «показания» сочинили сами энкаведисты. Я. Охотников — видный военный деятель, в прошлом адъютант Якира, действительно один из ближайших друзей Бабеля. Как и комдив Дмитрий Шмидт (однофамилец О. Ю. Шмидта), командир единственной тогда в стране бригады тяжелых танков. Бабель любил его нежно, множество раз бывал у него в гостях. На осенние маневры тридцать пятого года по приглашению Якира приехал вместе с молодой женой, жил у Шмидта. А меньше чем через год имя комдива прозвучало на первом московском публичном процессе (дело Зиновьева — Каменева), где один из подсудимых — Мрачковский — сделал заявление о том, что в Красной

[1] Среди тех, протнв кого у него выбнлн показання, еще н нзвестные в то время журналнсты Татьяна Тэсс, Евгений Крнгер, Евгений Бермонт. Никто нз них не пострадал, что опять же означает, как мало стоилн какне бы то нн было показания. «Бралн» тех, кого надо было брать, а не обязательно тех, на кого собрали «компромат». Среди «обличенных» Бабелем н профессор Л. Тумерман, которого не тронут еще десять лет *(о нем см. в этой книге очерк «Совершенно секретно»)*. Да и против самого Бабеля материалы собнрали впрок: например, задолго до его ареста он перечнслен средн «известных троцкистов» в показаниях арестованного пнсателя Борнса Пнльняка.

Армии существует «группа убийц» во главе с Дмитрием Шмидтом. Вскоре не стало ни Охотникова, ни Шмидта.

К делу Бабеля был приложен «особый пакет» с выписками из дела Шмидта на семи листах. До «особого пакета» оказалось невозможным добраться. Даже сегодня. Но ведь не случайно же приложением к делу Бабеля оказались именно эти выписки. И, не зная деталей, легко догадаться, в каком контексте встречается там имя Бабеля. Вот в какой компании должен был он оказаться еще за три с лишним года до своего ареста. Не Ежов ли тогда отвел от него беду? Эту версию, по-моему, исключать нельзя.

Теперь сам Ежов ждал пули палача — и получил ее на неделю позже, чем Бабель. 26 января за считанные минуты Ульрих мудро во всем разобрался. В ту же ночь Бабеля не стало.

Материал о преступной группе других террористов-троцкистов, агентов всех иностранных разведок ждал своего часа в секретном сейфе. Неосуществленный замысел, о котором сказано выше, состоял в том, чтобы устроить громкий процесс знаменитостей — писателей и артистов. Это с особенной наглядностью видно из материалов по делу Бабеля: весьма целенаправленно собирался «компромат» против вполне определенных людей. Кроме тех, кто назван выше, предполагалось посадить на скамью подсудимых Алексея Толстого, Константина Федина, Петра Павленко, артиста Алексея Дикого и некоторых видных деятелей культуры из других союзных и автономных республик — своеобразная демонстрация нерушимой сталинской дружбы народов. А во главе всей этой компании презренных убийц и наймитов международного капитала, конечно, должен был стоять Илья Эренбург — его имя фигурирует во всех без исключения списках, содержащихся в делах арестованных писателей и артистов.

Вот что вложили следователи в уста Бабеля об Эренбурге: «Понятно, что, когда Эренбург нашел в моем лице единомышленника, он охотно пошел со мной на антисоветские беседы, в которых мы установили общность наших взглядов и пришли к выводу о необходимости организованного (в этом вся изюминка! Главная задача лубянских мастеров состояла в том,

чтобы придумать «организацию». — *А. В.*) объединения для борьбы против существующего строя».

И конечно же, не случайно в качестве доказательств против Бабеля к его делу были приобщены материалы из разных других дел, вполне очевидно ориентированных. Мы найдем здесь выписки из показаний бывшего заведующего агитпропом ЦК Алексея Стецкого — о том, как он по заданию Троцкого выдвигал и объединял (!) «антисоветски настроенных писателей Б. Пильняка, П. Васильева, И. Бабеля, Н. Клюева, А. Белого и др. (всех свалили в одну кучу! — *А. В.*)». Из «показаний» Б. Пильняка: «Зная А. Воронского (старый большевик, редактор журнала «Красная новь». — *А. В.*) как ярого троцкиста, я агитировал за него Сейфуллину, Бабеля, Лидина, Буданцева, и в результате этого все упомянутые писатели полностью солидаризировались с Воронским. Когда Воронский был в ссылке, Бабель и Сейфуллина ездили к нему и привезли указания, какую работу должны вести антисоветски настроенные писатели для борьбы с партией». Из «показаний» редактора «Крестьянской газеты» Семена Урицкого: «...Я неоднократно встречался с Бабелем в обществе Леонида Утесова и убедился, что Бабель — человек троцкистских взглядов. Он высказывал свое несогласие с линией партии».

Так что мы видим: дело шло к большому процессу, где уже расстрелянных писателей должны были заменить остававшиеся пока на свободе. Но этот процесс, однако, не состоялся. Никто из любовно составленного следователями списка не пострадал (не пострадал — в лубянском, а не ином смысле), иные — к примеру «красный граф» Алексей Толстой — даже еще больше приблизился к престолу, Павленко стал «литературным экспертом» Лубянки, ну а Федин — тот вообще, подымай выше... Михоэлса рука палача настигла иначе — и позже, арестованный Алексей Денисович Дикий был отпущен на свободу, остальных кремлевская Немезида вообще обошла стороной. По некоторым свидетельствам Сталин читал не только дело Кольцова, но и дело Бабеля, стало быть, имя «французского шпиона Эренбурга», как и прочих хорошо ему известных шпионов, попадалось вождю на глаза множество раз. Но вопроса: «Отчего же все эти шпи-

оны гуляют на воле, куда смотрит и что себе думает ведомство Лаврентия Павловича?» он никому не задал. И этим решил их судьбу.

Почему? И. Эренбург, который остро чувствовал меч, занесенный над его головой, но вряд ли мог предположить, какие обвинения ему уже приписали, отвечает в своих мемуарах коротко: «Не знаю». Помню, как в пятидесятые годы безжалостно атаковали его этим вопросом («Почему вы спаслись?») и на авторском вечере в Политехническом, и на ночной встрече с актерами и друзьями театра «Современник», но ничего другого, кроме «не знаю», он сказать, конечно, не мог. А кто знал? Кто знает? Была ли четкая, ясная, для всех очевидная логика (пусть преступная, но все-таки логика) в подобных решениях?

От громких публичных процессов к тому времени, после очень трудно проведенного, едва не сорвавшегося процесса Бухарина — Рыкова, уже отказались. К тому же отказ Мейерхольда, Кольцова и Бабеля, даже после угроз и пыток, признаться в своих «злодеяниях» сорвал, хотя бы на время, этот сладостный замысел. Ясное дело, как бомба с часовым механизмом, «собранный» следствием материал мог взорваться в любую минуту, стоило только нажать на кнопку.

Таких впрок заготовленных показаний, которые, пожелай лишь вождь и учитель, тут же были бы у него на столе, лежало в сейфах навалом. Те материалы судебных дел, откуда я извлек сообщенные здесь факты, содержат сведения и о том, как выбивались на следствии «данные» против А. А. Андреева, А. А. Жданова, Л. М. Кагановича — «самых верных соратников» любимого и родного. И против других, ничуть не менее верных.

«Данные» могли пригодиться. Но — пронесло...

Родственникам погибших был сообщен результат. Для всех один и тот же: 10 лет дальних лагерей **без права переписки**. Разумеется, в приговорах этой формулы нет, там ее заменяет одно короткое слово «расстрел». Кто-то придумал и внедрил этот страшный эвфемизм — чтобы «не возбуждать» и не сеять паники. Но секрета, в сущности, не было, все тогда знали (хотя многие и не верили, не хотели верить!),

какая реальность скрывается за этой загадочной санкцией, не предусмотренной даже для видимости никаким законом.

Оттого-то, наверное, был запущен и безотказно действовал механизм целенаправленных слухов. До родных и друзей время от времени доходили известия: лишенный права переписки жив и здоров, находится там-то и даже — со счастливой оказией — передает своим близким горячий привет.

О мифических встречах разных людей с Кольцовым рассказал в своих воспоминаниях его брат, художник Борис Ефимов. Жена Бабеля — Антонина Николаевна Пирожкова — несколько раз делала запросы о судьбе мужа, и каждый раз ей давали **устный** ответ о том, что он «содержится в лагерях». В 1947 году ее обрадовали известием: через год муж выйдет на свободу. Прошел год — оказалось, что еще не отбыт срок, но, конечно же, Бабель жив и горит желанием как можно скорее искупить свою вину. Летом 1952 года ее разыскал «по поручению Бабеля» некий гражданин, «освобожденный из Средней Колымы», чтобы передать от мужа привет. Даже после официальной реабилитации неизвестно зачем продолжалась эта дьявольская комедия: вдове было объявлено, что, «отбывая наказание», Бабель умер в местах заключения от паралича сердца 17 марта 1941 года. Лишь в 1972 году — через 18 лет после реабилитации! — была наконец сказана горькая правда о точной дате расстрела. В том же 72-м была раскрыта правда и о дате казни Мейерхольда. До этого родственникам сообщали, что Всеволод Эмильевич умер 17 марта 1942 года «от упадка сердечной деятельности». Какая иезуитская сила повелевала целые десятилетия лишать близких возможности хотя бы свечку поставить в годовщину ухода из жизни, а не в произвольно избранный чиновниками день, — ответит ли кто-нибудь и когда-нибудь на этот вопрос?

Один из первых (если не первый) биографов Мейерхольда Юрий Елагин в уже упоминавшейся книге «Темный гений» сообщает со слов «человека, вполне заслуживающего доверие», что тот «держал в руках» открытку от Всеволода Эмильевича — со штемпелем «одной из небольших забайкальских железнодорожных станций».

Едва ли не каждого, про кого официально и категорично не было сказано, что он казнен, то и дело «лично встречали» вездесущие очевидцы. Одна западная журналистка, сидевшая близ Воркуты с 1948-го по 1953 год, описала свою встречу с виднейшим медиком, профессором Д. Плетневым, «которому было уже за восемьдесят». Он даже рассказывал ей, как отравил Горького: угостил начиненными ядом засахаренными фруктами. Плетнев умер, сообщала журналистка, летом пятьдесят третьего. Эта версия «просочилась» и в редакционный комментарий «Дружбы народов» к «Воспоминаниям о «деле врачей» Я. Рапопорта (1988, № 4). Увы... Плетнев был расстрелян 11 сентября 1941 года в лесу под Орлом — там же и в тот же день, что и Христиан Раковский, Мария Спиридонова и многие другие ни в чем не повинные люди.

Повторяемость слухов, содержание которых сколочено по единой отработанной схеме, позволяет считать, что родились они и распространялись отнюдь не случайно. И уж тем более не случайно «доверительное» подтверждение товарищу по несчастью официальной версии об отравлении: все ладно пригнано одно к одному... Сразу же после того, как Берия был ликвидирован, слухи эти прекратились: источник иссяк.

В тюремной камере, наедине со следователями-садистами, ожидая суда и смерти, надеялись ли жертвы на то, что кто-то где-то кому-то скажет хоть слово — за них? Или осознавали всю нереальность даже мысли об этом? Ведь каждый, кто решился бы на столь отчаянный поступок, подписывал себе приговор.

Каждый ли, впрочем? Великий талант принадлежит человечеству, своей стране прежде всего, — не побуждает ли его спасение к поступку из ряда вон выходящему? Пусть даже к безумному. Престарелый академик Д. Н. Прянишников пробился к самому Берии, чтобы вырвать из его лап Николая Вавилова. Академик П. Л. Капица бесстрашно спасал Льва Ландау. Коллеги боролись, и небезуспешно, за Туполева, за Королева. Мхатовские «старики» пытались облегчить участь молодого талантливого артиста Юрия Кольцова («даже не однофамильца» Михаила Кольцова, ибо и тот и другой просто пользовались одинаковым псевдони-

мом). Но кто бросился на амбразуру, чтобы спасти Мейерхольда? Тогда — не потом...

Через три недели после ареста Мейерхольда была зверски убита неведомо кем у себя на квартире в Брюсовском переулке его жена — артистка Зинаида Николаевна Райх. Тотчас распространился слух, что она сама была в «шпионской банде» Мейерхольда и что убийцы — ее сообщники, устранившие слишком осведомленного и невоздержанного на язык соучастника. Сообщались леденящие душу подробности — передаваемые из уст в уста, они дошли даже до наших дней: будто убийцы, боясь быть опознанными, выкололи глаза своей жертве — по расхожим в ту пору «научным» сенсациям глазная сетчатка запечатлевает образ того, кто последним попал в ее «объектив».

Вероятно, эти домыслы заставляли даже очень порядочных и добрых людей в ужасе отпрянуть от темной и чреватой бедой истории. Детей Зинаиды Райх и Сергея Есенина НКВД предупредил через посредство их дяди — мужа сестры Зинаиды Николаевны, актера Театра транспорта В. Пшенина (бывшего секретаря партбюро ГОСТИМа): на следующий день после похорон матери убраться вон из квартиры. Под открытое небо... Их дед, Николай Андреевич Райх, сумел дозвониться до прославленного артиста, депутата Верховного Совета СССР Ивана Михайловича Москвина. Вот что рассказывает об этом Татьяна Сергеевна Есенина: «Выяснив, с кем он разговаривает, Москвин, не дождавшись, когда отец погибшей выскажет свою просьбу, сказал: «Вы, наверное, насчет похорон. Общественность отказывается хоронить вашу дочь». Дед объяснил, что свою дочь он похоронит сам, но просит воспрепятствовать незаконному выселению его внуков из квартиры. Москвин коротко ответил: «По-моему, вас выселяют правильно»[1].

---

[1] Можно ли этот эпизод считать воспроизведением «непроверенных слухов», как утверждает известный историк театра В. Я. Виленкин («Книжное обозрение», 1991, № 4)? Ведь так называемый «слух» исходит «из первых рук», от непосредственной участницы события, и, стало быть, представляет собой свидетельство очевидца, которое можно опровергать при наличии доказательств, но никак нельзя называть «непроверенным слухом».

Кто бросит теперь камень в несчастного Москвина? Ведь разговор шел по телефону, а панический страх от подслушивающих аппаратов уже тогда охватил страну. Всюду мерещились не только шпионы, но и вездесущие уши!

После нескольких лет «розыска» и «следствия» якобы, гласит молва, были найдены злоумышленники. Ими оказались известный певец Большого театра Дмитрий Головин и его сын Виталий. Сын будто бы убил З. Н. Райх, которая случайно застала его в квартире во время грабежа, а отец был соучастником: прятал награбленное и не донес об убийстве.

Но вот это действительно оказалось не более чем слухом, усиленно и целенаправленно распространявшимся из некоего невидимого центра. Слухом, живущим и по сей день. После того как я рассказал о некоторых документах из судебного архивного дела Мейерхольда («Литературная газета», 4 мая 1988 г.), пришло множество писем, авторы которых упорно, как о несомненном факте, сообщали об «убийцах Головиных», которые «хвастались в московских кафе и артистических клубах старинными часами и разными драгоценностями, исчезнувшими из квартиры Мейерхольдов после убийства Зинаиды Райх». Хотя никакие «разные драгоценности» после убийства не исчезли, версия, как видим, сочинена была лихо, если оказалась такой живучей. Ни отец, ни сын Головины никакого отношения к этой трагедии не имели.

Попытки многих людей найти следы темного и кровавого дела успехом не увенчались. Известно, что уже в годы войны Головины были осуждены (не ранее 1942 г., ибо еще в конце 41-го, как сообщали газеты, Дмитрий Головин вместе с Обуховой, Лемешевым и другими выдающимися артистами пел в прифронтовой Москве). «На суде, — рассказывает Татьяна Есенина в своем обращении к Политбюро с просьбой помочь установить виновников убийства матери, — присутствовал известный оперный артист Александр Батурин, одновременно являвшийся народным заседателем Верховного суда СССР. Вскоре после войны я виделась с Батуриным в Ташкенте, куда он приезжал на гастроли. По его словам, дело Головиных было крайне грубо и откровенно фальсифицированным, но

все попытки общественности Большого театра заступиться за члена своего коллектива были тщетными».

В середине пятидесятых годов, на волне начавшейся оттепели, бывший артист театра Мейерхольда Игорь Ильинский попытался найти хоть какие-то концы этой мистерии: безрезультатно! Много позже Константин Рудницкий, готовя книгу о Мейерхольде, сделал официальные запросы. Из министерства внутренних дел ответили: в архиве никаких документов нет. Не подлежит ни малейшему сомнению: это была одна из самых гнусных и самых ловко проведенных операций НКВД.

«...Вас выселяют правильно». Кто мог ответить иначе? «Общественность» одобряла. «Бунтовщиков» не нашлось. Страна упоенно пела: «Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей». Завтра наступала очередь того, кто сегодня молчал в надежде спастись самому. Цена молчания и последствия страха — вот главный урок, который они оставили нам.


ОСЕНЬЮ
СОРОК ПЕРВОГО


2

Никто не забыт и ничто не забыто — этот священный лозунг относится ко всем. И к жертвам фашизма. И к жертвам той беспощадной машины уничтожения, которая не дала им даже возможности погибнуть, сражаясь с фашизмом. Но в победе над ним все равно есть капля и их крови.

Память требует Памятника — овеществленного знака антизабвения. Достойный мемориал погибшим в войне будет наконец воздвигнут. Хотя бы и с опозданием на полвека. С еще бо́льшим опозданием неизбежно грядет ничуть не менее достойный мемориал погибшим от беззакония. Стоит скромный камень между мрачной громадиной Лубянки и неприметным особнячком позади Первопечатника: там судили и там же казнили. Воздвигаются монументы на Колыме, близ Воркуты и в других местах необозримого ГУЛАГа. Но что мешает нам почтить в металле и камне память не всех сразу, а пока лишь «некоторых» и «отдельных»? Чьи имена не надо разыскивать следопытам — они известны и сегодня предстают пред нами такими, какими были. Без оскорбительной лжи.

Сначала цитата из книги, всем хорошо известной. «На службе народу» — так она называется. Вышла тремя изданиями. Автор — Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков.

«Наступило утро второго дня войны. Я получил срочный вызов в Москву. (Тогда еще генерал армии, заместитель наркома обороны СССР Мерецков встретил войну, направляясь в Ленинград, откуда предполагал выехать в Прибалтику. — *А. В.*) ...В тот же день, то есть 23 июня, я был назначен постоянным советником при Ставке Главного командования.

В сентябре 1941 года я получил новое назначение. Помню, как в связи с этим был вызван в кабинет Верховного главнокомандующего. И. В. Сталин... сделал несколько шагов навстречу и сказал:

— Здравствуйте, товарищ Мерецков! Как вы себя чувствуете?»

У Верховного были все основания задать генералу этот вопрос. Ибо он хорошо знал, где и как провел полководец те месяцы, что разделяют первый и второй процитированные мною абзацы. И сам автор помнил, конечно, о них ничуть не хуже, чем о той первой фразе, которой был встречен в Ставке.

24 июня 1941 года (по другим документам — 26-го) заместитель наркома был арестован. Высокая должность советника Ставки была не больше чем фикцией, манком, чтобы окрыленный доверием генерал примчался скорее в Москву, где его и схватили. Что случилось с ним дальше, мы узнаем из иной цитаты. В книгах ее не найдешь, она — в уголовном деле. Ее «автор» — один из самых кровавых бериевских палачей Лев Шварцман.

«Физические методы воздействия, — заявил Шварцман уже в качестве подсудимого (1955 год), — применяли к Мерецкову сначала высокие должностные лица (имеются в виду ближайшие сподвижники Берии Меркулов и Влодзимирский. — *А. В*), а затем и я со следователями Зименковым и Сорокиным. Его били резиновыми палками. На Мерецкова до ареста имелись показания свыше 40 свидетелей о том, что он являлся участником военного заговора. В частности, были показания, что он сговаривался с Корком и Уборевичем (выдающиеся военные деятели, казненные вместе с Тухачевским в 1937 г. — *А. В.*) дать бой Сталину».

Член суда полковник юстиции Лихачев спросил Шварцмана: «Вы отдавали себе отчет в том, что избиваете крупнейшего военачальника, заслуженного человека?» Ответ: «Я имел такое высокое указание, которое не обсуждается».

По высокому указанию перед самой войной и в первые дни после ее начала арестантами стали те, кто еще уцелел после почти поголовного уничтожения высших командных кадров Красной Армии на исходе тридцатых годов.

Об уничтожении военной верхушки во главе с маршалом Михаилом Тухачевским теперь хорошо известно. Куда меньше — о той лавине арестов, которые последовали за уничтожением этой верхушки: репрес-

сии подкосили почти весь командный состав вооруженных сил страны. Многократно публиковалась «таблица», составленная бывшим узником ГУЛАГа генерал-лейтенантом А. И. Тодорским, — цифры потерь, понесенных красными командирами не на поле боя, а в энкаведистских застенках. Отметим поэтому лишь одно: кроме суда над Тухачевским и другими семью подсудимыми, ни один «процесс военных» не был публичным. То есть, конечно, и процесс Тухачевского проходил при закрытых дверях, но о нем по крайней мере сообщали в печати, придав огласке самый факт ликвидации людей, чьи имена были известны всей стране и далеко за ее пределами. Остальных «устраняли» тайно.

С чисто формальной стороны организация так называемого Специального Судебного Присутствия Верховного суда СССР под председательством все того же зловещего Ульриха была вполне оправданной: крупнейших военачальников судили крупнейшие военачальники. Трагический фарс состоял в том, что некоторые из судей уже значились в секретных досье НКВД врагами народа, более того — еще накануне суда против них вымогали (и получили!) показания от самих обвиняемых. Тухачевский и его товарищи имели все основания увидеть оговоренных ими коллег рядом с собой на скамье подсудимых, а увидели — за судейским столом. Знали ли (догадывались хотя бы?) завтрашние враги народа, сегодня играющие роль судей, что сами они обречены? Это были умные и проницательные люди, так что вряд ли подобные мысли не приходили им в голову. Не это ли заставило именно их быть особенно активными во время судебного «следствия»? Василий Блюхер, Иван Белов и особенно Яков Алкснис задали подсудимым самое большое число вопросов, по форме и тональности напоминавшие вопросы прокурора[1]. Из девяти членов Специального Су-

[1] Кстати, в «Литературной мозаике» Владимира Карпова «Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира» («Знамя», 1989, № 10) со ссылкой на не названного по имени «одного из присутствующих на суде» говорится о том, как энергично допрашивал прокурор подсудимых. Если собеседник В. Карпова действительно находился в зале суда, то это, видимо, аберрация памяти: на процессе Тухачевского прокурор (как и защитники) в соответствии с законом от 1 декабря 1934 г. не участвовал.

дебного Присутствия шестеро (кроме Блюхера, Белова и Алксниса еще Павел Дыбенко, Николай Каширин и Евсей Горячев) вскоре погибли[1].

Тем временем в армии и на флоте шли массовые аресты командного состава, о которых нигде не сообщалось. Некоторым удалось спастись во время «бериевской оттепели» 1939 года. Среди освобожденных были будущий прославленный маршал, а в ту пору еще генерал-майор Константин Рокоссовский, будущий генерал армии Александр Горбатов, генералы Леонид Петровский, Вячеслав Цветаев, Василий Юшкевич и другие. Многие из них громко заявили о себе в годы Отечественной войны. Казалось, кошмар ежовщины никогда больше не повторится. Но затишье длилось недолго. Да и было ли оно вообще? Выходили одни, «входили» другие.

Эти «другие», избежавшие ареста при первой волне, были тогда еще весьма молодыми, весьма средними (по воинским званиям и должностям) командирами, что, скорее всего, и избавило их от расправы. Это им предстояло занять освободившиеся места, не растеряв всего, что было создано и накоплено их славными, мученически завершившими свой путь предшественниками. В большинстве это были талантливые, хорошо подготовленные военачальники, многие обрели уже боевой опыт на Хасане, Халхин-Голе и особенно в Испании, где они воевали под вымышленными именами — кто в рядах испанских республиканцев, кто в составе интернациональных бригад. Они быстро поднимались по служебной лестнице, перемещаясь не только по вертикали, но и по «горизонтали» — с одной военной должности на другую. Вскоре их постигла участь старших товарищей.

Еще не закончилась «чистка» лагерей от невинно пострадавших при Ежове, как, стремительно нарастая, началась вторая волна арестов. Эта волна (то есть массовые, а не одиночные аресты) стала набирать обороты с первых дней 1941 года и вскоре превратилась в смерч. Затевался новый грандиозный процесс военных.

[1] Блюхер умер в тюрьме от пыток, Горячев покончил с собой вскоре после казни Тухачевского и его товарищей, остальные четверо расстреляны.

Кроме Кирилла Мерецкова, арестованного одним из последних, в состав «заговорщиков» входили: нарком вооружения Борис Ванников[1], помощник начальника Генерального штаба, дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Яков Смушкевич, начальник управления противовоздушной обороны, Герой Советского Союза генерал-полковник Григорий Штерн, заместитель наркома обороны, Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Павел Рычагов, заместитель наркома обороны, командующий войсками Прибалтийского Особого военного округа генерал-полковник Александр Локтионов, заместитель начальника главного артиллерийского управления НКО СССР Георгий Савченко, начальник отдела этого управления Степан Склизков, начальник Военно-воздушной академии генерал-лейтенант Федор Арженухин, заместитель начальника управления вооружений Главного управления Военно-воздушных сил Иван Сакриер, Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Иван Проскуров, виднейший артиллерийский конструктор Яков Таубин и многие-многие другие.

Имена едва ли не всех этих новых боевых коман-

---

[1] В написанных, очевидно, на рубеже пятидесятых — шестидесятых годов, но опубликованных лишь в 1988 году («Знамя», № 1) мемуарах Б. Л. Ванников рассказывает о том, как однажды за ужином в сталинской квартире он узнал от вождя, что «среди военных инженеров оказались подлецы... Их скоро арестуют». И действительно, два дня спустя их арестовали — коллег и ценнейших сотрудников наркома, фигурирующих в приведенном на этой странице списке. Особое доверие Сталина, видимо, обнадежило Ванникова, хотя он мог бы вспомнить, что в тридцать седьмом — тридцать восьмом его (как и Мерецкова) уже терзали допросами на Лубянке. Кем-то уже были выбиты показания против него, а он, в свою очередь, показывал против других. Например, из письма Сталину расстрелянного впоследствии маршала Григория Кулика известно, что от Ванникова еще в 37-м добились каких-то «данных», позволявших считать бедолагу врагом народа. Словом, из особо доверенного Ванников в любую минуту мог превратиться (и вскоре превратился) в особо опасного. Но он явно этого тогда не осознавал. «Мы не проявили, — самокритично и честно пишет Ванников, — твердости и принципиальности до конца, выполняли требования, которые считали вредными для государства. И в этом сказывались не только дисциплинированность, но и стремление избежать репрессий». Свидетельство Ванникова еще раз убедительно подтверждает очевидное: Сталин был абсолютно в курсе всего, аресты и уничтожение военачальников и конструкторов производились если не по прямому его указанию, то с его согласия.

диров и создателей оружия уже успели стать широко известными — ведь не было, пожалуй, в тридцатые годы более популярной профессии, чем профессия военная. Таких героев испанской войны, как Смушкевич и Штерн, знала поистине вся страна. Тогда, накануне войны, даже «просто» Героев Советского Союза было совсем немного, а уж «дважды», как Смушкевич, — таких считали буквально на пальцах одной руки. Штерн выступал на 18-м партийном съезде, его речь и портреты печатали в газетах, его голос много раз звучал по радио, ему были посвящены сюжеты в выпусках кинохроники. Пресса создавала вполне заслуженную популярность и многим другим «заговорщикам». К тому же их старательно поднимали и в «общественном» плане. Трое входили в состав ЦК, пятеро были депутатами Верховного Совета СССР. И все это несмотря на молодость: Рычагову, например, только-только исполнилось тридцать лет...

24 июня 1941 г. прямо на летном поле была арестована его жена, известная военная летчица майор Мария Нестеренко — заместитель командира авиаполка особого назначения. Формула обвинения: «...будучи любимой женой Рычагова, не могла не знать (!) об изменнической деятельности своего мужа».

Искать какую-то одну причину, побудившую затеять именно в этот момент столь безумную акцию, — дело, думаю, безнадежное. Вероятно, на судьбу Штерна повлияло его участие в позорной финской войне, где он командовал 8-й армией и был автором отвергнутого плана штурма линии Маннергейма. Необходимо было найти виновников поражения, отведя какие бы то ни было упреки от величайшего стратега всех времен и народов. «Испанцев» тоже неплохо было бы обвинить в том, что они не воевали с фашистами, а служили их тайными агентами. Рычагов, как свидетельствует Константин Симонов, осмелился открыто и дерзко спорить с самим Сталиным. На заседании Военного совета перед самым началом войны обсуждался вопрос о тревожно большой аварийности в авиации. По словам очевидцев, чьи воспоминания приводит К. Симонов в своих посмертно опубликованных записках «Глазами человека моего поколения», Рычагов, когда дошла до него очередь высказаться, произнес, потеряв, как вид-

но, контроль над собой: «Аварийность и будет большая, потому что вы заставляете нас летать на гробах». Сталин отреагировал одной репликой: «Вы не должны были так сказать». «Через неделю, — пишет Симонов, — Рычагов был арестован и исчез навсегда».

Таким образом, для каждого ареста можно, казалось бы, найти конкретную причину или хотя бы спровоцировавший его повод. Но это дело пустое, абсолютно бессмысленное и ничего не объясняющее. Показания о «предательстве» Рычагова к тому времени уже были выбиты у арестованных раньше Смушкевича, Штерна и Проскурова, то есть, иначе говоря, Берия его уже взял на прицел, и, стало быть, Рычагов был обречен. Отчаянная реплика, сорвавшаяся с его уст на Военном совете, лишь облегчила Берии осуществление поставленной им задачи.

Запущенная на полный ход машина уничтожения крутилась по своим законам. Остановиться она уже не могла. Нужны были заговоры, диверсии, покушения, происки кишащих повсюду врагов. Иначе страх начинал гаснуть. Иначе Сталин обратил бы свой испепеляющий взор на тех, кто «плохо карал».

Праздный вопрос — знал ли Сталин о том, какое судилище назревает. Мог ли не знать, если, как пишет Ванников, чьи мемуары опубликовал журнал «Знамя», в его одиночную камеру (июль сорок первого!) пришло указание Сталина «письменно изложить свои соображения относительно мер по развитию производства вооружения в условиях начавшихся военных действий». Мог ли не знать, если в разгар следствия при наличии, как хвастался 14 лет спустя Шварцман, «многочисленных показаний об их вражеской деятельности», выбитых усердием следователей В. Г. Иванова, Н. А. Кулешова, А. А. Зозулова, З. Г. Генкина, А. М. Марисова, Я. М. Райцеса, И. И. Родованского и других, по его высочайшему распоряжению были освобождены Мерецков, Ванников и еще десятка полтора видных деятелей оборонной промышленности. Этих счастливцев прямо из камер возвращали в свои служебные кабинеты, а иных доставляли к Сталину в Кремль. Но не всех. Далеко не всех...

Из песни слова не выкинешь: зверски избитые жертвы (кроме Локтионова и некоторых других, героичес-

ки выдержавших все пытки) «признали» в конце концов то, чего от них добивались. Если точнее: признавали, отказывались, опять признавали. Можно представить себе, что пришлось им пережить в промежутках между признанием и отказом. Страшно читать позднейшие показания истязателей — о том, как кричал, хватаясь за сердце, Ванников, как в кровь был избит Мерецков, как хрипел и стонал Смушкевич, как лишился сознания истерзанный Штерн... «Кирилл Афанасьевич, ну ведь не было этого, не было, не было!» — умоляюще протягивал руки к Мерецкову на очной ставке корчившийся от боли Локтионов и замолкал, встретившись с его измученным и потухшим взглядом.

О том, что арестованные не хотели брать на себя никакой вины и отчаянно сопротивлялись инквизиторам, свидетельствует такая запись в протоколе очной ставки Смушкевича с Рычаговым, которую проводили «коллегиально» два чудовища — Влодзимирский и Шварцман: «Вопрос обоим: вы по-прежнему (!) даете противоречивые, не соответствующие действительным фактам показания. Предлагаем вам отказаться от своей вредительской тактики». Мы знаем, чем сопровождалось такое предложение...

Склоним головы перед теми, кто не выдержал, с таким же состраданием и пониманием, как и перед теми, кто устоял. Доверимся лучшему знатоку этих дел Лаврентию Берии, который докладывал следствию через 12 лет: «Для меня несомненно, что в отношении Мерецкова, Ванникова и других применялись беспощадные избиения, это была настоящая мясорубка. Таким путем вымогались клеветнические показания».

Предыдущий абзац содержался и в очерке «Тайна октября 1941-го», опубликованном «Литературной газетой» (20 апреля 1988 года). Он вызвал далеко не однозначную читательскую реакцию. Понимание немыслимой, не имеющей аналогов ситуации, в которой оказывались безвинные люди на дыбе у «родных» чекистов, сострадание к жертвам беспримерных пыток, издевательств и шантажа проявили далеко не все. «Как можно склонять головы перед трусами и предателями?! — восклицала в письме, написанном не только от своего имени, но и от имени подруг, жительница Виль-

нюса Бируте Зигмунтовна Багвилене. — Гореть в огне, корчиться и стонать от боли, терять сознание, но твердо быть убежденным, что со сломленным духом, с погубленной истиной, с потерянной честью жизнь не имеет дальнейшего смысла...»

Трудно что-нибудь возразить против этой безупречной позиции и этих прекрасных слов, но вся возвышенная патетика тотчас сникает, когда знакомишься с реальностью. Ужасающие рассказы тех, кому удалось вырваться оттуда, из лап смерти, как и циничные признания палачей, подтверждающих эти рассказы, убеждают: ни с какими высокоморальными — априорными и абстрактными — схемами подходить к той трагедии невозможно.

У каждого человека есть свой предел выносливости, за которым он превращается уже просто в биологическую особь. Дальше правит физиология, но не рассудок. К тому же палачи использовали не только физические, но и нравственные пытки, сочетание истязаний с комфортом и лечением, шантаж, обман, угрозы расправиться с близкими, в том числе с малолетними детьми. Заторможенность, апатия, полнейшее безразличие, отрешенность от всего, что происходит, неадекватная реакция на вопросы и многое другое, что, по свидетельству многочисленных очевидцев, было характерно для тех, кто прошел через истязания и представал перед скоротечным «судом», — убедительные доказательства применения и различных психотропных препаратов, парализовавших волю и превращавших человека в безропотно исполняющего волю хозяина дрессированное животное. Да что говорить!.. Никто не вправе, наслаждаясь своим благополучием и своей безопасностью, судить из прекрасного далека страдальца и мученика той кошмарной эпохи. Лучше скажем спасибо Судьбе за то, что избавила нас от этой ужасающей доли.

Несколько цитат из показаний палачей дадут нам некоторое представление о том, что происходило в лубянских застенках, — можно ли жертвы хоть в чем-нибудь упрекать и какова цена вырванных у них признаний. Мне представляется необходимым не миновать и этого черного «натурализма», ибо речь идет о выдающихся деятелях отечества, раздавленных чудо-

вищным сапогом большевизма, об их добром имени и о чести их потомков. Все приводимые здесь показания даны в 1954—1955 годах, когда шло следствие по делам двух чудовищ — Шварцмана и Родоса, выделяющихся особым садизмом даже из бериевского зверинца.

Лев Шварцман: «Мерецкова уличали еще в 1937 году арестованные по делу Тухачевского. Он тогда виновным себя не признал, и его оставили в покое... Когда его арестовали в 1941 году, то есть уже с началом войны, значит, были очень серьезные основания, и мы считали возможным применить к нему физическое воздействие как к опасному запирающемуся заговорщику. Его не щадили...» (Кого, хотелось бы знать, они **щадили?**)

Георгий Сорокин (следователь): «Сам я Мерецкова не бил (наверняка врет. — *А. В.*), но присутствовал при избиении его Шварцманом. Тот с ним не церемонился (попробуем представить себе, что скрывается за этим элегантным пассажем. — *А. В.*). Однажды, когда Шварцман ушел и я приступил к допросу, Мерецков пожаловался мне на боли в грудной клетке».

А. А. Зозулов, следователь (к сожалению, имя и отчество не указаны): «Я участвовал в допросах Ванникова, но лично физически на него не воздействовал (еще бы!.. — *А. В.*). Это делали Родос и другие, сейчас точно не помню кто, но его избивали палками и кулаками, пинали в живот, в пах... Однажды Родос приказал ему лечь на ковер и топтал его, прыгал на нем и кричал: «Нет, скажешь, все скажешь». И Ванников стал говорить...»

Иван Иванович Матевосов, следователь, старший лейтенант госбезопасности: «Мне приходилось участвовать в допросах Ванникова, но я физических мер воздействия к нему не применял (знакомая песня. — *А. В.*)... Кто точно его избивал, сказать не могу, но на нем, можно сказать, не было живого места. Было указание получить от него нужные показания любой ценой. И он дал такие показания на Арженухина, Склизкова и Каюкова (генерал-адъютант при заместителе наркома обороны. — *А. В.*), которые и были затем арестованы. От него же Сорокин и Родос добились показаний на Герасименко, который потом... был рас-

стрелян... Совершенно бесчувственный Ванников просто подписал показания, которые за него написал Родос, какие были нужны...»[1]

Семенов, сотрудник НКВД (ни инициалы, ни должность не указаны): «Я лично видел, как зверски избивали на следствии Мерецкова и Локтионова. Они не то что стонали, а просто ревели от боли. Но, пожалуй, особенно зверски поступали со Штерном. На нем не осталось живого места. Он несколько раз лишался сознания. Могу точно сказать, что так было после каждого его допроса».

После каждого?! Тогда уместно привести официальную справку. Штерна вызывали на допросы: Берия — один раз, Меркулов — один раз, Влодзимирский — четыре раза, Родос — пять раз.

Еще две цитаты — они мне представляются важными для нашего повествования.

---

[1] Допрос, о котором повествует Матевосов — видимо, самый безжалостный (или попросту зверский), — состоялся 28 июня 1941 года. Тем же днем помечен сохранившийся письменный запрос Меркулова своему шефу. Доложив об «успешном завершении мер по получению признательных показаний» от Б. Л. Ванникова, он испрашивает согласие Берии на арест «названных подследственными» лиц: маршала Г. И. Кулика (разжалованного впоследствии до майора), генералов Каюкова, Герасименко, Склизкова, Барсукова, Ветошкина и других, а также названных (после тех же, разумеется, пыток) И. Сакриером генералов, в числе них и Ф. К. Арженухин. Нарком отдал на заклание всех, кроме Кулика: этот деятель был в номенклатуре Сталина. Но 28 июня обращаться к Сталину по такому вопросу было, видимо, не с руки.

Среди арестованных, кроме названных выше, поименованные в письме Меркулова почему-то без инициалов видные военные деятели Верцев, Шелковый, Чарский, Батов, Хохлов, Мирзаханов, Гульянц, Жезлов, Лазарев, Котов, Иоффе. Об их судьбе скажу лишь то, что мне известно: вместе с Ванниковым (одновременно или позже) были освобождены Ветошкин, Верцев, Шелковый, Чарский, Хохлов, Гульянц. Начальник отдела главного артиллерийского управления НКО генерал И. А. Герасименко был арестован 5 июля 1941 г. и подвергнут жестоким пыткам следователями Родосом и Сорокиным. В октябрьский список подлежащих уничтожению не попал, но по «заключению», составленному следственной частью НКВД, его предлагалось предать «суду» Особого совещания и приговорить к расстрелу. В феврале 1942 г. И. А. Герасименко был казнен. Реабилитирован 23 июля 1955 г.

Упомянутый в тексте Борис Вениаминович Родос — тот самый, который причастен к уничтожению Бабеля и других деятелей культуры. Подробнее о нем рассказано в очерке «Палачи», публикуемом в этой книге.

Владимир Тихонов, следователь: «Как только Мерецков и Ванников подписали то, чего от них добивались, их перестали избивать, но они хорошо знали, что последует, если они изменят показания».

Василий Иванов, следователь: «15 июля 1941 года Влодзимирский (в то время Лев Емельянович Влодзимирский был начальником следственной части по особо важным делам НКВД СССР. Расстрелян вместе с Берией в декабре 1953 г. — *А. В.*), Шварцман и Родос привели на очную ставку с Мерецковым Локтионова. Мерецков выглядел хорошо, но, по-моему, не владел собой. Локтионов был жестоко избит, весь в крови, его вид действовал и на Мерецкова, который его изобличал. Локтионов отказывался, и Влодзимирский, Шварцман и Родос его продолжали избивать по очереди и вместе на глазах Мерецкова, который убеждал Локтионова подписать все, что от него хотели. Локтионов кричал от боли, катался по полу, но не соглашался. Потом, наконец, он сказал, что был сообщником Уборевича еще с 1934 года, но тут же от своих слов отказался, и его снова начали бить, пока сами не устали».

Несокрушимого Локтионова передали затем в руки молодого и тщеславного выдвиженца Якова Райцеса, карьера которого во многом зависела от успеха его «работы» с мужественным генералом. Впоследствии он показывал, начальство дало ему приказ «допрашивать активно», что на всем понятном лубянском жаргоне это означало: бить, бить и бить. Он, разумеется, «и пальцем не дотронулся» до Локтионова (так записано в его показаниях), однако подследственного пришлось на некоторое время уложить в санчасть, чтобы можно было продолжить «работу». Уже в 55-м, когда шло следствие по делу «следователей», Райцес горделиво докладывал, что «Локтионов в августе дал показания о своей вражеской деятельности», но это очевидная ложь: в последних протоколах его допросов от 6 и 10 августа 1941 г. значится одно и то же: «ни в чем не виновен». Барьер выносливости этого воина был, как видно, исключительно большой высоты.

Не щадили и женщин. Майор Мария Нестеренко, как уже сказано, была арестована 24 июня. Ей только-только пошел четвертый десяток. Уроженка села Бу-

ды, Мерешанского района, на Харьковщине, она девчонкой пошла в летную школу и вскоре вышла замуж за командира авиаотряда. Встреча с Павлом Рычаговым перевернула ее жизнь. Бросив мужа, она соединила свою судьбу с молодым талантливым летчиком (он был на год моложе ее) и вскоре сама прославилась необыкновенным мужеством в небе и редким мастерством за штурвалом. Такое же мужество проявила она и в камере пыток, спасая от клеветнических обвинений и себя, и мужа. Но... Истязания, которым подвергли эту замечательную женщину, я не в силах описать. У меня не хватает мужества даже на это...

Вот, пожалуй, и весь ответ на высоконравственные укоры тех, кто воспитан классикой соцреализма.

Итак, Сталин сделал выбор. Те, в чью преданность он поверил, из шпионов и диверсантов сразу же превратились в военачальников самого высшего ранга. Не боясь ошибиться, можно сказать, что и Ванникова, и Мерецкова спасла война: такой вот печальный, но несомненный парадокс. Перед освобождением Мерецкова вызвал к себе Меркулов — правая рука Берии. Присутствовавший при их беседе следователь Тихонов вспоминал: «Мерецков сказал ему (Меркулову. — *А. В.*): «Всеволод Николаевич, раньше мы запросто встречались, а теперь я боюсь вас». На это Меркулов только усмехнулся».

Он имел основания усмехнуться: сила и власть остались в тех же руках. У Берии и компании.

До сих пор не вполне ясно, почему Сталин освободил не всех военачальников, захлестнутых второй репрессивной волной. Ведь уже началась война, и Верховный не мог не понимать, как дорог на полях сражений и в конструкторских бюро, в армейских и фронтовых штабах, в оперативном и мозговом центре — Ставке, как дорог там каждый подлинный специалист. А то, что в бериевских застенках томятся подлинные специалисты, истинные военные таланты, — это Сталин прекрасно знал: ведь почти все они уже себя проявили. В деле — не на словах.

К иным из них он мог питать какие-то личные чувства, вызванные неудачно брошенным словом, неточным поведением, да просто своей «несимпатично-

стью», как он ее понимал. Но, за малым исключением, почти никого из обреченных он вообще не видел в глаза! Что же тогда побуждало его держать в тюрьме генералов, чье место было на фронтовых дорогах, а отнюдь не за решеткой? «Доказательства вины», представленные Лубянкой? Но против Ванникова и Мерецкова их было ничуть не меньше. Ведь если Мерецков находился в одной «упряжке» с Уборевичем и Корком, то, стало быть, и он готовился «сбросить» Сталина! А Проскуров, к примеру, всего-навсего был готов отдать врагу часть территории, которую враг к тому времени легко захватил и без его содействия. Почему же, вопреки всякой логике, так разительно отличались судьбы тех и других?

Точный ответ на этот вопрос мы вряд ли получим. Причудливый ход мысли «вождя» далеко не всегда находил отражение на бумаге. Даже косвенное. Так что объективные и бесспорные, то есть, иначе сказать, документальные материалы, видимо, просто не существуют. Скорее всего имелась не какая-либо одна, а много причин. Целый их комплекс. Сталин мог вовсе и не считать тех, кого он отдал на растерзание, военачальниками высокого уровня, по крайней мере, на том этапе войны, когда в полководцах у него все еще ходили такие бездарности как Тимошенко, Буденный, Кулик и всенародный любимец Клим Ворошилов. Он мог, действительно, верить (и наверняка верил) в разные заговоры, диверсии и шпионаж, раскрытые доблестными чекистами. Освободить всех «заговорщиков» значило выразить демонстративное недоверие к Берии и его полезному ведомству — этого он никак не мог допустить. Проявить же монаршью милость к наиболее ценным значило действовать по-хозяйски и обречь обласканных на безусловную преданность.

Так или иначе, всех ему нужных он уже отобрал. Остальное относилось к компетенции Берии. То, что произошло, ужасает еще и сегодня — полвека спустя. В мрачной тайне октября сорок первого осталось много вопросов, которые ждут доказательного ответа. Пока же — только факты. Они о многом расскажут и многое объяснят.

Фашисты приближались к Москве. Паника началась 15 октября и достигла своего пика 16-го, когда на

некоторых участках передовые отряды противника вплотную приблизились к столице. В ночь на шестнадцатое центральный аппарат НКВД, лучше других осведомленный о положении дел на фронте, эвакуировался в Куйбышев. Туда же перевезли и важнейших подследственных — военных деятелей, из которых лубянские умельцы уже сколотили единую преступную группу. По каким-то не очень ясным причинам некоторых военачальников в эту группу не включили (может быть, ждали, не призовет ли их Сталин на фронт?) — уничтожали поодиночке. Например, помощник командующего военно-воздушными силами Приволжского военного округа генерал-лейтенант Алексеев, арестованный как участник общего «заговора» тоже накануне войны (19 июня 1941 г.), не удостоился чести оказаться вместе с остальными жертвами, он казнен в Москве по персональному приговору. Но большинство постигла, однако, общая судьба: лететь за смертью на волжские берега.

Вдогонку Берия отправил в Куйбышев спецкурьера — одного из самых верных своих приближенных Демьяна Семенихина. Тот вез сверхсекретное письмо наркома: следствие прекратить, суду не предавать, немедленно расстрелять. И список — двадцать пять человек.

И опять возникает вопрос, на который я тщетно ищу ответа. Почему всесильный Лаврентий не уничтожил их прямо в Москве? Зачем этот, сложный по тем временам, «рейс» кружным путем в «вагонзаке» за две тысячи километров — по существу лишь на место казни? Было ли ко дню эвакуации уже принято решение об уничтожении военачальников или его приняли позже и тотчас исполнили?

Формальной датой принятия решения является 18 октября — через три дня после отправки арестантов в Куйбышев. Была ли формальная дата еще и реальной? Скорее всего — да. Этому есть подтверждение в показаниях Л. Баштакова, данных им в 1955 году: «До получения из Москвы предписания Берии Шварцман получил указание закончить расследование дел на Локтионова, Штерна и других, оформить дела и направить обвинительные заключения в Москву».

Наиболее логично (хотя была ли в действиях этой

банды хоть какая-то логика?) выглядит такая версия: после отправки генералов в запасную «столицу», на Волгу, положение под Москвой стало стремительно ухудшаться; и в Кремле, и на Лубянке началась паника; было уже не до комедии следствия и тем более не до комедии суда; арестованные военачальники по-прежнему оставались самой главной заботой человека в пенсне — заключенных важнее у него тогда не было. И важнее, и — главное! — опасней. (Вспомним и сопоставим: 15 октября Берия дал «аудиенцию» смертнику Николаю Вавилову, в чьей гениальности он вряд ли мог сомневаться. Речь шла о возможности использования ученого во благо родины. Но на следующий день и его пришлось срочно эвакуировать в Саратов. О нем, не столь «опасном», как генералы, «забыли», продлив его муки более чем на год.)

Сам ли Берия принял окончательное решение или испросил согласие Самого? Убежден: испросил! Не мог поступить иначе. Тем более — об этом ниже — несколькими неделями раньше Берия не взял на себя решение судьбы заключенных гораздо меньшего (по существовавшей тогда иерархии) уровня, чем полководцы. Разница только в том, что времени на бюрократическое «оформление» верховной воли уже не было: до того ли главнокомандующему, когда танки противника на ближних подступах к Москве? Короткой реплики — мимоходом — вполне достаточно. И участь людей решена... Так ли было на самом деле? Этого я не знаю. Все имеющиеся документы, относящиеся к убиению военачальников, тщательно изучались. Этой кошмарной странице нашей недавней истории уделялось особое внимание на следствии по делу Берии и его команды. Специальное Судебное Присутствие, вынесшее им приговор, особо отметило, что казнь генералов объясняется стремлением Берии «замести следы своих преступлений». Именно от Штерна, Смушкевича и других генералов Берия, Кобулов, Абакумов и прочие, говорится в приговоре, могли ждать самых страшных разоблачений. С этим можно, думаю, согласиться. Ситуация на фронте была такой, что вскоре Сталину могла прийти в голову мысль ухватиться и за эту соломинку — призвать на помощь выдающихся мастеров военного искусства, пока томя-

щихся в застенке. Ведь Мерецков-то был освобожден лишь в сентябре![1] Почему бы в октябре за ним не последовать остальным?! Но то, что бериевская банда успела уже сотворить с ними, не поддается воображению. Массовое, а не выборочное освобождение военачальников могло и не обойтись без последствий. Кого-то Сталин сделал бы козлами отпущения. Если не самого Берию (почему бы и нет? Разве судьба Ягоды и Ежова была исключительной и заведомо неповторимой?), то его ближайших подручных — скорее всего. Приходилось спешить...

Список на уничтожение составили Меркулов и Кобулов[2]. Берия подписал, отправив Меркулова в Куйбышев проследить за исполнением. Сколько тысяч было уже уничтожено росчерком его пера! Но тут был случай особый. Совершенно особый. Аналога не имевший. Впервые **таких** арестантов уничтожали без всякой **видимости** свершенного правосудия. Просто — «по указанию».

Их искали еще неделю: даже «особо важные» затерялись в толпе согнанных в Куйбышев арестантов. Рядовые следователи приказа не знали — продолжали «работать». 27 октября Родованский еще допрашивал Арженухина, 28-го утром Райцес — Марию Нестеренко. Неожиданно появился особо доверенный Берии — Родос: «Пошли!» — без объяснений. Через несколько минут пять закрытых машин выехали из ворот тюрьмы...

Их путь лежал в «населенный пункт» Барбыш — так назывался расположенный вблизи города поселок. Даже, собственно, не поселок, а место, где, огороженные высоким забором и сторожевыми будками, нахо-

[1] На допросе в 1955 г. один из следователей по его делу Василий Иванов простодушно показывал: «Будучи в сентябре 1941 года в Харькове, я с огромным удивлением узнал из газет, что Мерецков назначен командующим войсками фронта. А я знал по допросам с моим участием, какие он дал показания. Что состоял в шпионской группе и готовил против Сталина военный переворот». Садисты, похоже, сами уверовали в то, что пытками выбивали из жертв, сочиняя за них эти «признания».

[2] Богдан Захарович Кобулов — в то время комиссар государственной безопасности 3-го ранга, глава специального следственного отдела НКВД, ближайший сподвижник Берии. Дослужился до должности его заместителя и до звания «генерал-полковник». Казнен вместе с Берией в декабре 1953 г.

дились дачи сотрудников областного управления НКВД. В просторечии их называли «милицейскими дачами». Местность была в стороне от проезжих дорог. С одной стороны прямо к дачам подступал небольшой лесок, в который мало кто рисковал забрести, поскольку приближаться к энкаведистам не рекомендовалось. Вот сюда и держали путь пять закрытых машин.

«Акт. Куйбышев, 1941 год, октября 28 дня, мы, нижеподписавшиеся, согласно предписанию Народного комиссара внутренних дел СССР, генерального комиссара государственной безопасности тов. Берия Л.П. от 18 октября 1941 г. за № 2756/Б, привели в исполнение приговор о ВМН (высшая мера наказания. — *А. В.*) — расстрел в отношении следующих 20 человек осужденных: Штерн Григорий Михайлович, Локтионов Александр Дмитриевич, Смушкевич Яков Владимирович, Савченко Георгий Косьмич, Рычагов Павел Васильевич, Сакриер Иван Филимонович, Засосов Иван Иванович, Володин Павел Семенович, Проскуров Иван Иосифович, Склизков Степан Осипович, Арженухин Федор Константинович, Каюков Матвей Максимович, Соборнов Михаил Николаевич, Таубин Яков Григорьевич, Розов Давид Аронович[1], Розова-Егорова Зинаида Петровна, Голощекин Филипп Исаевич[2], Булатов Дмитрий Александ-

---

[1] Д. А. Розов — бывший председатель знаменитого «Амторга», на момент ареста — заместитель наркома торговли СССР. Каким образом он, Голощекин и Булатов попали в список военачальников, остается неясным.

[2] Ф. И. Голощекин — тот самый, который причастен к убийству царской семьи и к имперско-большевистскому террору в Казахстане. Арестован, будучи главным государственным арбитром. Никакого отношения к генералитету не имел.

В этой связи любопытно обратить внимание на то, к какому невежественному бреду приводит иных «историков» темная и слепая злоба. Вот что пишет Герман Назаров в журнале «Молодая гвардия» (1990, № 12, стр. 250): «Голощекин... вместе с наркомом колхозов (читай: наркомом земледелия СССР. — *А. В.*) Яковлевым (Эпштейном)... за преступления против русского и казахского народов были расстреляны Сталиным в 1938 году».

Кстати, энциклопедисты из издательства «Советская энциклопедия», чтобы не бросалась в глаза читателям дата расстрела Голощекина (ближайшего дружка Свердлова и Троцкого) — 1938 год, заменили ее на 1941-й и таким образом создали впечатление, что он погиб «смертью храбрых».

рович[1], Нестеренко Мария Петровна, Фибих Александра Ивановна[2]. Подписали: старший майор госбезопасности Баштаков, майор госбезопасности Родос, старший лейтенант госбезопасности Семенихин».

Пятеро других оказались в Саратове: С. Г. Вайнштейн, И. Л. Белахов, А. Я. Слезберг, Е. В. Дунаевский и М. С. Кедров. Их расстреляли тогда же — за городом. Наиболее известен из них Михаил Сергеевич Кедров, член партии с 1901 года, видный чекист, один из ближайших сотрудников Дзержинского, повинный и сам, разумеется, в массовых репрессиях, в убиении неповинных.

Весной 1921 года в качестве члена коллегии ВЧК он прибыл с ревизией в Баку: оттуда шло множество жалоб на массовые расправы с невиновными, на освобождение от наказания террористов, бандитов и очевидное покровительство политическим противникам. Во главе Азербайджанской ЧК стоял Джафар Багиров, который позже оказался всевластным хозяином республики (первый секретарь), а еще позже (1954 год) был расстрелян как организатор массовых репрессий. В свои заместители Багиров взял 22-летнего Лаврентия Берию. Кедров не только вскрыл множество злоупотреблений властью и незаконных убийств, но и связь Берии с мусаватистской разведкой[3]. Не доверяя ни почте, ни официальным курьерам, Кедров продиктовал своему старшему сыну Бонифатию (впоследствии академик, известный философ и историк науки), которому было тогда 18 лет, строго секретное, личное

Точная дата расстрела Ф. И. Голощекина сообщена в печати за два с половиной года до появления приведенного выше «открытия». Но его автор, видимо, не считает нужным читать то, что не соответствует его «концепции». Ф. Голощекин, как и Я. Яковлев, обвинялись не в преступлениях «против русского и казахского народов», а в сотрудничестве с иностранными разведками для свержения того самого строя, который и совершил преступления против русского, казахского и всех остальных народов страны.

[1] Д. А. Булатов — секретарь Омского обкома партии.

[2] А. И. Фибих — жена Г. К. Савченко. Непонятно, почему она числится по фамилии первого мужа. Впрочем, подобных загадок — следов спешки и неразберихи — множество не только в этом деле.

[3] Партия «Мусават» («Равенство») находилась у власти с сентября 1918-го по апрель 1920 г. Действуя в контакте с англичанами и турками, спецслужбы мусаватистского Азербайджана боролись против большевиков.

письмо Дзержинскому. Бонифатий отвез письмо в Москву и сдал в канцелярию председателя ВЧК.

Дошло ли оно до адресата? Так или иначе, результатов никаких не последовало, хотя Кедров писал, что Берия не заслуживает никакого доверия и от работы должен быть отстранен. Строго говоря, вопрос о том, дошло ли письмо, практического значения не имеет, ибо возвратившийся позже в Москву М. С. Кедров имел возможность рассказать об этом же устно. В то время для **Центра** Берия был фигурой весьма незначительной и на решение Дзержинского никакого влияния оказать не мог. Зато мог другой — еще не генсек, но уже член политбюро, ведавший всеми руководящими национальными кадрами. Только он и мог «посоветовать», «порекомендовать», дать согласие или не дать...

Если не сразу, то впоследствии Берия, разумеется, узнал о содержании кедровского письма. И уж он-то, конечно, доподлинно знал, что подозрения, в нем содержавшиеся, соответствуют истине. В 1919 году он занимал высокий секретный пост в агентурной службе мусаватистского правительства Азербайджана, а годом позже стал «братски» сотрудничать с охранкой правительства независимой Грузии, где у власти тогда находились меньшевики.

В 1924 году Кедров покинул почтенное чекистское ведомство, перейдя на работу в ВСНХ, который возглавил все тот же, очень ценивший его, Дзержинский. Зато в ОГПУ под началом Менжинского, а потом и Ягоды стал работать младший сын М. С. Кедрова — Игорь, занявший, несмотря на свою молодость, хорошие позиции в иностранном отделе, а позже (это был его звездный час) принимавший участие в так называемом следствии по делу Зиновьева — Каменева. Близкое знакомство с энкаведистской кухней и разговоры с отцом раскрыли Игорю глаза на истинную суть террора во всесоюзном масштабе, который разворачивался теперь под руководством возглавившего НКВД Лаврентия Берии и в котором он сам был не последней фигурой.

Вместе со своим другом и коллегой Владимиром Голубевым Игорь, занимавший в то время пост начальника одного из отделений ГУГБ НКВД СССР, написал письмо Сталину, где рассказывал все, что он знал о беззакониях Берии и его заместителя Владими-

ра Деканозова, за которым тоже тянулся из Грузии длинный шлейф преступлений. Обращаясь к Сталину, два молодых чекиста, как и отец Игоря; старый чекист, исходили из расхожей версии о том, что «царь-батюшка» ничего не знает и что геноцид против народа осуществляется за его спиной. Считанные недели оставались до открытия XVIII съезда партии — как это ни покажется странным сегодняшнему читателю, но иллюзия, будто съезд не подмостки театрального шоу, а какой-то подлинный форум, способный обсуждать серьезные проблемы и принимать не подготовленные заранее решения, — эта иллюзия еще не была развеяна. Особенно в тех кругах, к которым принадлежали отец и сын Кедровы. Хотелось как можно скорее довести до несведущего, заблудшего Сталина правду, которую от него скрывали.

Хорошо ли сами они понимали, что это поступок самоубийц? Кто знает... Письмо было сдано в приемную Сталина, а копия — в приемную Комиссии партконтроля на имя мерзкого Шкирятова, чье имя по праву стоит в одном ряду с Вышинским, Ульрихом и Ежовым. Видимо, все же и Кедровы, и Голубев, к ним «примкнувший», допускали последствия своего поступка: М. С. Кедров тоже отправил Сталину послание, где, предвидя возможный арест сына, давал ему объяснение. К письму был приложен воспроизведенный им по памяти текст «затерявшейся» записки Дзержинскому почти 18-летней давности.

Игоря Кедрова и Владимира Голубева арестовали в конце февраля 1939 года, за две недели до открытия съезда, на который они возлагали столько надежд. Полтора месяца спустя (16 апреля) та же участь постигла и Михаила Кедрова.

С молодыми покончили быстрее, но все же почти год рвавшийся сделать карьеру молодой следователь Ефим Либенсон под наблюдением и руководством Кобулова и Мешика пытал недавнего коллегу (Игорю только что исполнился 31 год), добиваясь от него информации, столь жизненно важной для шефа. Формально же он был обвинен в том, что работал на германскую разведку, которая завербовала его в 1933 г. «для подрывной работы в органах НКВД». Этим «объяснялось» его стремление к быстрому подъ-

ему по чекистской лестнице. «В 1937 году, — говорится в составленном Либенсоном обвинительном заключении, — Кедров И. М. завербовал для шпионской работы сотрудника контрразведывательного отдела НКВД Голубева, через которого и добывал для германской разведки сверхсекретные сведения. В том же 1937 году Кедров через Голубева установил связь с германским посольством (кто все-таки кого завербовал? кто через кого устанавливал связь? в тридцать третьем или тридцать седьмом? совсем запутались наши чекисты. — *А. В.*) и вместе с сотрудниками указанного посольства имел намерение совершить провокационный акт, направленный на дискредитацию мероприятий по разгрому антисоветского заговора в НКВД» (лист дела 244).

Сколь бы туманно и витиевато ни был составлен сей документ, кое-что понять можно. «Провокационный акт» — это и есть письмо Сталину, послужившее причиной расправы. Но вот — «имел намерение»... Не **совершил** свой «провокационный акт», а лишь «имел намерение» совершить. Не означает ли это, что письмо до адресата не дошло, что его отфильтровали где-то на пути (а еще вероятней — сам Шкирятов другу Лаврентию и передал)? В протоколе заседаний военной коллегии сказано: подсудимый полностью признал вину. Удивляться не приходится: методика известна. 24 января 1940 г. Ульрих приговорил Игоря Кедрова к расстрелу. На следующий день его не стало. Расстреляли и Владимира Голубева, и заодно его приемную мать Н. В. Батурину — лишь за то, что она знала о содержании письма и помогала его перепечатать[1]. А «старого» Кедрова, с которым у Берии были особые личные счеты, терзали еще более полутора лет.

Берия не просто наслаждался муками поверженного врага, он пытался выжать из него все, что тот

[1] В докладе на XX съезде КПСС Хрущев утверждал, что И. Кедров, В. Голубев и Н. Батурина «были расстреляны без суда, а приговор был оформлен после расстрела задним числом». Похоже, однако, что комедия суда над И. Кедровым все же состоялась, причем пред очами Ульриха он предстал один, без «сообщников». Возможно, Голубева и Батуриной к тому времени уже не было в живых. Впрочем, лубянские тайны настолько темны, что нельзя стопроцентно ручаться за достоверность и подлинность ни одного документа, даже если он и снабжен официальной печатью.

знал о его прошлом. И, что еще важнее, о тех, других, кто мог это знать тоже. Документы, вне всякого сомнения, уже были уничтожены, теперь оставалось уничтожить свидетелей. И даже тех, с кем свидетели общались.

Из этого ничего не вышло. Михаил Кедров не сдавался. Более того, из тюремной камеры он обратился с письмом к своему старому другу Андрею Андрееву, занимавшему тогда пост члена политбюро и курировавшему в качестве секретаря ЦК комиссию партийного контроля, но дошло ли оно до адресата? Так или иначе, оно не пропало — о нем упоминал Хрущев в своем секретном докладе на XX съезде. (Хотя цитаты из письма М. С. Кедрова приводятся Хрущевым в кавычках, на самом деле он приводит не подлинный авторский текст, а его пересказ, хотя и достаточно точный. Ниже дается в отрывках точный текст — по заверенной машинописной копии, хранящейся в судебном деле.)

«Я обращаюсь к Вам за помощью, — писал Андрееву Кедров, который, естественно, был с адресатом всю жизнь на ты, — из мрачной камеры лефортовской тюрьмы. Пусть этот крик отчаяния достигнет Вашего слуха; не оставайтесь глухи к этому зову; возьмите меня под свою защиту; прошу Вас, помогите прекратить кошмар этих допросов... Я страдаю безо всякой вины... Я — не агент-провокатор царской охранки (по известному психологическому закону разоблаченный приписывает ту же вину своему разоблачителю — *А. В.*); я — не шпион; я — не член антисоветской организации, как меня обвиняют на основании доносов... Я — старый, незапятнанный ничем большевик... Сегодня мне, 62-летнему старику, следователи грозят еще более суровыми, жестокими и унизительными методами физического воздействия ...требуя новых, более жестоких пыток... У меня нет выхода. Я не могу отвратить от себя грозящие мне новые и еще более сильные удары. Но все имеет свой пределы. Мои мучения дошли до предела. Мое здоровье сломлено, мои силы и энергия тают, конец приближается. Умереть в советской тюрьме, заклейменный как низкий изменник Родины — что может быть более чудовищным для честного человека. Как страшно все это! Беспредельная боль и горечь переполняют мое сердце. Нет! Этого

не будет! Этого не может быть, — восклицаю я. — Ни партия, ни советское правительство, ни народный комиссар Л. П. Берия не допустят этой жестокой и непоправимой несправедливости... Я глубоко верю, что истина и правосудие восторжествуют. Я верю. Я верю».

Во что же он верил? Текст письма не оставляет сомнения: оно предназначалось прежде всего как раз для народного комиссара. Но уж Кедров-то лучше, чем кто-то другой, знал, что может и чего не может «допустить» всесильный человек в пенсне. И он знал еще, что отправленное Сталину разоблачительное письмо этому человеку хорошо известно. Так во что же он верил? На что рассчитывал?

В самом начале войны М. С. Кедрова предали, наконец, суду. Как всегда, приговор был предрешен, исход, казалось, настолько очевиден, что процесс вел не сам Ульрих, а его сотрудники, то есть, иначе сказать, никакого особого значения этому делу не придавалось. Теперь можно с уверенностью сказать, что в данном случае судьи не подвергались и предварительной обработке, — потому, как видно, что в этом не было ни малейшей нужды: все части единого механизма работали слаженно и безотказно. Но тут что-то сорвалось. «Сбой», тогда происшедший, до сих пор остается одной из нераскрытых тайн. Судили М. Кедрова члены военной коллегии Верховного суда СССР диввоенюрист М. Р. Романычев (председательствующий) и военюристы 1-го ранга А. А. Чепцов и В. В. Буканов. На счету у этих ревтрибунальцев сотни и тысячи смертных приговоров, вынесенных ни в чем не повинным людям. И вот — немыслимый, непостижимый, исключительный случай: Кедров оправдан![1]

По закону, который существовал и тогда, оправданного полагалось немедленно освободить из-под стражи в зале суда. Но зато существовала еще секретная инструкция, предписывавшая не применять этот закон к тем, кто обвинялся по пятьдесят восьмой

[1] Поправлю сам себя: случай редкий, но все же не исключительный. Например, 28 мая 1941 года той же военной коллегией был оправдан Борис Ворович, которого на Лубянке считали особо опасным государственным преступником. Вместо освобождения оправданного Берия распорядился отправить его «для отбытия наказания» (!) в Орловскую тюрьму. О судьбе Б. Г. Воровича см. ниже.

(то есть к «политическим»). Их полагалось возвращать в камеру, а об оправдательном приговоре уведомлять ведомство Берии. Кедрова возвратили во внутреннюю тюрьму на Лубянке. Взбешенный Меркулов обратился к Ульриху с письмом, полный текст которого, извлеченный из архива, впервые (полностью) публикуется ниже.

июля 1941 г.[1]
гор. Москва

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХСУДА СОЮЗА ССР
тов. УЛЬРИХУ В. В.

9 июля 1941 года Военная Коллегия под председательством диввоенюриста тов. РОМАНЫЧЕВА вынесла оправдательный приговор по делу КЕДРОВА Михаила Сергеевича, арестованного за принадлежность к антисоветской организации.

В процессе следствия вражеская работа КЕДРОВА подтверждена следующими доказательствами:

1. Арестованный бывший работник Наркомвода СССР ШИЛКИН Павел Терентьевич на допросе 28 февраля 1938 г. показал, что КЕДРОВ являлся руководителем право-троцкистской организации, существовавшей в легально созданном в Москве обществе «Земляков севера».

В 1939 году ШИЛКИН осужден Военной Коллегией к ВМН[2], на суде свои показания подтвердил полностью.

2. Арестованный бывший научный сотрудник Центрального архива Красной армии — АФОНСКИЙ Валерий Леонидович показал, что КЕДРОВ, возглавляя в 1918 году Северный фронт, проводил предательскую работу, в результате которой английским интервентам был открыт фронт.

Свои показания АФОНСКИЙ подтвердил на очной ставке с КЕДРОВЫМ, а также на судебном заседании Военной Коллегии, АФОНСКИЙ осужден к ВМН.

---

[1] Точная дата в письме не указана.
[2] То есть к высшей мере наказания — расстрелу.

Враждебная работа КЕДРОВА на северном фронте подтверждается показаниями ШИЛКИНА.

Предательская работа КЕДРОВА в интересах английских интервентов на Северном фронте подтверждается телеграммой В. И. ЛЕНИНА — КЕДРОВУ от 12 августа 1918 года за № 677 (том 29, стр. 492), а также показаниями свидетельницы ТУГАНОВОЙ В. И.

3. Показаниями арестованного бывшего работника Наркоминдела САФАРОВА Г. И., с которым КЕДРОВ поддерживал личное знакомство, КЕДРОВ изобличается в антисоветских связях с руководящими участниками контрреволюционного подполья правых и высказывании антисоветских разговоров, направленных к дискредитации политики партии. Свои показания арестованный САФАРОВ подтвердил на очной ставке с КЕДРОВЫМ[1].

4. Родной сын КЕДРОВА — КЕДРОВ Игорь Михайлович, арестованный в 1939 году за шпионскую работу, показал, что для осуществления провокационных заданий германской разведки им были использованы клеветнические сообщения его отца — КЕДРОВА М. С.

В 1940 году Военной Коллегией КЕДРОВ И. М. осужден к ВМН, свои показания на суде полностью подтвердил.

5. КЕДРОВ М. С. находился в близкой связи со своим племянником — бывшим начальником ИНО ОГПУ АРТУЗОВЫМ[2], разоблаченным резидентом германской разведки. На работу в органы ОГПУ АРТУЗОВ был устроен при содействии КЕДРОВА.

Во время пребывания под стражей КЕДРОВ в кругу сокамерников вел злобные антисоветские разговоры.

Несмотря на собранные доказательства, в своем приговоре Военная Коллегия необоснованно записала, что:

---

[1] Имя Г. И. Сафарова встречается еще в материалах суда, который состоялся в январе 1935 г. над Зиновьевым и Каменевым. Он якобы дал обличающие подсудимых показания, но на суде не присутствовал. Известен как активный участник левой оппозиции. Поскольку речь идет об очной ставке с Кедровым, это означает, что по крайней мере в 1938 г. он еще был жив. Возможно, он согласился сотрудничать с НКВД и этим несколько продлил свою жизнь.

[2] Артур Христианович Артузов (Фраучи) — известный чекист, возглавлявший советскую контрразведку и внешнюю разведку. Стал членом коллегии ВЧК — ОГПУ еще при Дзержинском. Вместе с Кедровым «громил контрреволюцию» на Севере.

«Обвинение КЕДРОВА в том, что он состоял в антисоветской организации, существовавшей в созданном в Москве легальном обществе «Земляков севера» и что КЕДРОВ в интересах английских империалистов занимался предательством на Северном фронте в период 1918 года, — основано исключительно на клеветнических показаниях осужденных ШИЛКИНА и АФОНСКОГО, которые не только не подтверждены материалами дела, но опровергаются убедительными объяснениями самого КЕДРОВА и документами, имеющимися в деле».

Это утверждение Военной Коллегии является неправильным, не соответствующим материалам дела и основывается лишь на заявлении самого обвиняемого.

Прошу приговор по делу КЕДРОВА М. С. отменить и назначить дело к слушанию в новом составе суда Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР.

О принятом Вами решении поставьте в известность НКГБ СССР.

Народный Комиссар Государственной Безопасности
Союза ССР — МЕРКУЛОВ

На это письмо примерно полтора месяца спустя ответил не Ульрих, которому оно было адресовано, а председатель Верховного суда Иван Голяков. Из архивных документов, находящихся на листах 386—387 судебного дела Кедрова, видно, что проект ответного письма был подготовлен за подписью председателя военной коллегии (Ульриха), но тот, видимо, вступать в конфликт с Лубянкой не пожелал.

Вот публикуемый впервые полный текст письма И. Т. Голякова.

СОВ. СЕКРЕТНО

30 августа 1941
№ 6/0014
гор. Москва

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА С.С.Р.
тов. МЕРКУЛОВУ

Ознакомившись с делом по обвинению КЕДРОВА Михаила Сергеевича в преступлениях, предусмотрен-

ных ст.ст. 58-1а и 58-11 УК РСФСР, нахожу, что предъявленные обвинения КЕДРОВУ, якобы, «в преступных связях с царской охранкой» и в предательской деятельности на Северном фронте в 1918 г. никакими объективными материалами не подтверждаются, даже сами органы следствия и Прокуратура СССР КЕДРОВУ и не предъявляли обвинения по ст. 58-13 УК РСФСР.

Показания же АФОНСКОГО, ШИЛКИНА и ТУГАНОВОЙ о якобы предательстве КЕДРОВА в 1918 г. на Северном фронте явно голословны, и показания этих лиц опровергаются имеющейся при деле литературой и заключением старшего преподавателя кафедры истории Гражданской войны Академии им. М. Ф. Фрунзе, полковника Ангерского от 9 февраля 1941 г.

Что же касается разноречивых показаний подследственно-арестованных ШИЛКИНА и САФАРОВА, из которых первый и единственный показывает о принадлежности КЕДРОВА к антисоветской организации, а второй о поддержке якобы КЕДРОВЫМ идей правых, то и показания этих свидетелей являются также голословными, ибо никто из лиц, на которых они ссылаются в своих показаниях о КЕДРОВЕ, не подтвердил их показания.

КЕДРОВ же на всем протяжении предварительного следствия и на суде мотивированно отрицал свою виновность по предъявленным ему обвинениям.

Поэтому считаю, что оправдательный приговор в отношении КЕДРОВА М. С. Военной Коллегией Верховного Суда СССР от 9 июля с.г. вынесен правильно, в связи с чем не нахожу оснований для его опротестования перед Пленумом Верховного Суда Союза ССР.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР
(ГОЛЯКОВ)

Иван Терентьевич Голяков хорошо знал свое место, свои обязанности и права. Никогда ни в каких конфликтах ни с Ягодой, ни с Ежовым, ни с Берией замечен не был. «Партийный долг» соблюдал неукоснительно. Его дисциплинированность и невозмутимость вошли в пословицу. Но на сей раз (добавим и

этот факт к списку нераскрытых тайн) Голяков отказал Меркулову! А значит — и Берии! Непостижимо...

Оправданный Кедров продолжал томиться в тюрьме. Над его фактической, а не бумажной судьбой судьи не были властны: приговор лишь тогда имел реальную силу, когда он подходил для хозяев Лубянки. В ночь с 15 на 16 октября вместе со всеми обитателями внутренней тюрьмы Кедрова погрузили в железнодорожный состав особого назначения. Его путь лежал в Саратов. И оттуда — в безымянную общую могилу. В его архивном деле НКВД вместо оправдательного приговора лежит составленный задним числом документ об исполнении несуществующего приговора к расстрелу. Вернемся к помещенному выше тексту «акта» о казни в Куйбышеве. Там ведь тоже написано: «привели в исполнение приговор». И то верно: предписание Лаврентия Павловича и было истинным приговором. Даже больше, чем приговором!

Одного из его исполнителей — Леонида Баштакова, который был тогда начальником 1-го спецотдела НКВД СССР, допрашивали в 1955 году. Он признал, что отсутствие судебного приговора отнюдь не было для него секретом. «Однако я думал, — продолжал Баштаков, — что в условиях войны могло быть постановление какой-то внесудебной инстанции». Но было ли что-либо выше такой инстанции, как Лаврентий Павлович? По словам Баштакова, он все же решил «подстраховаться» и обратился к Меркулову, который, как мы помним, специально прибыл в Куйбышев, чтобы проследить за казнью. Меркулов «дал предписание немедленно исполнить **приговор».** Даже друг другу они пудрили мозги: оба знали, что приговора не существует, но пользовались терминологией, создававшей видимость законности. Любопытна еще такая деталь из показаний Баштакова: «Кобулов звонил из Москвы каждый день, ругался, где донесение о приведении приговора (!) в исполнение». Почему они так спешили? Здесь, в Куйбышеве, за две тысячи километров от линии фронта уже не было опасности отдать высокопоставленных заключенных в руки врага. Стало быть, совсем другая причина побуждала спешить. Страх! Страх, что Сталин передумает, вернет «изменникам» и «шпионам» генеральские звезды и ордена, превратит

их опять в боевых командиров. А к их истязаниям приложили руку **лично** Берия и команда его ближайших. Таких превращений, кроме случая с Мерецковым и Ванниковым, до сих пор не было. Рокоссовского, Горбатова и других истязали ежовцы, а Берия, напротив, явился в роли спасителя и освободителя. Теперь эту роль мог сыграть кто-то другой — вот чего опасался, чего всегда с ужасом ждал Берия при Сталине и под Сталиным: оказаться вторым Ежовым.

Баштаков, Семенихин и Родос лично наблюдали за тем, как взвод отобранных чекистов исполнял почетный приказ лучшего соратника великого Сталина. Запомним дату: 28 октября 1941 года. Фашисты у стен Москвы, блокирован Ленинград, под пятой оккупантов Украина, Молдавия, Прибалтика, Белоруссия. Именно в этот день гремят заглушаемые моторами грузовиков залпы под Куйбышевом и под Саратовом: уничтожаются ни в чем не повинные полководцы, командиры; создатели оружия. Трое гибнут вместе с женами. От своих. От **своих?**

Дело сделано, и зондеркоманде (Шварцман, Родос, Баштаков, Семенихин, Родованский и другие, другие, другие) больше нечего делать в «тылу». Их ждет «фронт» — тот, который гордо именуется фронтом борьбы с врагами народа. Тем более, что врагам этим — несть числа... Но оказывается, дело все-таки нужно **оформить.** Мистическое преклонение перед бумажкой оставалось незыблемым. Весной 1942 года угроза военного разгрома миновала, положение под Москвой стабилизировалось, а Курск и Сталинград еще не казались сколько-нибудь возможной реальностью. Вот тогда-то Берия снова собрал на Лубянке свою неунывающую команду, приказав задним числом изготовить приговоры (!) на Смушкевича, Штерна и их товарищей. Что это было? Проницательное видение иных времен, когда могли и спросить за содеянное втайне и второпях? Но уж если стали бы спрашивать, то фальшивку отличили бы без труда. Нет, скорее сработал стереотип палаческой бюрократии: каждому убийству положены номер, подпись, печать, а главное — установленное законом **наименование** документа. Кому он был нужен, этот упрятанный в архив фиктивный «документ»? Тайное бандитское преступле-

ние как бы обретало (для кого? для ревизоров? для прокуроров? для историков? или для судей?) видимость какой-то законности.

Как показывал впоследствии один из главных участников казни под Куйбышевом Борис Родос, примерно в феврале — марте сорок второго года «приговоры» были сочинены, отредактированы и переданы через Кобулова Берии. Никаких рекламаций не последовало, и, стало быть, эти фальшивые документы где-то осели в секретных и доныне досье. Возможно, в них уже не было надобности и никакого движения этим «документам» Берия так и не дал. Все равно они существуют и, будем надеяться, дождутся своего часа: кто-либо из тех, кому обеспечен **допуск,** обнаружит их в одной из секретных кладовых. Ясно одно: это преступление — едва ли не самое кошмарное в ряду тех, которые совершены бериевской бандой, — благополучно сошло, сталинский окрик (или хотя бы законный вопрос: «куда подевались мои генералы?») так и не раздался, **акция** оказалась одобренной.

Но и после этого Берия не обрел покоя. Родосу было приказано подготовить список членов семей всех казненных. По этому списку, который подписал лично Берия, в июне 1942 года были арестованы и отправлены в ГУЛАГ жены и дети Смушкевича, Штерна, Проскурова, Володина, Каюкова, Склизкова и других военачальников. Предысторию этого завершающего акта трагедии рассказывает дочь генерала и дважды Героя Роза Смушкевич, отрывком из воспоминаний которой я и закончу свое печальное повествование.

«Поскольку в те годы считалось, что все аресты совершаются без ведома Сталина, я с помощью влиятельных друзей передала письмо на его имя. Вскоре мне сообщили, что я буду принята 19 июня. (*Я.В.* Смушкевич был арестован 7 июня 1941 г. — *А.В.*). Но 22-го началась война, и принял меня не Сталин, а Берия, и не в июне, а в конце августа.

Я как сегодня помню длинный, мрачный коридор, совсем не освещенный, по которому я долго шла, огромный кабинет и в дальнем его конце за большим столом маленького человека в пенсне с одутловатым лицом. Он сказал мягко, даже ласково:

— Не волнуйся и ни о чем плохом не думай. Ты

ведь веришь, что отец ни в чем не виноват, значит, он скоро вернется.[1]

А через некоторое время нас с мамой отправили в тюрьму, затем в карагандинские степи — в лагерь и на поселение. Постановление о моем аресте подписал Берия. Я помню его наизусть: «Ученицу средней школы Смушкевич Розу Яковлевну как дочь изменника родины приговорить к 5 годам лишения свободы с отбытием срока в трудовых исправительных лагерях Карлаг с последующей пожизненной ссылкой».

«Пожизненная ссылка» длилась тринадцать лет.

Что же все-таки заставило Берию (снова и снова задаю себе этот вопрос) нарушить порядок, которому он неуклонно следовал — и до октябрьского убийства, и после? Ничего не стоило сочинить своевременно текст какого угодно приговора, который беспрекословно «вынес» бы Ульрих: переписал бы собственноручно и скрепил своей подписью. Видимо, все-таки реальная опасность военной катастрофы под Москвой подгоняла Берию и толкала на рискованные, даже можно сказать — истерические решения. Когда в его запасе было чуть больше времени, он не гнушался соблюдением хотя бы видимости какой-то формальности. Именно так было обставлено той же осенью 1941 года уничтожение большой группы политических узников, томившихся в Орловской тюрьме (известном еще с дореволюционных лет Орловском централе). В предвидении неизбежного падения Орла и не желая возиться с «опасными» арестантами, Берия заблаговременно принял меры.

Отметим одну исключительной важности подробность. Чувствуя приближение войны, сознавая ее неизбежность, Сталин не озаботился действенной подготовкой для отражения вражеского удара, зато проявил похвальную расторопность, ограждая «врагов народа» от возможного их захвата противником. Эвакуация

[1] Эти слова нельзя, мне кажется, рассматривать лишь как свидетельство бериевского цинизма и лицемерия. Как раз в августе Сталин решал, кого освободить и использовать на фронте. Вполне вероятно, что счастливый билет мог выпасть и на долю Смушкевича. Осведомленный о планах вождя, Берия имел в виду и такой поворот, стремясь использовать его в своих интересах.

заключенных из зловещей Сухановской тюрьмы началась еще в мае сорок первого. Массовые депортации из Прибалтики «сомнительного элемента» были произведены внезапно и в стремительном темпе буквально за неделю до начала войны. Одной рукой Берия писал резолюцию: «Стереть в лагерную пыль как пособников международных провокаторов» на донесениях секретных сотрудников, предупреждавших о надвигающейся войне, другой — отдавал распоряжение о немедленной переброске в глубь страны «тюремного контингента», состоящего из «особо опасных преступников».

Но такую переброску было не так-то легко осуществить, имея в виду и количество узников, и персональную весомость каждого из них. Так или иначе, но Орловская тюрьма, где были собраны самые важные арестанты, по тем или иным причинам пока избежавшие пули, к концу лета сорок первого эвакуирована еще не была, хотя, как свидетельствует один из ее обитателей, которому удалось выжить, — Сурен Газарян, подготовка велась и эвакуация части «особо опасных» была все же осуществлена. Это же подтвердил при допросе еще в пятидесятые годы бывший начальник управления НКВД по Орловской области К. Ф. Фирсанов, под руководством которого в условиях почти непрекращающейся бомбежки города шла эвакуация заключенных.

Информация о положении в Орле регулярно ложилась на бериевский стол. Всесильный нарком и член Государственного комитета обороны хорошо, естественно, знал и о ситуации на фронте. Фашистские войска брали Москву в клещи с юга, устремляясь к Орлу, подвергая его чуть ли не ежедневным жестоким бомбежкам. Прогнозировать сколько-нибудь точно темпы их продвижения после первых двух месяцев войны вряд ли решился бы даже он. Падения Орла можно было ждать со дня на день.

«Руководство НКВД» (читай: Лаврентий Павлович) дало указание подчиненным срочно составить списки на уничтожение «особо опасных». Задание было исключительной важности, об этом свидетельствует состав исполнителей: ближайший сподвижник Берии Богдан Кобулов, начальник 1-го спецотдела НКВД СССР Леонид Баштаков и начальник тюремного упра-

вления этого наркомата Михаил Никольский. Получив общий список арестантов, Кобулов сделал в нем отметки, обозначив «птичками» тех, кому выпала смерть. Двум другим оставалось лишь «оформить» их уничтожение.

Как известно, в тридцать шестом — тридцать девятом годах Сталин лично читал списки жертв, проставляя карандашиком «единички» и «двойки», что на условном и хорошо понятном Вышинскому — Ульриху языке соответственно означало «расстрел» или «лагерь». Но **словами,** да еще на бумаге, да еще за личной подписью Самого никаких конкретных и безусловных сталинских указаний **судьям,** кажется, не существовало. На этот раз традиционная процедура была нарушена.

6 сентября 1941 года Берия обратился к Сталину с официальной просьбой дать указание (!) о расстреле 170 (список прилагался) человек — «наиболее озлобленной части содержащихся в местах заключения НКВД государственных преступников», которые ведут «среди заключенных пораженческую агитацию» и пытаются «подготовить побеги для возобновления подрывной работы». Скорее всего, письменному запросу предшествовал разговор двух властителей судеб — короткий, на ходу, обмен репликами, который затем получил документальное оформление. Так или иначе, за подписью Сталина **в тот же день** появилось постановление Государственного комитета обороны (текст «проекта» этого постановления прилагался к письму Берии), текстуально повторявшее «запрос» наркома внутренних дел: «Применить высшую меру наказания — расстрел к 170 заключенным, разновременно осужденным за террористическую, шпионско-диверсионную и иную контрреволюционную работу. Рассмотрение материалов поручить Военной Коллегии Верховного Суда СССР».

Бессмысленно искать в этом постановлении, которое вряд ли обсуждалось даже на безгласном и абсолютно послушном Сталину комитете, хоть какую-то, пусть даже преступную, логику. Если расстрел приказано «применить», то какие «материалы» судебная коллегия может «рассматривать»? Если люди уже осуждены к лишению свободы за некую «контрреволюционную работу», то за что их теперь, никакой

новой «работы» не совершивших, — за что их теперь расстреливать?

Так или иначе, в сентябре сорок первого палаческий бюрократизм все еще повелевал облечь уничтожение людей в какую-то протокольную форму. Месяцем позже это было уже не обязательно. Точнее — излишне: похоже, там, на самом верху, **всерьез** не были уверены в завтрашнем дне и стремились как можно скорее просто избавиться от таких жертв, самое существование которых казалось наиболее опасным.

На соблюдение этой дичайшей протокольности ушло еще два дня. 8 сентября — без возбуждения уголовного дела, без предварительного следствия, без судебного разбирательства — Ульрих в своем кабинете просто переписал уже писанный и переписанный на Лубянке «документ», обозвав его приговором. Вместе с ним под «приговором» поставили подписи члены военной коллегии Дмитрий Кандыбин и Василий Буканов. Вместо 170 человек расстрелу по этому «приговору» подлежал 161 арестант, но не потому, что военные судьи оказались милосерднее вождя и главного его опричника, а потому, что девятерых, как оказалось, успели прикончить раньше. Всем приговоренным вменялась без какой-либо расшифровки вторая часть статьи 58-10 тогдашнего Уголовного кодекса, то есть «злостная» контрреволюционная агитация «в военной обстановке».

Список обреченных повез в Орел тот самый Демьян Семенихин, который, показав себя на данной «операции» как несокрушимо верный и безупречно исполнительный спецпорученец, месяцем позже осуществит еще более важную миссию в Куйбышеве. Два дня ушло на розыск всех, поименованных в списке, их идентификацию и такую подготовку казни, которая исключила бы волнения среди готовившихся к эвакуации других заключенных. Четверых не нашли — их успели уже перевести в тыловые тюрьмы. Несколько дней спустя пуля палача настигла их тоже. Семенихин вместе с начальником Орловской тюрьмы С. Д. Яковлевым опознали и отобрали 157 человек из кобуловского списка. Среди них было около тридцати немецких антифашистов, нашедших в Советском Союзе убежище от гестапо, шестнадцать китайских коммунистов, коминтерновцы — финны, японцы, поляки, корейцы,

латыши, итальянцы, эстонцы. Некоторые из них значатся под двойными именами: одно из них подлинное, второе — кличка, под которой они зарегистрированы в картотеке агентов Коминтерна (то есть, как их торжественно величали, «политических разведчиков» или, если еще точнее, попросту шпионов).

Но главное, конечно, — это свои[1]. Имена некоторых из них были очень широко, порой всенародно известны. Самой знаменитой была, пожалуй, Мария Спиридонова — женщина героической судьбы, проведшая более десяти лет на акатуйской каторге за убийство измывавшегося над восставшими крестьянами жандармского погромщика Луженовского. Освобожденная Февральской революцией, Спиридонова лишь немногим более года провела на свободе. Став одним из лидеров левых эсеров, она открыто выступила против большевиков и за организацию известных событий 6 июля 1918 года была осуждена (хотя и милостиво) уже Советской властью. С тех пор вся ее жизнь делилась исключительно на тюрьмы и ссылки. В 1937 году уфимскую бухгалтершу Марию Александровну Спиридонову обвинили в подготовке убийства Ворошилова. Ни пытки, которым ее подвергли, ни обещание свободы за публичную клевету на своих бывших политических противников — ничто не заставило согласиться эту бесстрашную женщину принять участие в постыдном сталинском фарсе: ее товарищи — Камков, Карелин, Манцев, Осинский, — сломавшись (никогда не посмею поставить им это в вину), дали лживые показания на публичном процессе против Бухарина и сразу же были расстреляны; Спиридонова отказалась — и угодила в Орловский централ. Три с половиной года спустя ее постигла та же участь. Марии Спиридоновой было 57 лет.

Вместе с ней находился в Орловской тюрьме и ее муж Илья Майоров, в прошлом тоже член ЦК партии

[1] Среди подлежавших казни был и Борис Ворович, за три с половиной месяца до этого оправданный Верхсудом СССР. Та же коллегия, которая его оправдала, проштамповала теперь расстрел для осужденного (?!) за контрреволюцию Воровича. Искать какой-либо смысл в том, почему оправданный (ею же) назван коллегией осужденным, бесполезно, так что и вопросительный и восклицательный знаки я поставил напрасно.

левых эсеров, занимавший одно время пост наркома земледелия РСФСР. Они были арестованы вместе и вместе осуждены, но понятия не имели, что отбывают наказание в одном и том же застенке. Оба писали в разные инстанции, справляясь о местонахождении друг друга, но ответов не получали. Погибли в тот же день и в тот же час. Увиделись ли хотя бы за несколько минут до мученической своей кончины?..

В списке жертв и еще один член ЦК партии левых эсеров Вадим Чайкин. В начале двадцатых годов по горячим следам он исследовал на месте обстоятельства гибели двадцати шести бакинских комиссаров: как известно, причастными к этой гибели были объявлены эсеры. Чайкину удалось убедительно опровергнуть эти домыслы и снять со своей партии незаслуженное ею пятно. Сия дерзость стоила Чайкину многолетней несвободы, а потом и жизни. Впрочем, одна его принадлежность к руководству эсеровской партии обрекала его на тот же исход.

Еще одна знаменитость из этого списка — Варвара Яковлева — была сверстницей Спиридоновой и, хотя ее биография не отличалась столь яркими эпизодами, тоже принимала активное участие в политической борьбе, шарахаясь от большевиков к «левым коммунистам», от тех — к троцкистам, а потом обратно к большевикам. Когда ее арестовали в 1937 году, В. Яковлева пребывала на посту наркома финансов РСФСР. Против ее фамилии Сталин не поставил любимую свою «единичку», что продлило ее жизнь на четыре года.

Впрочем, если быть совершенно точным, надо попробовать объяснить, почему же все-таки товарищ Сталин не поставил «единичку» против фамилии гражданки Яковлевой. В отличие от Спиридоновой, Яковлева не только согласилась лжесвидетельствовать на процессе Бухарина, но выполнила эту миссию столь усердно, что Вышинский запретил Ульриху удалять ее из зала после того, как она завершила свои изобличения: ее присутствие было необходимо, чтобы осадить Осинского, Камкова и других «свидетелей», если бы они попробовали сыграть недостаточно четко отведенную им роль.

В списке подлежавших расстрелу мы найдем и пятерых из семи избежавших казни участников трех «бо-

льших» московских процессов: Валентина Арнольда, Михаила Строилова, Сергея Бессонова[1], Дмитрия Плетнева и Христиана Раковского. Двое других — Карл Радек и Григорий Сокольников — были убиты двумя годами раньше безо всяких дополнительных приговоров специально подсаженными хулиганами-сокамерниками, спровоцировавшими драку. В одной из недавних газетных публикаций В. Арнольд (Валентин Васильевич Васильев) отнесен к числу «отнюдь не рядовых... политических противников» Сталина (см. «Известия» от 5 сентября 1990 г.), тогда как он был всего лишь не слишком грамотным начальником гаража в городе Прокопьевске Кемеровской области и пристегнут к процессу Пятакова — Радека, чтобы наглядно иллюстрировать разветвленность «контрреволюционной сети», сотканной Троцким. Обвиненный в покушении на верных соратников любимого Сталина — Орджоникидзе, Эйхе и Рухимовича (первый, не дождавшись «теракта», покончил с собой, двое других расстреляны как враги народа), Арнольд получил «всего» десять лет и четыре с половиной года спустя был уничтожен.

Не слишком большой популярностью пользовался и еще один участник процесса Пятакова — Радека — Михаил Строилов, хотя он и состоял одно время кандидатом в члены ВЦИК. Инженер, работавший в Германии, сотрудничая с западными партнерами, а затем в Кузбассе на сугубо технической работе, он был весьма далек от политики — его участие в процессе было необходимо, чтобы как-то связать концы с концами, иллюстрируя связь отечественных «вредителей» с «вредителями» иностранными. Зато трое других были известны задолго до инсценированного Ежовым процесса. Сергей Бессонов хотя и «писал сумму прописью» в платежных ведомостях Лубянки, принадлежал к числу наиболее квалифицированных и образованных советских дипломатов высокого ранга. Христиана Ра-

[1] В документальной повести Камила Икрамова «Дело моего отца» (журнал «Знамя», 1989, № 6) ошибочно сообщается, что Бессонов «умер в лагерях» (с. 51). Таких осужденных в лагеря вообще не допускали: это считалось слишком гуманным — для них и слишком опасным — для державы. Но так или иначе на три с половиной года этот несчастный служка кровавых поваров свою жизнь все же продлил.

ковского, врача по образованию, энциклопедически образованного человека, блестяще владевшего многими иностранными языками, можно с полным основанием назвать профессиональным революционером. Его имя неразрывно связано с историей социал-демократии (а потом и с историей компартий) Румынии, Болгарии, Франции, Украины, России. Близкий друг Троцкого, он был, однако, по причине, о которой приходится лишь гадать, пощажен на процессе Бухарина — Рыкова и дождался своего смертного часа в Орле. Наконец, профессор Дмитрий Плетнев, один из столпов отечественной медицины двадцатых—тридцатых годов, сначала оболганный и опозоренный, обвиненный в совершении насилия над своей пациенткой, а затем объявленный отравителем Куйбышева и Горького. Через год Плетневу (он был на год старше Раковского) исполнялось 70 лет — легко догадаться, какую угрозу сталинскому режиму представлял собой этот измученный пытками и лишениями, беспомощный старец...[1]

Наконец, в список обреченных попало еще несколько лиц с громкими именами и неординарной биографией.

Ольга Давыдовна Каменева — жена Льва Каменева и родная сестра Льва Троцкого — была в двадцатые

[1] К сожалению, по-прежнему из сочинения в сочинение перекочевывает версия, изложенная за рубежом еще в 1954 году немецкой журналисткой Бригиттой Герланд, которая после войны за свою социал-демократическую деятельность угодила в Воркутинскую часть архипелага ГУЛАГ. По свидетельству Б. Герланд, как уже рассказано в очерке «Дон Мигель и другие», она встретилась здесь с лагерным врачом, который оказался профессором Дмитрием Дмитриевичем Плетневым. По версии назвавшегося Плетневым врача, ему сократили 25-летний срок заключения до десяти лет, но он продолжал отбывать наказание и умер летом 1953 года незадолго до того, как немецкую журналистку освободили. Чрезмерно словоохотливый профессор со множеством леденящих душу подробностей рассказал ей о том, как Горького отравили засахаренными фруктами. Скорее всего, мы имеем здесь дело с целенаправленным слухом, распускавшимся Лубянкой и преследовавшим сразу несколько целей: скрыть убийство Плетнева в Орле, подтвердить версию отравления Горького «врагами народа», вселить в родственников тех, кто отправлен в лагерь «без права переписки», надежду на то, что их близкие живы. «Объект» дезинформации был выбран совершенно точно: возможность изобличения немецкой журналисткой самозванца практически исключалась.

годы видным партийным деятелем на ниве культуры. Ей, как видим, удалось пережить и мужа, и брата, в то время как другие, более дальние родственники этих заклятых друзей Иосифа Виссарионовича, были уже истреблены беспощадно и поголовно. Кто объяснит эту, еще нераскрытую тайну?

Александр Юльевич Айхенвальд — экономист, историк, публицист, близкий к Бухарину и его так называемой «школе», человек, несмотря на молодость, пользовавшийся большой популярностью и большим авторитетом. Вместе с ним отбывал наказание в Орле и был казнен в тот же день еще один представитель «бухаринской школы» Петр Григорьевич Петровский — журналист, экономист, редактор «Ленинградской правды» и журнала «Звезда», один из двух сыновей украинского «старосты» и заместителя Калинина Григория Петровского (бывшего члена IV Государственной Думы). Его брат Леонид незадолго до этого был реабилитирован, чтобы вскоре погибнуть на фронте. Петр погиб от «своих»...

Как и месяц спустя, прямое участие в экзекуции принял Леонид Баштаков — человек, пользовавшийся большим доверием Берии и раньше и позже успешно осуществлявший самые «деликатные» кровавые поручения своего шефа. Семенихин, Баштаков и местные орловские энкаведисты руководящего уровня избрали местом казни расположенный неподалеку от Орла Медведевский лес. Не знаю, водились ли там когда-то медведи, но палачи определенно боялись не зверей, а людей. Вот как протекала процедура объявления жертвам предстоящей им казни (цитата взята из документа, подписанного военным прокурором, подполковником юстиции В. Зыбцевым):

«Они препровождались в особую комнату, где специально подобранные лица из числа личного состава тюрьмы вкладывали в рот осужденному матерчатый кляп, завязывали его тряпкой, чтобы он не мог его вытолкнуть, и после этого объявляли о том, что он приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. После этого приговоренного под руки выводили во двор тюрьмы и сажали в крытую машину с пуленепробиваемыми бортами...» (показания бывшего на-

чальника УНКВД по Орловской области К. Ф. Фирсанова).[1]

Приведу еще свидетельство Сурена Газаряна (до ареста был видным деятелем НКВД Грузии, спасся и дожил до реабилитации), который не знал, куда «вызывают» его сокамерников, не только тогда, в сорок первом, но и четверть века спустя, когда писал свои мемуары, — они дополнят общую картину взглядом «с другой стороны»: «11 сентября начался необычный шум в коридоре. Открывались двери камер, выводили людей... Наконец, пришли к нам. Старший по корпусу вызвал Чайкина. «С вещами?» — спросил Чайкин. «Ничего не надо, выходите так», — приказал дежурный. Через несколько минут увели Майорова... Мы, оставшиеся, ждали нашей очереди. Постепенно шум в коридоре утих... Стало жутко. Знобило. Снова почувствовалась близость смерти. Она была здесь, она была рядом».

Для казни сразу 157 человек, да притом еще с сохранением этого в строжайшей тайне, требовалась весьма многочисленная зондеркоманда. Кроме спецпосланцев Москвы, ею руководили местные энкаведисты Н. И. Слюняев, Г. И. Теребков и К. А. Черноусов. О том, насколько тщательно готовилась и укрывалась вся операция, красноречиво свидетельствует такой штрих: деревья на месте казни были предварительно выкопаны вместе с корнями, а затем снова посажены поверх сравненной с землей братской могилы. Хотя, как мы помним, главной причиной поспешной казни явилось приближение фашистов к Орлу, палачи явно никуда не спешили. Еще того больше: едва ли не ежедневно орловское энкаведистское руководство посылало в Медведевский лес «грибников» — проверять,

[1] В книге «Портрет тирана» А. Антонов-Овсеенко, который слишком часто использует домыслы, слухи и версии, выдавая их без всяких оговорок за нечто бесспорное, утверждает, будто узников Орловской тюрьмы в сентябре сорок первого затопили в подвале, «все пять тысяч». Мы знаем теперь, что их было в тридцать с лишним раз меньше (отчего трагедия меньшей, разумеется, не становится), а казнь проходила совершенно иначе. По прихоти автора в числе жертв орловской расправы оказался Н. Осинский, уничтоженный тремя годами раньше, но зато там не нашлось Х. Раковского, которого будто бы «прикончили» уголовники. Ни один «факт», сообщаемый А. Антоновым-Овсеенко, не может приниматься без самой тщательной проверки.

в каком состоянии находится место захоронения. Посланцы возвращались с грибами и хорошими известиями: «состояние» не внушало ни малейшей тревоги. Так длилось до самого вступления немецких войск в Орел, то есть до 3 октября. Кто знает, прибегнул бы Берия к «крайней мере», если бы точно знал, что для эвакуации Орловской тюрьмы есть в запасе целых три недели?

Все факты, о которых здесь рассказано, были известны военной прокуратуре, руководству КГБ и компетентным партийным товарищам еще в пятьдесят четвертом году — во всяком случае, никак не позже пятьдесят шестого. Именно тогда были допрошены почти все, благополучно здравствовавшие к тому времени, основные и второстепенные участники операции, в том числе Баштаков, Фирсанов, Яковлев и другие. Но никаких практических последствий установление этих сведений не имело. Подавляющее большинство бандитски уничтоженных, ни в чем не повинных людей еще целых 35 лет продолжали числиться преступниками, а все без исключения обстоятельства их уничтожения оставались сверхсекретной государственной тайной. Так что осмелюсь утверждать: преступление наследников Сталина и Берии, Кобулова и Ульриха — тех, что на Старой площади, на Лубянке и в других высокоответственных ведомствах, — ничуть не меньше, чем преступление палачей из того, сорок первого года. Ведь они-то уже заведомо — документально и бесспорно — знали о совершенном злодеянии, не замаскированном под какую бы то ни было «законность», но тщательно это скрывали даже от самых титулованных коллег. Тем более — от народа. И, стало быть, как укрыватели преступления являются по всем юридическим нормам (в том числе и тем, которые формально существовали тогда) его соучастниками.

Но еще более поразительно то, что произошло не в сорок первом и не в пятьдесят шестом, а в девяностом. На крутой волне перестройки, когда, казалось, сброшены все покровы, скрывавшие злодеяния сталинского лихолетья...

Рассматривая материалы о реабилитации продолжавших считаться виновными участников процесса Пятакова — Радека, пленум Верховного суда СССР в

июне 1988 года обратил внимание на то, что за осужденным на том процессе В. В. Арнольдом (про Строилова почему-то забыли) значится еще одно таинственное преступление («контрреволюционная пропаганда»), не подкрепленное никакой, пусть даже фальсифицированной документацией. Не имея поэтому возможности занять какую-то позицию по этому обвинению, пленум поручил прокуратуре СССР провести расследование. Более полугода ушло на «раскачку» (можно лишь догадываться, с какой неохотой раскручивался этот маховик — ведь все материалы хранились вовсе не в прокуратуре и, конечно же, не в Верховном суде, а в архиве КГБ). Наконец, лед тронулся... Оказалось, что 108 человек, попавших в кобуловский список, все еще считаются «репрессированными» законно, с их имен не были сняты вздорные и гнусные обвинения. С неизбежностью пришлось поднять и хранившиеся за металлическими засовами материалы проверки середины пятидесятых годов, тщательно упрятанные от людского взора.

Реабилитация убиенных была неизбежной, и она состоялась (всего лишь за год с небольшим до полувековой годовщины их казни), но попутно открылась возможность для одного — сугубо формального и, однако же, способного сыграть очень важную в нравственном смысле роль — правового акта: провести расследование и признать преступными действия судей, подписавших 8 сентября 1941 года так называемый «приговор» орловским узникам. Никого из трех судей уже нет в живых, так что в любом случае никакого приговора им вынести нельзя. Зато можно другое: признать в мотивировочной части прокурорского постановления факт злоупотребления Ульрихом и его подручными судейской властью и прекратить дело против них производством **за смертью обвиняемых.**

Военная прокуратура, которой было поручено исполнить указание Верховного суда СССР, пошла по другому пути. Последний абзац постановления военной прокуратуры, вынесенного 12 апреля 1990 года, обескураживает своей неожиданной логикой: поскольку приговор от 8 сентября 1941 года, говорится в этом документе, «вынесен на основании постановления Государственного Комитета Обороны — высшего в тот период времени органа государственной власти, дейст-

вия Ульриха В. В., Кандыбина Д. Я. и Буканова В. В. состав какого-либо преступления не содержат». Дело против них, таким образом, прекращено не за смертью обвиняемых, а «за отсутствием в деянии состава преступления», то есть по **реабилитирующим** основаниям. Разница, как видим, огромная. И не в юридической казуистике здесь дело, а в сути.

Да, Государственный Комитет Обороны (ГКО) действительно был «в тот период времени» высшим органом власти и, наверно, мог сам кого угодно приказать уничтожить. Даже, пожалуй, и не мотивируя свое решение. Это было бы чудовищно, подло, мерзко (приемлемо любое, даже самое резкое слово), но с чисто формальной стороны, вероятно, «законно». Однако ГКО или, если точнее, его председатель товарищ Сталин, этого все же не сделал. Он поручил военной коллегии Верхсуда «рассмотреть материалы». Однако даже на «тот период времени», то есть на время войны, процессуальные нормы отменены не были. По-прежнему оставались обязательными и предварительное следствие, и сбор доказательств, и личные показания обвиняемых, и составление обвинительного заключения, и судебное разбирательство. Добровольно отказавшиеся от этих обременительных обязанностей судьи, лишившие росчерком пера жизни сто шестьдесят человек (более того, заведомо знавшие, что никаких «материалов», которые им предложено «рассмотреть», не существует в природе), совершили должностное преступление.

Как известно, нацистские судьи, выносившие такие же неправосудные приговоры, тоже ссылались на приказы Гитлера и других верховных жрецов, стремясь уйти от ответственности за надругательство над юстицией. Но эти доводы были отвергнуты как юридически (да, юридически, а не только нравственно!) несостоятельные. Этому, кстати, был посвящен замечательный американский фильм режиссера Стэнли Крамера «Нюрнбергский процесс», совсем не случайно, я думаю, миновавший советский экран. По той же самой причине, наверно, и было принято в военной прокуратуре столь странное для правосознания девяностых годов решение, взваливающее всю ответственность за Большой Террор лично на Сталина и только на Сталина, освобождая тем самым от расплаты безропотно

подчиняющихся высшей воле «маленьких» исполнителей. Да и о сталинском ли времени (в сознании? в подсознании?) идет речь? Разве те прокуроры и судьи, на чьей совести постыдная травля диссидентов, исковерканные судьбы тысяч честных людей уже иного, близкого нам поколения, — разве эти прокуроры и судьи не исполняли приказы, идущие из тех же зданий и кабинетов, где размещались и Сталин, и Берия, и все их цепные псы? Как же можно этих юристов лишить веры в свою безопасность, потревожив «священную» тень кошмарного Ульриха?..

И я не могу не поставить в связь с этой поразительной реабилитацией одного из величайших злодеев нашего века ту постыдную возню, которую затеяли юристы высокого, среднего и низкого уровня, когда мне довелось впервые, пусть очень скупо, без ставших известными позднее подробностей, рассказать в печати о трагедии октября сорок первого и о самом факте уничтожения невинных в Орле. Уже набирала обороты перестройка, уже повсюду находились люди, стремившиеся вернуть память об убиенных. И в Куйбышеве, и в Орле тотчас объявились энтузиасты, ринувшиеся искать точные места казни, чтобы отметить их памятным камнем. Но повсюду — в официальных инстанциях, за чьей помощью они обращались, — встречали глухое молчание, а еще чаще раздражение и упорное сопротивление.

В редакции «Литературной газеты» и у меня дома все время раздавались телефонные звонки: как же так, взволнованно спрашивали читатели, вы называете конкретные даты, имена, географические названия, а нам отвечают, что таких сведений нет, что все это выдумка автора, что газетная статья не есть официальный источник. И на местах, и в Москве — в прокуратуре, в КГБ — отвечали, как по шпаргалке: сведений не имееется. Были или не были убиты военачальники под Куйбышевом? Данных не имеется. Расстреляны ли узники тюрьмы под Орлом? Информацией не располагаем.

Ждали распоряжений, указаний, приказа. Страх попрежнему сковывал уста. Рабская «дисциплинированность» повелевала беречь тайну уже и после того, как она перестала быть таковой. Ложь все еще торжествовала. Число соучастников преступления — его укрывателей и фальсификаторов — продолжало расти.

Но тайна рвалась наружу, а обуздать тех, кто стремился к истине, было уже невозможно. Одной из первых откликнулась редактор молодежной редакции областного радио из Куйбышева (ныне снова Самара) Н. П. Богаевская. Именно ей, подключившей к своим розыскам сотрудницу областного краеведческого музея Р. М. Ключникову, принадлежит предварительная (оказавшаяся совершенно точной) идентификация места казни и соответственно места захоронения погибших. Им оказался уже попавший в черту города детский парк имени Гагарина, где некогда стояли те самые «милицейские дачи». Здесь, на костях убитых, сначала отдыхали семьи энкаведистов: разводили клубнику, загорали, развалившись в траве. Потом на тех же костях резвились ни о чем не ведавшие дети, которым город сделал такой щедрый подарок — отдал под аттракционы окровавленную землю. Когда рабочие рыли в парке гребной канал, они всюду натыкались на погребения...

Сразу же после публикации в «ЛГ» очерка «Тайна октября 41-го» откликнулись и дети казненных, их ближайшие родственники и друзья: дочери Смушкевича, Штерна, Каюкова, Савченко; родственники Таубина, Розова, боевые друзья Проскурова, Рычагова и других убитых. Почти все они поехали сразу же поклониться священному для них месту, воздвигнуть хоть какой-нибудь памятный знак, чтобы было, куда возложить цветы. Нельзя сказать, что их ждал там **холодный** прием. Не ждал никакой... И только доброе участие «простых людей» смягчило боль от равнодушия людей официальных.

Все это уже позади. И под Орлом, и в бывших «милицейских садах» вторично рожденной Самары установлены временные знаки немеркнущей памяти. Временные сменятся постоянными, и помощь будет оказана — теперь это не только дозволено, но считается даже престижным. Не хочется никому предъявлять запоздалых упреков. Но стремление, воздавая должное памяти жертв, оправдать их убийц, таит в себе опаснейший прецедент. Пожалуй, это многозначительное, циничное даже, прощение остается главной причиной того, что рана, нанесенная сталинизмом совести великой страны, все еще кровоточит.


ПАЛАЧИ


3

Лавина писем, обрушившихся на редакцию «Литературной газеты» после публикации очерка «Тайна октября 1941-го» (очень сокращенный вариант очерка «Осенью сорок первого»), взволновала, но не удивила. Раскрытие мрачных тайн недавнего нашего прошлого тогда, весной восемьдесят восьмого года, еще не стало привычным. Каждая публикация, приоткрывавшая завесу над тем, что многие десятилетия считалось «совершенно секретным», делала достоянием гласности факты, казалось, навсегда преданные забвению, восстанавливала оболганные и вычеркнутые из истории имена. Оказалось, даже самые близкие люди ничего не знали о судьбе своих мужей и отцов или располагали фальшивой информацией «органов», стремившихся затушевать правду о постигшей народ трагедии. Широко известно, как вплоть до середины восьмидесятых годов фальсифицировались даже даты гибели жертв террора — сотни заведомо искаженных сведений о годе смерти проникли и в энциклопедии, и в научные справочники. Причина смерти — расстрел — цинично заменялась на «болезнь во время отбытия наказания».

Помню, как я был поражен — нет, потрясен, узнав, что даже дети уничтоженных в октябре сорок первого военачальников, давным-давно, почти сразу же после смерти Сталина реабилитированных, ничего, буквально ничего не знали о том, где и как погибли их отцы. Из полученных мною писем видно, что эти крайне скупые сведения впервые получены ими из очерка «Тайна октября...». Все было сделано для того, чтобы время помогло вытравить из памяти дела давно минувших дней и тем избавить доживающих свой век палачей от чрезмерных нервных перегрузок.

Именно об этом я думал, читая письма тех, кого ошеломила информация о последних днях и часах дорогих им людей: Штерна, Смушкевича, Локтионова, Рычагова, Марии Нестеренко. Об этой героической

женщине написали ее земляки — хотели создать в родном селе мемориальный музей. Позвонил знакомый молодой режиссер — он зажегся идеей сделать фильм о судьбе Марии и ее мужа, Павла Рычагова. И вдруг имя Марии Нестеренко стало мелькать в письмах с совсем иным содержанием.

«Вы отметили, — писал из Калуги Вячеслав Алексеевич Морозов, — что перед самой ее казнью Марию Нестеренко, майора авиации, «допрашивал» Я. М. Райцес. Спешу Вас уведомить, что Яков Матвеевич Райцес до недавнего времени работал на заводе «Калугаприбор», недавно вышел на пенсию и живет в нашем городе. Чужие жизни не жалел, зато как он трясется над своим здоровьем! Регулярно ходит в заводскую поликлинику, сдает анализы, посещает бассейн и массажистов... Если он сейчас в такой прекрасной физической форме, то каким же он был, когда генералам нутро отбивали? Надо требовать правосудия! Больно до слез за замученных наших людей!»

«Вот уж, действительно, гром среди ясного неба! — восклицал другой калужанин, Иван Иванович Боханский. — Оказывается, рядом с нами живет и благоденствует бывший палач. Никто о его преступлениях здесь не знал. Неужели так и останется — «уважаемым пенсионером с правом получения вне очереди товаров и услуг»? Не хотелось бы в это верить».

Такие же письма пришли от ветерана войны и труда В. С. Грекова, студентки Л. Яковлевой, инженера Силина и еще многих других. Строго говоря, ничего удивительного в том, что иные реликты кошмарного прошлого живы, конечно, не было (о Хвате, истязавшем Николая Вавилова, об «ученом» Боярском, чьи руки по локоть в крови, уже сообщала печать), но каждая такая информация невольно вызывает холодок на спине. Особенно если речь идет о человеке, чье имя выудил из забвения ты сам...

Словом, сборы были недолги, и какое-то время спустя я отправился в Калугу. Вместе со мной поехал консультант редакции, полковник юстиции в отставке Валентин Дмитриевич Черкесов, который не раз с исключительным мастерством помогал мне находить истину в самых запутанных ситуациях, выводя на свет Божий затаившихся негодяев и возвращая оболганным

и поруганным добрые имена, а то и свободу. По нашей просьбе ветерана компартии Райцеса, которому вот-вот предстояло вручить почетный знак «50 лет в КПСС», пригласили в партком завода, где он продолжал состоять на учете, так что элемент внезапности был исключен, Райцес заранее знал, с кем и о чем будет он говорить, имел возможность подготовиться к разговору и даже как-то отрепетировать предстоящий ему монолог. Другое дело, что готовился он именно к монологу, получился же, ясное дело, даже не диалог, а триалог, и это полностью спутало его карты. Но — все по порядку.

Нас встретил несколько отяжелевший, но крепко сбитый, румяный, почти без морщин мужчина среднего роста, которому при всем желании нельзя было дать его семидесяти пяти лет. Он был явно растерян, в серых глазах застыл испуг, но держался уверенно, не нагло, нет, безусловно не нагло, но с каким-то спокойным достоинством, слишком нарочито подставляя глазам гостей аккуратно прицепленные к добротному пиджаку орденские колодки (я сразу насчитал одиннадцать ленточек) и держа в руках туго набитую бумагами папку. Догадаться было нетрудно: в папке собраны документы, повествующие о его доблестной трудовой биографии. Так оно и оказалось.

Возможно, я слишком подробно рассказываю о встрече с этим, в общем-то, «маленьким» человеком, скромным «винтиком» чудовищной машины уничтожения, но дело в том, что нескромных невинтиков я своими глазами не видел, Райцес был единственным костоломом из тех ужасных времен, с которым судьба свела меня лично, а кроме того, как бы ни был он мал и «скромен», от него если и не зависели полностью судьбы загубленных, то какую-то, очень важную, роль он все же играл, с бóльшим или меньшим старанием и умением вымогая (выбивая, выколачивая, вытягивая) из жертв желанные показания и причиняя им несказанные муки. Таких людей становится все меньше и меньше, их поистине уже единицы, тем важнее живые свидетельства о встречах с каждым из них.

Биография этого человека, при всей ее внешней серости, все-таки по-своему примечательна. Тем примечательна, что свидетельствует о том, как запросто, с

поразительной легкостью, можно превратить заурядного и, наверно, совсем неплохого рабочего паренька в палача и садиста, безропотно принимающего правила жизни (жизни, а не игры!), предложенные ему начальством. Принимающего — и дрожащего от страха, что оказанного ему доверия за не слишком расторопную службу его могут лишить.

Родившись на Могилевщине в бедной рабочей семье, он шестнадцатилетним уехал искать счастья в Москву. Общество «Друг детей» (предтеча нынешнего Детского фонда) направило его в ФЗУ при автозаводе, оттуда смышленый парень шагнул в техникум и, наверное, стал бы в конце концов специалистом своего дела. Но **своим** делом заниматься ему пришлось недолго, хотя сам Иван Алексеевич Лихачев, директор завода, отмечал его успехи на избранном поприще и даже отправил его (сладкие воспоминания) на экскурсию — осматривать ДнепроГЭС. Огромная честь по тем временам!

Но заводская карьера Райцеса внезапно оборвалась. В июле тридцать восьмого технолог одного из заводских цехов, комсомолец Яша Райцес получил вызов к первому секретарю Московского горкома комсомола Лукьянову. В кабинете комсомольского вождя собрались еще несколько десятков молодых ребят. Всех их Лукьянов назвал «гордостью московского комсомола», которым оказано величайшее доверие партии: они направляются на работу в «органы»...

Мы помним, что́ это было за время. Приход Ежова знаменовал собой опустошительную чистку «органов» от ягодовцев — от тех, кто принял участие в репрессивном смерче, которому положило начало убийство Кирова. Теперь близилось крушение Ежова и уничтожение его достославной команды. В апреле тридцать восьмого Ежов «совместил» два наркомовских поста, добавив к внутренним делам еще и водный транспорт. Это было сигналом конца. В начале декабря он уступил НКВД Лаврентию Берии, оставшись еще на несколько месяцев наркомводом и дожидаясь ареста, с которым Сталин, любивший тешиться муками жертвы, пока не спешил. Продолжалась начатая еще в тридцать седьмом инквизиция инквизиторов, которая, как всегда, решала для Сталина несколько задач сразу:

уничтожались лишние свидетели, ликвидировалась опасность усиления их неконтролируемого могущества, возвышались еще более преданные и еще более исполнительные молодые кадры без героических биографий, наконец, создавалась иллюзия торжества справедливости, неотвратимости возмездия за «перегибы», к которым сам вождь, разумеется, никакого отношения не имел. Если в тридцать седьмом и первой половине тридцать восьмого шла в основном чистка высшего эшелона НКВД, то теперь добрались и до среднего, даже низшего эшелонов. Срочно нужны были безраздельно преданные товарищу Сталину чекисты, внезапно вознесенные «из грязи в князи» и, естественно, преисполненные вечной благодарности за это счастливое вознесение. Яков Райцес, которому только что стукнуло двадцать пять, как раз и оказался в числе счастливцев.

Уже через два дня после вызова в горком комсомола он расстался с автозаводом и оказался на курсах НКВД. Здесь за неполных три месяца слесарей, плотников, шоферов, монтажников, сварщиков, матросов, наборщиков превращали в карающий меч пролетариата. Профессии называю не наобум — извлекаю их из личных чекистских дел, перекочевавших затем в дела судебные, дисциплинарные или партийные. Чему же там их учили, на этих курсах? Какие навыки прививали? Ответы Райцеса подтвердили то, о чем и догадаться было нетрудно: «навыки» ненависти к кишащим повсюду врагам! Политическую подготовку обеспечили лучшие идеологи, из которых нашему собеседнику особенно запомнились Емельян Ярославский и Владимир Потемкин.

Первое имя достаточно хорошо известно: малограмотный «философ», фанатичный проповедник «научного атеизма» и беспощадная «совесть партии» — один из руководящих деятелей ЦКК и КПК, Емельян Михайлович благодаря своей дремучести, рабской преданности и безусловной неопасности избежал ежовых и прочих рукавиц. Объем и уровень знаний, полученных слушателями этого лектора, представить нетрудно.

Второй принадлежал совсем к другой породе. Владимир Петрович Потемкин считался ученым, видным

историком, интеллигентом благородных кровей. В то время он был первым заместителем наркома иностранных дел — единственным из замов Литвинова, избежавшим каких-либо репрессий. В сталинском окружении он играл декоративную роль человека из «бывших», честно служащего советской власти и пользующегося за это ответной любовью. Я помню его мальчишкой, когда он в новом своем качестве наркома просвещения и президента Академии педагогических наук внезапно пожаловал к нам в школу с инспекционным визитом. «Сейчас тебя спрошу», — шепнул мне, входя в класс, наш учитель литературы, незабвенный Иван Иванович Зеленцов. Я долго и упоенно вещал о революционной поэзии Маяковского. Нарком равнодушно слушал (слышал ли?), устремив скучающий взор куда-то поверх моей головы. Как и Ярославский, он был уже академиком и думал, наверно, о чём-то возвышенном и бессмертном. На секретных курсах НКВД его задача, видимо, состояла в том, чтобы разоблачить коварную внешнюю политику империализма, засылающего к нам тысячи всевозможных шпионов.

Вот с таким багажом юный Райцес стал в ряд с другими лубянскими богатырями, получив не очень крупный, но ответственный (безответственных, само собой разумеется, там не было вовсе) участок работы: ему доверили «курировать спорт», то есть, иначе сказать, выкорчевывать осиные гнезда, прочно свившиеся в футболе, плавании и вольной борьбе. «И много у нас было шпионов-спортсменов?» — не без ехидства спросил я, получив лаконичный ответ, лишенный иронии и какого-либо второго смысла: «Много».

Видимо, он проявил себя как следует на этом важном участке, если сразу же (полгода спустя) был переброшен на еще более важный, этажом выше: стал следователем под началом зловещего Израиля Пинзура, который в это самое время раскручивал так и не превратившееся в громкий процесс «дело дипломатов», доверив своему юному сотруднику дела поскромнее. Вот они — в ностальгически сладких воспоминаниях Якова Райцеса:

«...Занимался японским посольством. Их дипломаты ухаживали за нашими девушками, даже вроде бы

собирались на них жениться, но тут было явное прикрытие шпионских связей. Мне сказали: это все проститутки, через которых японская разведка получает секретные сведения. (Здесь я прервал Якова Матвеевича: «Эти девушки, или, как вы их называете, проститутки, они что — имели доступ к секретной информации?» «Какие секреты у студенток? — хохотнул Райцес. — Но мало ли про что велись разговоры в семьях, они могли сообщать японцам о настроениях».) Потом меня перебросили на шпионов прибалтийских государств, я эти дела вел очень успешно, в моем распоряжении были Латвия и Эстония. (Что означает на их языке «очень успешно», думаю, в объяснениях не нуждается. — *А.В.*) Помню еще такое важное дело, которое мне поручили: был арестован один пекарь, похожий на Сталина. Ну, просто вылитый Сталин... Это дело я расследовал в короткий срок. («В чем он обвинялся, этот пекарь?» — задал вопрос Валентин Черкесов. «Я же сказал, — обиделся Райцес, — он был очень похож на Сталина. И некоторые его даже звали в шутку: «Товарищ Сталин». Представляете: в шутку!..») Ну, а потом, уже в начале войны, создали следственную группу по военным, сорвавшим программу вооружения, по Ванникову и всем остальным, туда включили и меня».

Вот наконец мы и добрались до дела, которое нас интересовало больше всего. Но тут вдруг Райцесу стала напрочь изменять память. Он просто ничего не помнил. Решительно ничего. Получалось так, что он был вовсе не следователем, а скромным протоколистом, прилежно фиксировавшим на бумаге работу, проделанную кем-то другим. Он никого не допрашивал, а всего лишь **оформлял**. Это словечко не сходило с его уст, имея совсем невинный, почти технический смысл. И — еще поразительней! — он не помнил ни одного из тех, кого **оформлял**. Даже самые знаменитые, на всю страну гремевшие имена — Смушкевич, Локтионов, Рычагов, — даже они испарились из его памяти, хотя кому не понятно, как возвышался он в **своих** же глазах от сознания власти над этими прославленными героями. Про Марию Нестеренко тогда, в конце тридцатых — начале сороковых, писали взахлеб едва ли не все газеты. Но он умудрился «забыть» и ее имя: «Если

бы вы, — сказал мне Райцес, — про нее не спросили, я ни за что бы не вспомнил».

А что толку было напоминать? Ни единой детали, хотя бы и лживой, не рискнул он мне сообщить. Как вела себя? Как держалась? Что говорила — не для **оформления**, а с глазу на глаз? О чем просила? Как восприняла известие о предстоящем конце? Я уже понимал, что мои вопросы бесцельны, что ответа не будет, но мог ли я их не задать? «Не помню, не помню, не помню!..» — никакими силами сбить его с этой «позиции» оказалось мне не под силу.

Зато как хорошо он помнил другое! Один из начальников, Шкурин, садист высочайшей пробы, которого даже его сослуживцы иначе как «шкурой» не величали, однажды похвалил его за усердие (!), и Райцес с упоением нам сообщил об этом счастливом событии, которое — такая милая житейская подробность — было отмечено «коллективной бутылкой вина». А другой начальник — Родос, о котором рассказ впереди, тот, напротив, оставил в памяти Райцеса прочный, но совсем не радостный след. Оттого, что терзал свои жертвы? Отнюдь! Оттого, что однажды отказался отпустить молодого влюбленного на субботний вечер: Райцес назначил свидание с девушкой, а жестокосердый Родос повелел ему выбивать признание из очередной жертвы. Почти полвека наш собеседник не мог забыть такое коварство!

Тогда, беседуя с ним в Калуге, я еще не знал (мог бы знать, в зарубежных источниках мельком говорилось об этом, но я ведь не готовился стать биографом Райцеса), что именно он, а не кто-то другой, вместе с Родосом вел следствие по делу о «молодежной террористической организации». Было это ближе к концу войны, когда погоня за «террористами» развернулась с новой яростной силой. Во главу этой несуществующей «организации» определили Владимира Сулимова — сына расстрелянного в 1937 году председателя Совнаркома РСФСР Даниила Сулимова: вполне подходящая фигура для руководителя террористов! Среди прочих под его началом значились дочь наркома Андрея Бубнова Елена (ясное дело: мстила за расстрелянного отца), молодые Юлий Дунский и Валерий Фрид, впоследствии известные кинодраматурги. По крайней

мере один из них, здравствующий и поныне Валерий Семенович Фрид, может, видимо, рассказать про свои встречи с этим «юристом».

О том, каким был Райцес фальсификатором, говорит хотя бы такой «факт» из этого дела. Одну из «заговорщиц» он — именно он — обвинил в том, что та собиралась стрелять в Сталина из окна своей квартиры, когда вождь следовал по Арбату на дачу. Или с дачи — в Кремль. Но все окна ее квартиры выходили только во двор...

Любимцы начальства стремительно делали карьеру, а к Райцесу Фортуна не оказалась слишком уж благосклонной: в сорок шестом его вышвырнули в Калугу на ничтожную должность заместителя начальника следственного отдела областного управления МГБ, а потом он пошел все ниже и ниже, как ни старался себя проявить верным служакой. Объяснил он нам это крушение принадлежностью к «пятому пункту», хотя (будем все-таки справедливы) в ведомстве Берии особого значения такому пороку не придавали: Соломон Мильштейн, Леонид Райхман, Леонид Эйтингон, Лев Новобратский и многие другие благополучно продержались на очень высоких постах вплоть до крушения своего патрона, добавляя новые звезды к погонам и новые ленточки к орденским колодкам. Просто время комсомольских выдвиженцев уже прошло, нужны были верные служаки и искусные палачи более высокого профессионального уровня. Разговор же с Райцесом не оставлял никаких сомнений: это был человек, применительно к которому слово «ограниченный» кажется слишком комплиментарным.

Как бы там ни было, он был уволен в запас лишь после Двадцатого съезда с сохранением звания «подполковник», со всеми орденами и медалями (среди них и такие, чье название в данном случае звучит как оскорбление истинным героям: «За отвагу», «За победу над Германией...», «За доблестный труд...»), с повышенной пенсией и ворохом почетных грамот, благодарственных писем от начальства и юбилейных адресов — весь этот багаж и содержался в той красной папочке, которую он приготовил «для встречи с прессой». На старости лет пригодилась прежняя специ-

альность: он возглавил отдел рационализации местного завода и мирно себе доживал в неизвестности, не ища славы и ни на что не претендуя. А тут — газетная статья, возвратившая его из так желанного ему забвения...

Странное дело, он не вызывал у меня никаких эмоций: ни гнева, ни жалости, ни брезгливости, даже и любопытства. Абсолютно ничтожный, не представляющий ни малейшего интереса, **никакой** человек, он никак не вязался с представлением о некоей личности, так или иначе причастной к Истории. Почти немыслимо было себе представить, что он **работал** вместе с Берией, в той же команде, годами ежедневно входил в мрачное здание на Лубянке, что от него зависели судьбы, что и в его руках была чья-то жизнь... Теперь он отчаянно цеплялся за свою, избрав единственно ему доступное средство спасения: «не помню, не помню, не помню!»

Мне хотелось пробиться к его душе (никак не подберу иного слова, сознавая, что **это** сюда не подходит) или хотя бы к разуму и вызвать на воспоминания участника и очевидца таких событий, которые почти не оставили живых свидетельств. Есть мемуары чудом выживших жертв, но нет воспоминаний тех, кто (воспользуемся канцелярским эвфемизмом, чтобы не прибегать к сильным выражениям) находился по другую сторону письменного стола. Коллеги «наших» в Венгрии, в Германии и особенно в Польше дали все-таки волю словам, отвечая на вопросы любознательных журналистов и рассказав хоть что-то о том, о чем никто, кроме них, рассказать не мог. Наши «наши» стояли и стоят, как скалы, — никакая сила не может подвигнуть их разжать скованные страхом и клятвой уста.

— Послушайте, — говорил я Райцесу, — вам достаточно много лет. И вам ничего не грозит — давность давно истекла. Допустим самое страшное (тогда, в восемьдесят восьмом, таким, как Райцес, это все еще казалось страшным) — вас исключают из партии. Но ведь вы все равно остаетесь коммунистом, не правда ли? А карьера вам больше не светит. Пенсии вас не лишат. Зато какое облегчение на душе! И какой важный вклад в историю! Осознайте: вы можете сейчас

совершить поистине исторический поступок. Вы работали в самом-самом центре! Святая святых... Тайное тайных... Бок о бок с такими людьми... И нет уже почти никого, кто мог бы об этом рассказать. Всю правду. Ничего не тая и никого не боясь. Хотите, мы опубликуем в газете, что дали вам слово: никаких последствий для вас не будет. Вас защитит гласность. Мы сумеем вас отстоять, чего бы нам это ни стоило. Только расскажите все — до мелочей. Как это было? Каждая подробность о поведении Локтионова, Проскурова, Рычагова, Нестеренко, которых допрашивали вы лично или в вашем присутствии, — каждая подробность поистине драгоценна. Неужели теперь, на склоне лет, вы не исполните этот последний свой долг?

Нет, он не отказывался. Он готов был «помочь». Но он ничего не помнил. Ничего — ровным счетом. То, что он беззастенчиво врал, не нуждалось ни в каких доказательствах. Райцес великолепно помнил даже третьестепенные пустяки, не имевшие отношения к его работе, а сама работа не оставила в его памяти никаких следов. Мы терпеливо слушали его рассказы о меню столовой, где следователи питались в эвакуации, о том, как подвыпивший садист Лев Влодзимирский в перерывах между допросами устраивал — для разрядки — вечера с танцами и сам не очень умело, но упоенно вальсировал с врачихой санчасти... По какой-то загадочной ассоциативной логике память подсовывала ему эти детали, закрывая доступ к другим. Психиатры и криминалисты называют такое поведение установочным.

Райцес догнал нас во дворе, когда, изрядно намаявшись и убедившись в том, что пробить бетонную стену все равно не удастся, мы уходили, унося с собой — нет, не злость, а саднящую, глухую тоску. Застряв в узкой створке ворот и тем преградив путь, он произнес небольшой монолог, который, видимо, подготовил заранее.

— Верьте мне, я кристален и честен (точно так и сказал! — *А. В.*), всю жизнь отдал служению родине. Первая жена работала цензором в КГБ, тогда еще МГБ, уехать в Калугу не захотела, вторая у меня калужанка, а детей нет: только партия, служебный

долг — и все! Можете написать: жил для партии и умер за партию.

Надо же: я опять попробовал воззвать к его чувствам!

— А вот у погибших остались дети. Они хотят узнать о последних днях и часах своих родителей. И нет другого человека, кроме вас, кто мог бы об этом рассказать.

Он посторонился, дал дорогу, сказал отрешенно:

— Ничего не помню.

Месяца четыре спустя из Калуги пришла телеграмма: «Третьего ноября Бог прибрал Райцеса тчк ничего не рассказал от встреч телефонных разговоров отказался секретарь парткома завода Геннадий Сергеевич Левин».

Эта встреча с новой силой пробудила у меня интерес к тем, кто **осуществлял** высший замысел, кто разыгрывал так успешно и так беспощадно кровавую пьесу, сочинявшуюся бандой «тонкошеих вождей» (О. Мандельштам). Интерес этот, думаю, вполне оправдан: нормальному человеку, живущему в сколько-нибудь нормальных условиях, невозможно понять, какая сила делает людей садистами, побуждая их посвящать свою жизнь уничтожению себе подобных. Ошибка в предыдущей фразе, быть может, заключается в том, что жертвы как раз не были **подобны** своим палачам? Но ведь и палачи с неизбежностью, и притом очень быстро, чаще всего разделяли участь своих жертв. Чаще всего... И, однако же, не всегда. А раз так, значит, есть надежда оказаться в числе тех, кто не разделил. Перехитрить... Вынуть счастливый билет... Иначе с преступностью давным-давно бы покончили, меж тем, как мы видим, угроза наказания, даже расстрела, не остановила ни одну преступную руку. Или — точнее: мало кого остановила. Ведь «кривая» злодейств растет со стремительной быстротой, а «кривая» расплаты за них со столь же стремительной быстротой опускается. Ну, а тогда и там — в тайных кабинетах и камерах пыток — палачи, надо думать, совсем уж чувствовали себя в безопасности. Им внушали: мы, а значит, и вы — навеки, нам с вами пропасть не дадут.

Два имени особенно привлекли внимание. Именно

они встречаются в протоколах, приказах, постановлениях чаще всего. И еще чаще — в воспоминаниях очевидцев. В свидетельствах их коллег: Лев Шварцман и Борис Родос. Право, этот неразлучный дуэт заслуживает нашего внимания и — насколько возможно — подробного рассказа. Ибо дает возможность понять, чьими руками вершилось истребление людей, осуществлялся террор захватившей власть банды против целого народа. **Целого,** ибо в кровавую мясорубку (выражение не мое, а «самого» Лаврентия Павловича) с равным успехом попадали и рабочие, и крестьяне, и интеллигенты, и верные ленинцы, и верные сталинцы, и их оппоненты. Аристократы, «плебеи», богатые, бедные, умные, глупые — все!

Никто не мог сказать про себя, что он оказался мудрее остальных, перехитрил хитрецов — и выплыл. Выплывшим, или, проще сказать, избежавшим ГУЛАГа и пули просто улыбнулась Фортуна. Выпал выигрыш — в той безумной «игре» с народом, где ставкой была жизнь. Зато многие стремились не просто выплыть, не просто ждать, какой стороной к ним повернется судьба, но оказаться среди тех, кто судьбами распоряжался. Одна из самых больших и все еще неразгаданных загадок — каким образом в великой стране, отличавшейся милосердием и терпимостью, где проповедники, писатели, педагоги воспитывали идеи гуманизма и братства, — каким образом в этой стране за ничтожно короткий срок выплыли на поверхность и так себя проявили поистине сатанинская злоба, ожесточение и столь изощренный садизм, что перед ним бледнеют все известные нам по учебникам ужасы средневековой инквизиции.

Александр Борщаговский в одном из газетных выступлений обратил как-то внимание на поразительную деталь: во второй половине XIX столетия, когда царизм расправлялся с народовольцами, во всей стране нашелся лишь один человек, согласившийся исполнять функции палача. Его берегли и лелеяли, ублажали, как могли, перевозя с места на место, — ведь всюду была нужда в вешателях, но никто на эту высокооплачиваемую работу почему-то не зарился. Несколько десятилетий спустя в палачи набивались уже тысячи добровольцев, конкурс на эти почетные места был не чета

нынешним конкурсам в самые престижные вузы, оказанное доверие (важнейший психологический фактор) волонтеры оправдывали повышенным старанием, силясь перещеголять друг друга, кровь пьянила, а причастность к тайной резне превращала их в заложников карательной машины: все оказывались в одной связке и цепко держались друг за друга. Когда же стихия репрессий вырывала кого-нибудь из этой связки, перемещая из палачей в жертвы, оставшиеся — по закону стаи — с упоением набрасывались на «неудачника», сладострастно его топча. Точно так же, как до этого сам он топтал других...

Лев Аронович Шварцман дослужился до высокого чина «старший майор государственной безопасности», что соответствовало армейскому званию «комдив». Но по сути карьера его ничем не отличалась от карьеры моего калужского собеседника. Безграмотный и необразованный, он работал разносчиком газет, но комсомол, где Шварцман успел себя проявить безоговорочно правильными речами, выдвинул этого пролетария в ответственные секретари популярной газеты: массовые аресты за кратчайший срок настолько опустошили весь «регион», что более грамотных, как видно, не нашлось. Попутно он подрабатывал, состоя сексотом в НКВД. Когда в 37-м Шварцман сделал головокружительный бросок, оказавшись сразу же среди «ответственных работников» центрального аппарата НКВД, то и там, по его же словам, он выделялся своей грамотностью, своим умением переложить на бумагу идеи и мысли своих начальников и коллег. Сами коллеги сделать это никак не могли.

Один из авторов, чье внимание, хоть и боком, тоже не обошло этой зловещей фигуры, уверяет, будто «арестованных он не допрашивал и зачастую в глаза их не видел», что в его «задачу входила переработка «руды» в «обогащенный концентрат». Здесь, разумеется, недоставало одной лишь грамотности, требовался еще и «особого рода дар».

Насчет дара, пусть и особого рода, воздержусь, у этого понятия нет математически точных критериев. Если умение связно и грамотно сочинить желанную ложь, не особенно заботясь даже о ее внешней правдивости, — если это умение автор называет даром,

пусть так. Но вот то, что Шварцман не допрашивал сам арестованных, — это уж нет, увольте... Его дар сочинителя гармонично соседствовал с даром «забойщика» (термин того же автора), дополняя и помогая один другому. Это сам Шварцман годы спустя, когда настал час и ему оказаться арестантом, пытался выдать себя за не больше чем писаря, но его даровитая рука, как оказалось, была способна не только на это.

Попробуем представить состояние человека, который вчера еще упивался своим могуществом, чувствуя себя вознесенным на редакторский Олимп, о чем не смел и мечтать, и вдруг в мгновенье ока оказавшийся на такой высоте, откуда этот самый Олимп не разглядишь даже при помощи телескопа. Малограмотный активист низовой партячейки вдруг получает первое боевое задание: допросить «как положено» опаснейшего врага народа и заставить его признаться в своих злодеяниях. Этим «врагом народа» — первой жертвой Шварцмана — оказался Петр Смородин, имя которого недавний комсомольский активист произносил, наверно, не иначе, как с почтительным придыханием. Ведь Смородин три года, с двадцать первого по двадцать четвертый, был генеральным секретарем ЦК комсомола, а в момент ареста — первым секретарем Сталинградского обкома партии, кандидатом в члены ЦК, депутатом Верховного Совета СССР. Теперь его судьба — правда, с разными знаками — оказалась связанной с судьбой Шварцмана: «расколовшись», обрекая себя на смерть, Смородин мог поспособствовать еще большему карьерному взлету своего палача.

Шварцман очень старался, но у него еще не было опыта, поэтому выбить из Смородина желанную ложь ему удалось далеко не сразу. Ежов, на особом контроле у которого было это дело, «приказал мне, — рассказывал Шварцман на следствии семнадцать лет спустя, — дать ему пару пощечин». Боюсь, Ежов выражался в своем кабинете не столь изящно, но — так или иначе — Шварцман приказ исполнил. И опять неудача! Ежов ждал от Смородина «компрометации определенных лиц», а Смородин упорно не желал их компрометировать. На помощь новичку поспешили опытные товарищи: «Через некоторое время ко мне

пришли Николаев-Журид[1] и Антонов[2], вместе с которыми мы добились от Смородина требуемых показаний». Добились — в прямом, не в переносном смысле.

«Определенные лица», компрометации которых требовали от Смородина, это в первую очередь тогдашние руководители комсомола во главе с Александром Косаревым, которого люто ненавидел только что сменивший Ежова (до этого был его замом) Лаврентий Берия. Настолько ненавидевший, что не смог отказать себе в удовольствии лично явиться для его ареста. Можно представить себе степень доверия «человека в пенсне» ко вчерашнему разносчику газет, если именно ему поручает он вести дело своего личного врага. Какую же гордость должен был испытывать особо доверенный! И с каким рвением стремиться оправдать это доверие! А задание было такое: Косарев — агент гестапо, пусть подтвердит. Косарев не подтверждал. «Избить», — приказал Берия (а может быть прямо и не приказывал: это ведь Шварцман утверждает, чтобы чуть приуменьшить свою вину). «В моем служебном кабинете бил Косарева Влодзимирский, а я только (!) придерживал (!!), чтобы он не вырывался». Врет, негодяй!.. 21 января 1955 г. на допросе в военной прокуратуре бывший следователь НКВД Григорий Арсенович подтвердил, что Шварцман «лично и зверски избивал Косарева, это было видно через специально приоткрытую дверь его кабинета в Лефортовской тюрьме. Дверь приоткрывали для того, чтобы крики истязаемого доходили до всех арестантов, это обеспечивало их психологическую обработку и подготовку к очередному допросу».

Удалось ли сломить Косарева? Или просто он под-

---

[1] Николай Николаев-Журид — старый большевик, старый чекист, прославившийся своей жестокостью в Ленинграде. Комиссар государственной безопасности 3-го ранга. Депутат Верховного Совета РСФСР. В то время возглавлял Особый отдел НКВД и был заместителем начальника Главного управления госбезопасности. В декабре 1938 г. арестован и расстрелян.

[2] Трудно сказать, о каком Антонове идет речь. Существовал Николай Антонов, депутат Верховного Совета СССР от Кабардино-Балкарии, где он успешно истреблял «врагов народа». И его брат Люк Антонов-Глисюк, одно время «представлявший» НКВД в республиканской Испании. Но, может быть, в недрах этого ведомства процветали еще и третий, и четвертый, и пятый... Кто знает?

писал то, что сочинил Шварцман в угоду Лаврентию? Кто вообще может с уверенностью сказать, что жертва сама подписывала «протокол»? Или — что, подписывая, имела возможность его прочитать? Словом, «задание родины» в лице ее верного сына товарища Берии товарищ Шварцман выполнил с честью: в протоколе, который лег на стол наркома, было написано, что Косарева «завербовал в германские шпионы фашистский агент Беккер»[1] и что Косарев сам в этом признался.

Новый виток головокружительной карьеры вчерашнего люмпена был обозначен приказом наркома подготовить громкое комсомольское дело. На него Берия возлагал особые надежды — по замыслу это должен был быть четвертый публичный процесс, целиком рожденный новым верховным стражем государственной безопасности: к первым трем, которые сразу вошли в историю как «большие московские», Берия никакого отношения не имел. О создании «комсомольского дела» и о том, как замысел сорвался, уже много писали, поэтому обращу внимание лишь на то, что именно Шварцман, без году неделя проникший на самые чекистские верха, удостоился чести его готовить.

От проведения публичных кровавых шоу решили меж тем отказаться, расправа продолжалась втихую, без шумовых эффектов, но, быть может, постигшая Шварцмана неудача оказала известное влияние на принятие такого решения? Одну из главных (по замыслу) обличительниц Косарева и других комсомольских вождей — Валентину Пикину — Шварцману и его команде сломить не удалось. Пикина дожила до реабилитации, в середине пятидесятых она рассказала подробно, что́ творилось в лубянских застенках. О подробностях избиения умолчу — важнее красноречивое признание самого Шварцмана (на допросе 3 июля 1954 г.): «Как ее ни били, Пикина стояла, как скала... Но я к ее избиению не причастен (!), потому что избивать женщину несовместимо с моим представлением об от-

[1] Артур Беккер — член ЦК германского комсомола, сражался в республиканской Испании в составе интернациональных бригад. Пленен фашистами и ими расстрелян.

ношении к женщине. Ее избивал Кобулов, а я лишь помогал ее держать (придумать другую версию даровитый недоумок явно не в состоянии. — *А. В.*)».

Не рискуя взять на себя сомнительную роль биографа этого чудовища, мне все же хочется взглянуть на постигшую страну трагедию через личность одного палача. Подсчитать: сколько жизней лишь на его счету. Не он, так другой, верно, но ведь все-таки — он! Торжество взбесившейся черни обретает иную эмоциональную окраску, когда ее деяния предстают не в цифрах, а в судьбах, за которыми стоит вполне определенный, конкретный инквизитор.

Перечислить всех им загубленных, разумеется, невозможно. Вот лишь некоторые. Михаил Кольцов, о котором уже рассказано в очерке «Дон Мигель и другие». («Не исключено, — витиевато показывал Шварцман, — что я нанес Кольцову несколько пощечин».) Бывшие участники бакинского подполья, которые что-то знали про темное прошлое Берии. (Был среди них человек по фамилии Рохлин, имени, к сожалению, я не знаю, он владел какой-то важной для Берии тайной, Шварцман выведал ее, в смысле: «выбил», и сразу же Рохлина казнили.) Нарком лесной промышленности Рыжов, через две недели после ареста убитый во время допроса, сопровождавшегося зверскими истязаниями. (Шварцман, как тогда полагалось, «оформил» убийство справкой, заверенной врачом: «Умер от паралича сердца»). Заместитель министра геологии СССР, академик Иосиф Григорьев. (Чтобы избежать ответственности за провалы, вызванные указаниями безграмотных «кураторов», академику и группе крупнейших геологов «пришили» вредительство, шпионаж и прочее — в традиционном наборе. Шварцман до того исполосовал И. Ф. Григорьева, что тот вскоре умер[1].) Заместитель министра связи СССР Александр Фортушенко. (Шварцман объявил, что за «измену родине» он «сам ему будет судьей». Подверг А. Д. Фортушенко зверским истязаниям. Арестованный пытался покончить с собой, но был вынут из петли. Выжил и давал показа-

[1] Под руководством И. Ф. Григорьева разведано, в частности, урановое сырье для первых советских атомных бомб. Он погиб в 1949 г. — до того, как начались их испытания.

ния против Шварцмана в 1955 г.) Профессор-аграрник Григорий Шлыков, на котором Шварцман проверял прочность своих подкованных сапог. (Он тоже безуспешно пытался повеситься. Вынутого из петли Г. Н. Шлыкова Шварцман бросил в обледенелый карцер, не разрешив взять с собой никакой одежды и обуви, кроме тапочек и нижнего белья. Целые сутки при минусовой температуре профессор прыгал на месте, чтобы не замерзнуть, читая надписи на стенах, нацарапанные его предшественниками: «Да здравствует родная партия» и «Слава великому Сталину».) Известный политический деятель и дипломат Михаил Бородин.

Впрочем, о Михаиле Марковиче Бородине (Грузенберге) стоит сказать чуть подробнее. Биография этой незаурядной личности еще ждет своих исследователей. В партии, где он состоял с 1903 г., Бородин не без основания считался специалистом по международному коммунистическому движению, направлялся в разные страны, принимая участие в малоосвещенных до сей поры акциях по «раздуванию» мировой революции. В частности, он выполнял секретную миссию в Мексике (1919 г.), где способствовал созданию национальной компартии (это было предметом разбирательства на знаменитых слушаниях в Мехико под председательством выдающегося философа Джона Дьюи, где была сделана попытка объективно проверить обвинения, выдвинутые против Троцкого на московских процессах. Расследование эпизода, связанного с Бородиным, не было доведено до конца). Но самую большую известность Бородин получил как главный политический советник ЦИК Гоминдана (1924—1927 гг.), направленный в Китай по просьбе самого Сунь Ятсена.

Будучи старым большевиком и близким к чекистскому ведомству человеком, он, видимо, советовал то, что работало на мировую революцию в тогдашнем значении этого термина. Легко понять, какие богатые возможности открывались для буйной фантазии новых чекистов: в те четыре китайских года Бородина можно было вложить какие угодно сюжеты. Добавим к этому, что в тридцатые годы Бородин возглавил «Москоу ньюс» — эмбрион нынешних «Московских новостей», которые тогда выходили лишь на английском и представляли собой пропагандистское издание исключите-

льно для заграницы. В редакции работало много зарубежных коммунистов, а сам редактор чуть ли не ежедневно общался с иностранными гостями, подчас весьма высокого уровня. Словом, шпионское гнездо в дистиллированном виде!..

Бородин избежал Лубянки в тридцатые — его накрыла новая, послевоенная волна террора. Когда его арестовали, ему было уже 65 лет. Кованые сапоги Льва Шварцмана (на этот раз он работал в паре со следователем Владимиром Комаровым[1]), быстро «обработали» старика, который, едва оправившись от побоев, в ожидании суда, чей приговор был предрешен, осмелился написать Сталину: «Мне инкриминировали преступления, которых я никогда не совершал, как то: вражеская деятельность, в том числе шпионаж в пользу Америки и Англии. После моих показаний, что это абсолютно ничем не обосновано, меня увезли в Лефортово и там подвергли моральной и физической пытке, площадной брани, избиению дубинкой по разным частям тела, несмотря на мой возраст и мои болезни».

«...**В том числе** шпионаж в пользу Америки и Англии». Даже в закрытом письме на имя вождя опытный Бородин не осмелился упомянуть высокие имена, к которым его пристегнули в немыслимом и явно необъяснимом для него самого сочетании. В шпионское-то гнездо, оказывается, входили, дружно обнявшись, Чан Кайши с Мао Цзэдуном!.. Если мы вспомним, что арестован Бородин был в 1949 году, когда Чан Кайши бежал на Тайвань, а Мао воцарился в Пекине, то тайное лубянское сочинение, мастерски исполненное по чьей-то команде Шварцманом с Комаровым, предстанет и зловещим, и странным, и загадочным. В

---

[1] О каждом палаче не расскажешь, хотя, наверно, и надо бы. Вот короткая выписка из показаний одного из чудом выживших «клиентов» этого монстра — штришок к портрету заместителя начальника следственной части по особо важным делам МГБ СССР В. И. Комарова: «Фамилия русская, а облик — кавказский... Совершенно пустой кабинет — только несгораемый ящик (на нем — какие-то странные предметы — орудия пыток) и два низких кресла. Комаров — в синей рубашке, расхристанный — в одном сидит, на другое ноги положил... Схватил за робу — новую дали и сами же ее изодрали, — приложил так, что у меня кровь изо рта пошла...» Комарову было в то время 33 года. Образование — 7 классов. По профессии слесарь.

приговоре по делу Шварцмана про этот эпизод его биографии туманно сказано: «по указанию Абакумова принял участие в подготовке крупной внешнеполитической провокации, стремясь вызвать недоверие к китайской компартии и поссорить Советский Союз с Китаем». В чем же она состояла, эта крупная провокация? Кто, кого и зачем собирался компрометировать? Ни Чан Кайши, ни даже Мао Цзэдуна заполучить в свои казематы провокаторы не могли. Значит, готовился публичный процесс? Тайной компрометации не существует: ошельмовать можно только публично. Но с какой целью? И по чьему заданию? Ведь официально провозглашалась братская дружба отца всех времен и народов с великим кормчим. Не могло же так быть, чтобы он сам пожелал вдруг оказаться другом шпиона!..

Этот, казалось бы, крохотный эпизод, погребенный в архивных папках незавершенного дела, остается одной из до сих пор не раскрытых загадок, ждущих своего объяснения. Любопытно, что даже в 1955 году, когда вскрывались подробности той провокации (не знаю, надо ли брать это слово в кавычки), имя Сталина ни в одном (совершенно секретном!) документе не называлось: письмо, адресованное в «Кремль. Товарищу Сталину И. В.», упорно именуется «письмом на имя Председателя Совета Министров СССР», и суть задуманной провокации ни единым словом не раскрывается. Говорится лишь (обратим на это внимание, ибо выбор приемлемой формулировки не может быть случайным), что «жалоба Бородина была скрыта от Председателя Совета Министров СССР и Советского правительства».

Так кто же и для чего готовил «крупную политическую провокацию» руками жалкого Шварцмана? Абакумов был тогда министром госбезопасности. Неужели он сам мог осмелиться, судя по затронутым именам, на крупномасштабную акцию? Орешек явно не по его зубам, да и был ли смысл ему самому пускаться на такую авантюру? Абакумов имел прямой выход лично на Сталина. Мог ли Маленков, а тем более Берия, «отодвинутый» Сталиным от Лубянки и «брошенный» на атомную энергию, дать такое поручение Абакумову? Что же и кем было задумано? И почему не доведено до конца? Вопросы остаются открытыми.

4 июля 1951 года Абакумов был снят с работы, а восемь дней спустя арестован. Объяснять его крушение всего лишь доносом подполковника Рюмина — очевидная наивность. **Такой** донос — на всесильного министра! — пишется, когда уже подготовлена почва, когда точно знаешь, какого доноса от тебя ждут. То есть, иначе сказать, когда он нужен как повод, а причина уже созрела... Есть ли хоть какая-то связь между той «крупномасштабной внешнеполитической провокацией», к которой пристегнули М. М. Бородина, и падением Абакумова? Все это ждет объективного и компетентного исследования.

Добавим для размышления еще одну деталь: письмо Бородина Сталину хоть и не дошло до адресата, но какую-то роль, быть может, сыграло. Или оно случайно совпало по времени с изменением замысла «провокаторов»? С событиями, происходившими на самом верху? Так или иначе, дело Бородина более года не передавалось в суд. Никто его больше не допрашивал. От пыток и лишений в возрасте 67 лет М. М. Бородин 29 мая 1951 года умер в тюрьме, так и не дождавшись «объективного и беспристрастного» суда. (Даст ли кто-нибудь гарантию, что ему не помогли умереть?) Поразительное совпадение: три дня спустя — 1 июня 1951 г. — был освобожден его сын Норман, арестованный (бывают же такие «случайности»!) через три дня после ареста отца. Норман Бородин работал заместителем начальника отдела 2-го Главного управления МГБ СССР (то есть контрразведки). В его обязанности входила и работа руководителей братских партий. Ему вменялось в вину, что он «рассекретил» свою агентуру перед отцом и вообще снабжал отца лубянскими тайнами, а тот «через старые связи» (уж не через Мао ли?) передавал их дальше — американцам. Вся эта чушь как-то внезапно отпала, и Норман Бородин получил полную реабилитацию. Его роль в судьбе отца на последнем витке жизни этого крупномасштабного советского разведчика остается пока еще неясной.

Еще через два месяца «за антисоветскую деятельность» был арестован сам Шварцман, разделив тем самым участь своего министра. Дело Бородина — «за смертью обвиняемого» — было погребено в лубянских архивах, чтобы выплыть оттуда три года спустя, когда

на новый — послесталинский — виток вышло следствие по делам высокопоставленных эмгебешников.

Впрочем, мы ведь не о Бородине, а о Шварцмане... Дело Бородина — лишь особо яркий эпизод в унылой и вместе с тем сказочной биографии палача. И еще одно «впрочем»: как определить, какой эпизод является особенно ярким? Ведь Шварцман играл и одну из первых скрипок в широко и печально известном «ленинградском деле». Оно «закрутилось» почти одновременно с арестом Бородина и вскоре явно его потеснило, обещая Абакумову со товарищи гораздо более значительные последствия и вполне реальные дивиденды. Неужели организаторы «провокации», связанной с именем Бородина, были менее влиятельными людьми, чем те, кто стоял за «ленинградским делом» (оно, как известно, «зачато» Маленковым)? Или просто замысел внешнеполитического скандала не выдержал конкуренции с замыслом скандала внутриполитического? Абакумов включил верного Шварцмана в бригаду, служившую прихотям Маленкова. Бородина перестали допрашивать как раз тогда, когда следствие по «ленинградскому делу» достигло своей вершины. Шварцман был занят.

Это он сочинил обвинительное заключение, по которому затем прошлись Комаров, Леонов[1] и Селивановский[2] — бригада, созданная Абакумовым для фабрикации «дела». «Начали писать в Москве, — ностальгически вспоминал пять лет спустя Шварцман, — а заканчивали на даче у Абакумова в Сочи... Когда окончательно обвинительное заключение было составлено, Абакумов поздравил Комарова, Леонова и меня с успешным выполнением ответственного задания партии и правительства. Кроме нас присутствовал еще Вавилов, главный военный прокурор. По окончании составления обвинительного заключения Абакумов устроил банкет, где он еще раз всех нас поздравил, а мы произносили по очереди тосты за здоровье и

---

[1] А. Г. Леонов — начальник следственной части по особо важным делам МГБ СССР в 1946—1951 гг. Как и другие члены абакумовской команды, вместе с ним подвергся опале (1951 г.) и вместе с ним расстрелян (1954 г.).

[2] Н. Н. Селивановский — заместитель министра госбезопасности СССР.

успехи нашего министра, под чьим руководством мы завершили выполнение задания Родины».

Не буду касаться фразеологии: тут все очевидно. Но показания Шварцмана, которые — в этой их части — выглядят достоверно, находятся в явном противоречии с имеющимися свидетельствами о роли главного военного прокурора. Впрочем, эти свидетельства исходят от него самого, их цель тоже вполне очевидна.

Бывший заместитель главного военного прокурора (затем заместитель министра внутренних дел СССР), здравствующий поныне генерал-лейтенант юстиции Борис Викторов воспроизводит рассказ, слышанный им от самого Вавилова. По этой версии, Вавилов был вызван на дачу Сталина возле озера Рица для утверждения обвинительного заключения. Прилетев по вызову, он явился на дачу вождя. К нему вышел начальник охраны генерал-лейтенант Власик и вручил обвинительное заключение для немедленного скрепления его — тут же, на месте — своей прокурорской подписью. Вавилов попросил, чтобы ему дали возможность прочитать хотя бы протокол допроса А. А. Кузнецова, но Власик ответил: «Все проверено, можете сразу подписывать». И он подписал.

Воспроизведение рассказа Вавилова Б. А. Викторовым можно считать вполне достоверным, ибо точно так же воспроизводит его еще один очевидец, в «сговоре» с генералом не состоявший. Несколько лет назад я получил письмо из Краснодара от подполковника юстиции в отставке Николая Будачева, который после XX съезда служил помощником прокурора Сибирского военного округа. Н. Д. Будачев вспоминает о содержании разосланной в 1956 году военным юристам секретной стенограммы какого-то партактива, где со слов Вавилова тогдашний генеральный прокурор Руденко рассказал то же самое, что и генерал Викторов.

Понятно, как хотелось Вавилову снять с себя вину и ответственность. Приказ Сталина это все-таки не приказ Абакумова, хотя министра госбезопасности прокурор вряд ли боялся меньше, чем самого вождя. Но мог ли Сталин вызывать Вавилова? Как говорится, не по Сеньке шапка... Нет, все они были в одной шайке, вместе, млея от счастья, пили за свой грандиозный успех, а докладывал Сталину, отдыхавшему ря-

дом, сам Абакумов, который и был реально **ответственным,** прокурор же, хоть и военный, с генеральскими погонами, — лишь служкой на побегушках, «оформлявший» то, что от него никак не зависело.

Хватит, пожалуй, о Шварцмане. Мы ведь знаем уже, какую роль сыграл он в уничтожении военачальников под Куйбышевом в октябре сорок первого. Кровавый шлейф тянется за ним по страницам многих и многих дел. И, наверно, не раз еще историки, журналисты, юристы, открывая тома очередного, скрытого полвека или больше от глаз людских дела, найдут там это страшное имя.

Четырнадцать лет продолжалась его плодотворная деятельность в доме за спиной низвергнутого ныне железного Феликса. Правда, монумента на площади тогда еще не было, но Спина была. Известный завет насчет чистых рук и горячего сердца и тогда облагораживал все усилия его коллег во славу великой партии. Шварцман давно уже забыл про свое пролетарское прошлое, он принадлежал теперь к всесильной элите, полагая, что это навеки, — именно так представлялся бесчисленным дамам сердца, до которых был великий охотник. Архивы сохранили нам, к примеру, такую деталь: со своей коллегой и наперсницей, носившей редкую фамилию Зекки, он любил уединяться в каком-нибудь тюремном кабинете, предаваясь любви под стоны истязаемых рядом жертв. В этом виделась ему особая экзотичность, недоступная миллионам сограждан. И был он, видимо, прав.

По части любовных утех, как мы знаем, Шварцман был далеко не единственным в своем ведомстве: Берия и тут лидировал — к этой страсти ближайшего соратника великого Сталина здесь относились с особым почтением. Одна из шварцмановских жертв ловко сыграла на этом, перехитрив (редчайший случай!) своих мучителей. Некая Улерьянова, невеста известного в то время пловца, многократного чемпиона СССР Семена Бойченко, арестованная за «антисоветские анекдоты», стала рассказывать соседкам по камере, что она потайная подруга самого Лаврентия Павловича. Камерная наседка тут же, разумеется, донесла по начальству. Шварцман помчался к Абакумову, предложив — от греха подальше — болтунью освободить. Не пойдешь

же расспрашивать Берию про его интимные тайны! А «убрать» — вдруг, действительно, этот маньяк к ней прикипел?!

Так что, как видим, скучать Шварцману не приходилось. Каждый день нес что-то новое, неожиданное, требующее гибкого, творческого подхода. С обескураживающей прямотой заявил он на следствии по своему делу: «Работа в органах, особенно допросы, все это было мне по душе». Кто посмеет сказать, что он лгал?.. Любопытно и примечательно: его «подельник» Комаров, вряд ли сговариваясь со Шварцманом, с той же упоительной прямотой сообщил на допросе, что к следственной работе он «имел призвание». Поистине эти люди обладали высокоразвитым чувством черного юмора...

Шварцмана арестовали — об этом уже сказано — в связи с крушением Абакумова, но рядом с ним на скамью подсудимых не посадили. На процессе Абакумова, Леонова, Лихачева, Комарова и других он был лишь свидетелем. Шварцмана же судили отдельно — после четырех лет пребывания под арестом. За это время он шесть раз симулировал сумасшествие и соответственно шесть раз подвергся судебно-психиатрической экспертизе. Его душевное состояние изучали лучшие психиатры страны. Патологию отметили (впрочем, ее нетрудно отметить и без специальных познаний), а вот невменяемости — нет, не нашли.

В последнем слове он сказал, что всегда был противником смертной казни, что «сейчас, находясь в тюрьме, лучше понял состояние арестованных», что пощады не ждет и просит дать указание расстрелять его пятью разрывными пулями, потому что иначе ни за что не умрет: «от родителей достался могучий организм».

Исполнили ли эту его просьбу, не знаю, не интересуюсь, но экзекуции предшествовало, однако, ходатайство о помиловании: Шварцман не только ждал — просил о пощаде, чтобы отдать, естественно, все силы на благо... 21 апреля 1955 года Ворошилов и Пегов ходатайство отклонили. Страшная и поучительная биография разносчика газет, которому дали право и вменили в обязанность мучить людей, завершилась.

Неразлучный коллега и близкий друг (приложимо ли это слово к таким чудовищам?) Шварцмана Борис

Вениаминович Родос шел с ним рука об руку по славному пути до сорок шестого года. Всего лишь до сорок шестого — это его и спасло. На время, но все же спасло: в скандальных абакумовских акциях ему участвовать не довелось, потому что сразу же после того, как Берия был «переведен на другую работу», Родоса вышвырнули на свалку с волчьим билетом. Но, полагаю, этот волчий билет казался ему едва ли не пропуском в рай: все же место начальника штаба ПВО Симферопольского центрального телеграфа предпочтительнее, пожалуй, места тюремного узника.

Несколькими годами позже его дорогой коллега, обвиняемый Шварцман, даст Родосу такую убийственную характеристику: «Непомерно раздутое самолюбие, но при начальстве превращался в угодника и пронырливого подхалима». Однако был он, как видно, и не самым последним глупцом: изгнанный и униженный, не стал качать права, не писал челобитных товарищу Сталину и товарищу Берии с просьбой вернуть, оказать и поверить, а затаился, мечтая лишь о забвении. Даже полковничьих погон его не лишили. Ни орденов, ни медалей. Протянул еще целых семь лет. И лишь 5 октября 1953 года был арестован: после Берии и — вполне очевидно — в связи с ним.

За спиной у этого сына портного было всего 4 класса Мелитопольского начального училища, что не помешало ему считаться профессором Высшей школы НКВД СССР, где он читал курс лекций (это же надо придумать такую науку!) по «внутрикамерной разработке арестованных»: как подсаживать к ним наседок, уговаривать и запугивать... Не прогнали бы вовремя, получил бы, наверное, ученую степень.

Любимый сподвижник Богдана Кобулова, Родос прошел обычный для тех времен путь: сначала местный сексот, затем штатный сотрудник Одесского УНКВД и оттуда сразу же прыжок в центральный аппарат, на освободившиеся после чисток места. Вызвал Родоса из провинции Ежов, а возвысил уже Лаврентий. О степени доверия к нему говорит такой факт: имя Родоса встречается в самых громких делах того времени. Громких — не потому, что о них много писали: напротив, самое их существование хранилось в строжайшей тайне. Громких — потому, что уж слиш-

ком значительны и знамениты были те, над кем он глумился. Среди них — напомню — и Бабель, и Мейерхольд, и члены политбюро Влас Чубарь, Станислав Косиор и кандидат в члены Павел Постышев, и глава комсомола Александр Косарев, и генералы — те, из октября сорок первого...

Много позже, когда пришел час расплаты, о его деяниях говорили свидетели. Очевидцы и «ухослышцы». Допросили всего сорок восемь, тридцать двух из них вызвали в суд. И жертвы, и бывшие коллеги показали одно и то же: Родос отличался не просто жестокостью, а жестокостью виртуозной, испытывал явное наслаждение от своих выдумок и от возможности их осуществить. Как бы он ни изощрялся, перечень пыток хоть и страшен, но однообразен, и я воздержусь от кошмарных цитат, которые выписал из архивного дела. Приведу лишь ту, что нашел в одном письме, адресованном Президиуму Верховного Совета СССР 20 февраля 1940 г. Автор — Николай Белослудцев, бывший заведующий отделом ЦК комсомола, привлеченный по делу Косарева и осужденный к двенадцати годам (умер в лагере): «Жестоко избив меня резиновой палкой, веревками, потребовав несколько часов простоять на корточках и все равно ничего не добившись, Родос заставил меня пить человеческую мочу... Я был доведен до такого состояния, когда все уже становится безразлично и можно подписать все, что угодно».

Не эта ли способность выбить «все, что угодно», — способность и готовность в одно и то же время — обеспечила Родосу настолько прочное доверие Лаврентия Павловича, что тот именно ему поручил заняться двумя своими личными врагами: Беталом Калмыковым и Константином Орджоникидзе. Оба были слишком осведомлены о прошлом «человека в пенсне», и это определило их судьбу.

Бетал Калмыков, чье имя хорошо помнят на его родине, был первым секретарем партии в Кабардино-Балкарии. Второй секретарь, Михаил Звонцов, чудом выжил и вот что он показывал в 1956 году, когда Родос предстал перед судом: «В 1919 году Бетал Калмыков прикрывал со своим отрядом отступление отряда Серго Орджоникидзе. В Тбилиси Калмыков встречал Берию, позже он говорил, что Берия авантюрист, подлец,

сукин сын. Но более подробно он мне не рассказывал о Берии... Я встретил на даче Калмыкова Серго Орджоникидзе, тот спросил: «Бетал, почему ты не пишешь о гражданской войне? Ты не пишешь, я не пишу, а ведь мы участвовали в гражданской войне. Теперь находятся разные фальсификаторы, которые извращают факты. Я пришлю тебе двух стенографисток, и ты напиши правду о гражданской войне». Бетал задал вопрос: «Товарищ Серго, до каких пор этот негодяй будет возглавлять закавказскую парторганизацию?» Серго ответил: «Кое-кто ему еще доверяет. Придет время, он сам себя разоблачит». Я передал сейчас дословно разговор Калмыкова с Орджоникидзе. Во время этого разговора присутствовала дочь Серго — Этери. Однажды ночью я зашел к Калмыкову. Он разговаривал с кем-то по телефону. Калмыков, зажав телефонную трубку рукой, сказал мне: «Ты знаешь, Берия назначен заместителем наркома внутренних дел». Через несколько дней... пошли аресты... Берии нужно было разделаться с Калмыковым. При аресте Бетала у него в первую очередь была изъята переписка с Серго Орджоникидзе. Калмыков и Серго были очень дружны, знакомы семьями. Расправляясь с Калмыковым, Берия расправлялся и с Серго...»[1]

Бетала Калмыкова арестовали через год после того, как Г. К. Орджоникидзе — «Серго» — покончил с собой 18 февраля 1937 г. Этим ознаменовался приход Берии в НКВД — пока еще в качестве заместителя Ежова. Снова подчеркну: если именно Родосу было поручено «общаться» с заклятым личным врагом Берии и выколачивать из него все, что тот хранил в своей памяти, степень доверия «человека в пенсне» к этому чекисту можно назвать абсолютной. Измывательства Родоса над Калмыковым превосходят все, что, судя по имеющимся свидетельствам, он проделывал над дру-

---

[1] Есть еще одно убедительное доказательство целенаправленно личного, мстительного отношения Берии к Калмыкову. Из всего арестованного руководства Кабардино-Балкарии казнен был он один. Второй секретарь М. И. Звонцов получил десять лет, председатель Совнаркома республики И. О. Черкесов — пятнадцать, его заместитель Х. Б. Хагуров — десять, и т. д. Между тем, все они вместе формально обвинялись в одном и том же («активное участие в контрреволюционной террористической и диверсионной группе»).

гими жертвами. Бывший начальник санчасти Лефортовской тюрьмы А. А. Розенблюм свидетельствовала в 1956 г., что Калмыкова зверски избивали сам Берия вкупе с Кобуловым и Родосом. «Когда меня вызвали оказать ему помощь, Калмыков лежал в тюремном кабинете Берии на диване без сознания. Я привела его в чувство, но он потерял дар речи. В больнице с неделю мы объяснялись знаками... Спина его была вся черная. Когда меня арестовали (31 января 1939 г. — *А.В.*), Калмыков все еще лежал в тюремной больнице. Что с ним стало потом, я не знаю».

Что с ним стало потом? Обычно столь высоких арестантов быстро уничтожали — для этого, собственно, их и арестовывали. Но Калмыкова названная выше тройка садистов мучила еще больше года. Это объяснялось не только восточной потребностью в продолжительном измывательстве над особо ненавистным врагом, но и стремлением выведать у вконец измученной жертвы имена тех, кто мог бы хоть что-то знать. Ведь знавших надо было уничтожить под корень.

Но, судя по всему, даже Родос с его виртуозностью ничего от Калмыкова так и не добился. Надежды Берии не оправдались. Однако он не утратил особого доверия к «профессору» высшей школы...

После того как в ноябре тридцать седьмого «тройкой» НКВД Грузии, находившейся в полной зависимости от Берии, был уничтожен брат Серго — Папулия, на воле оставался младший из братьев — Константин. Теперь дошла очередь и до него. По личному указанию Берии, осуществленному Кобуловым, Меркуловым и Влодзимирским, в мае 1941 года был арестован и Константин Константинович Орджоникидзе, скромно работавший в Управлении гидрометеослужбы при СНК СССР. Его бросили во Внутреннюю лубянскую тюрьму. Выпытывать у него было практически нечего. В то время, когда происходили особо тревожившие Берию события, Константин был еще слишком юн и к тому же находился вдали от Баку. Но все же в семье он мог кое-что слышать... Поэтому главная задача состояла в том, чтобы изолировать его от внешнего мира. Почти восемь месяцев арестанта с именитой фамилией вообще не вызывали на допросы.

Лишь 4 января 1942 года, вернувшись из Куйбыше-

ва после казни военачальников и завершив заслуженный отдых, Родос предъявил Константину Орджоникидзе обвинение в контрреволюционной агитации и причастности к какой-то террористической группе. Обвиняемый все отрицал, и Родос, получивший указание не тратить силы попусту, оставил подследственного еще на полгода размышлять над незавидной своей судьбой. 16 июля 1942 года Родос провел второй вялый допрос, после чего о К. Орджоникидзе забыли теперь уже более чем на два года! «Я спрашивал Берию, — объяснял на следствии Родос, — как же быть с Орджоникидзе? Ведь против него совершенно ничего нет». Берия ответил: «Надо держать под стражей. Есть особые соображения. Я решил найти ему статью». 4 августа 1944 г. К. Орджоникидзе в третий и последний раз встретился с Родосом, который сообщил ему, что он вовсе не контрреволюционер, но все равно преступник, поскольку при обыске у него было обнаружено незарегистрированное ружье. 26 августа того же года Особое совещание заочно осудило К. Орджоникидзе на 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание его отправили в одиночную камеру Владимирской тюрьмы.

Выйти на свободу Константину Орджоникидзе никак не светило. Едва истек его тюремный срок, Особое совещание тут же осудило брата Серго за то же самое — не хватило фантазии сочинить что-то другое! — уже на десять лет. Этот срок истекал в 1956 году, но и в наступающей агонии пятьдесят третьего Берия не забыл своего врага (которым сам Константин, возможно, и не был) — добавил ему третьим постановлением Особого совещания еще пять лет! К. Орджоникидзе освобожден и реабилитирован 1 сентября 1953 года, когда его мучитель был еще жив.

Родоса в это время уже не было на службе в доблестных «органах», но свою роль по искоренению не только семьи — всего окружения Г. К. Орджоникидзе он выполнил. Именно Родос по указанию Берии «работал» с бывшим секретарем Серго — Маховером, из которого выколачивал «признания», компрометировавшие его шефа, а главное — имена всех, с кем тот сколько-нибудь близко общался. Такая же участь (и тоже с участием Родоса) постигла и другого сотрудника Г. К. Орджоникидзе — Фарадж-заде.

Шварцман уже два года пребывал в тюрьме, когда дошла очередь и до его дружка. Тот пробовал отсидеться в своем симферопольском далеке, спасая посетителей телеграфа от предстоящих налетов вражеской авиации, но ничего не вышло. Крутилось вовсю, с немыслимой и, пожалуй, излишней (хоть и вполне объяснимой) поспешностью дело Берии, а там уж фамилия «Родос» встречалась на каждом шагу. 5 октября 1953 г. Родоса арестовали и препроводили в Москву. За два с половиной года, которые отделяли его от конца, Родосу не раз пришлось увидеть — глаза в глаза — своих недобитых жертв. Возродившиеся из пепла, они, падая в обморок и хватаясь за сердце, рассказали о пытках, которым подверглись. Снова подтвердилась бесспорная истина: нет такой тайны, которая когда-нибудь не будет раскрыта. Когда-нибудь... Ибо протоколы с их показаниями еще тридцать пять лет хранились под грифом «совершенно секретно». И гриф этот никем не снят до сих пор, хотя за его раскрытие уже никого не сажают: еще один бредовый абсурд нашей жизни.

Когда все это дело — все двенадцать томов — будет опубликовано, мы получим поразительный и страшный обличительный документ, насыщенный несколько однообразной, но весьма содержательной информацией. Пока же я извлеку оттуда еще лишь один эпизод.

Поскольку «вредительством» были охвачены все без исключения регионы страны, волна «разоблачений» охватила и Узбекистан. Вместе с руководителями республики Акмалем Икрамовым и Файзуллой Ходжаевым были арестованы и уничтожены еще тысячи других безвинных жертв. Этот смерч, пошедший было на убыль в конце тридцать восьмого, уже полгода спустя возобновился с новой силой. 3 июня 1939 г. по распоряжению Берии, которого продолжали считать гуманистом и благодетелем, избавившим страну от ужаса ежовщины, был арестован помощник первого секретаря республиканского ЦК, депутат Верховного Совета СССР А. Пижурин. Заполучив от него после пыток имена «заговорщиков», начали массовые аресты.

Второй секретарь ЦК компартии республики Василий Чимбуров написал письмо Сталину, умоляя его

вмешаться и не допустить расправы, которую чинит НКВД, преследуя ни в чем не повинных людей. Письмо, разумеется, попало к Берии, и Чимбуров в январе сорокового года отправился вслед за Пижуриным. Оба «вредителя» попали в руки Родоса, а уж он-то, как известно, добывал все, что хотел.

Чего же он хотел, или, точнее, чего хотели те, чью волю он исполнял? Ради этого я и извлек из многотомного дела эпизод, похожий как две капли воды на все остальные. Все усилия Родоса направлены были на то, чтобы получить материалы против избранных Берией новых жертв. Именно Берией, ибо сам нарком приходил на помощь своему любимцу, который снисходил до работы простого «забойщика», чтобы вместе с ним как можно скорее заполучить нужные ему имена! А имена была такие: Лазарь Каганович, Андрей Андреев и Усман Юсупов — новый, после казненного Акмаля Икрамова, первый секретарь ЦК Узбекистана. Совершенно очевидно, что это не было мимолетной прихотью Берии и тем менее самовольством Родоса: заполучить «данные» именно против этих ближайших соратников вождя и учителя самые преданные Берии люди пытались и по другим делам. В частности, тот же Родос в содружестве со следователем Тангиевым по делу руководства Кабардино-Балкарии яростно требовал обличений А. А. Андреева, который возглавлял тогда Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б). Мы знаем цену этой «совести партии», но, как бы там ни было, КПК и тогда была все же органом, имевшим право на партийную проверку персональных дел коммунистов, то есть как бы на параллельное следствие, что для Берии было совершенно некстати, сколь бы ручным Андреев ни был и сколь бы сам он ни чувствовал себя могучим под надежной защитой отца народов.

От измученного Пижурина желанных показаний Родос добился, но, как мы знаем, ни Л. М. Каганович, ни А. А. Андреев, ни даже У. Ю. Юсупов, которого Константин Симонов в одном из писем с чрезмерной восторженностью называет «замечательным человеком», от Берии не пострадали. Сами-то они знали хотя бы, какой материал на них заготовлен впрок и ждет своего часа в секретных сейфах? Допускали наверняка...

В. И. Чимбуров выжил в ГУЛАГе и давал показания на суде над Родосом. Он-то и рассказал, не упуская красноречивых подробностей, как нарком со своим подручным неистовствовали, добиваясь компромата на двух членов политбюро и первого секретаря ЦК союзной республики. Пижурин такие показания сначала дал, потом отказался, а Чимбуров выстоял, несмотря ни на что. «Родос говорил, — показывал Чимбуров следствию и суду в 1956 г., — что я хуже фашиста, что я дискредитирую органы, а главное, что покрываю таких отъявленных врагов народа, как Каганович и Андреев. Я был убежден, что они уже арестованы, как и Юсупов... Поскольку я отказывался, Родос мне сказал один раз, что мы, то есть НКВД; можем взять любые показания у человека в сером пальто с улицы, но нам такие показания нужны именно от вас. Дайте показания, что Юсупов руководитель контрреволюционной группы, центр которой находится в Москве, где переворот готовят Каганович и Андреев».

Не будем ломать голову над тем, почему Юсупов из Ташкента должен руководить какой-то группой в Москве, где у него чуть ли не на побегушках члены политбюро. Логику этих сюжетчиков мы все равно никогда не поймем, да и не было там никакой, даже палаческой логики. Просто Чимбуров был вторым после Юсупова, и, стало быть, в центре его показаний Юсупову и надлежало быть. Главное — добыть показания, а тогда бы умельцы как-нибудь «обобщили»...

«22 июня 1941 г., — продолжал Чимбуров, — всех арестантов Бутырской тюрьмы привели в церковь, где находился сборный пункт для эвакуации. Там я встретил и Пижурина. Я знал, что он поначалу сломался, и был зол на него за оговор. Он поднял руки, открыл рот, и я увидел, что у него выбиты зубы, осталось только два сломанных. «Кто?» — успел я спросить. Он ответил: «Родос и Матевосов». Встретил я тогда в церкви и других избитых и изувеченных по нашему делу. Как я понял, у них добивались того же, что и у меня».

Эти показания Родос слушал, сидя на скамье подсудимых, и по сути (по фактам!) не возражал. Не возражал и тогда, когда бывший его коллега (тоже отменный палач) А. М. Марисов рассказал, как по другим делам Родос терзал арестованных, требуя от

них «признания», что Жданов «стоит во главе шпионской банды». Чувствуется направляющая рука Маленкова, а стало быть, и Лаврентия Павловича. На вопрос суда, с какой целью Родос добивался таких показаний, подсудимый ответил кратко и внятно: «Такова была воля партии». Вот уж поистине: ни убавить, ни прибавить...

Из всего полчища истязателей и палачей один лишь Родос удостоился чести стать персонажем истории, попав в секретный доклад Хрущева на XX съезде КПСС — в это первое официальное разоблачение сталинизма.

«Недавно, всего за несколько дней до настоящего съезда, — докладывал Хрущев, — мы вызвали на заседание Президиума ЦК и допросили следователя Родоса, который в свое время вел следствие и допрашивал Косиора, Чубаря и Косарева. Это — никчемный человек, с куриным кругозором, в моральном отношении буквально выродок. И вот такой человек определял судьбу известных деятелей партии, определял и политику в этих вопросах, потому что, доказывая их «преступность», он тем самым давал материал для крупных политических выводов.

Спрашивается, разве мог такой человек сам, своим разумом повести следствие так, чтобы доказать виновность таких людей, как Косиор и другие? Нет, он не мог много сделать без соответствующих указаний. На заседании Президиума ЦК он нам так и заявил: «Мне сказали, что Косиор и Чубарь являются врагами народа, поэтому я как следователь должен был вытащить из них признание, что они враги».

Этого он мог добиться только путем длительных истязаний, что он и делал, получая подробный инструктаж от Берии. Следует сказать, что на заседании Президиума ЦК Родос цинично заявил: «Я считал, что выполняю поручение партии». Вот как выполнялось на практике указание Сталина о применении к заключенным методов физического воздействия».

Этот доклад Хрущев произносил как раз в тот день, когда заканчивался суд над Родосом. Он начался 21-го и завершился 26 февраля 1956 г. Процесс был закрытым, но шел уже не в «упрощенном» порядке по сталинским процессуальным нормам, а с участием обвинителя (Лев Смирнов, будущий председатель Вер-

ховного суда СССР) и защитника (адвокат Николай Рогов). Подсудимый не был отрезан от внешнего мира, он знал, что в эти дни проходит съезд, хотя не мог и предположить, что именно на нем войдет в историю. В последнем слове он обратился к судьям с таким призывом: «В честь величайшего события в жизни советского народа — XX съезда Коммунистической партии — прошу проявить милосердие... и дать мне возможность искупить вину перед народом честным самоотверженным трудом». Он просил учесть «как фактор, смягчающий ответственность», что с 1931 года был секретным осведомителем ОГПУ — НКВД, «ведя таким образом посильную борьбу с врагами народа». И учесть еще положительные характеристики и аттестации, в изобилий приобщенные к делу по ходатайству защиты. Под этими «документами» подписи таких столпов бериевского ведомства, как Кобулов и Влодзимирский, — на основании таких аттестаций и впрямь надо бы не судить, а ставить прижизненный монумент: «К порученной работе относится добросовестно... Добросовестно подходит к выполнению порученных ему заданий... Неоднократно успешно выполнял серьезные задания руководства». В чем состояла его добросовестность и какими были серьезные задания руководства, нам хорошо известно.

Но одна загадка осталась. На суде было в точности установлено, что уже в 1939 г. Родос доподлинно знал от своих подследственных: Берия принадлежал к контрразведке мусаватистов и повинен в провале (в том числе со смертельным исходом) многих большевиков. И Берия не мог не знать, что тот это знает... А осведомленных Берия уничтожал беспощадно. Даже только по подозрению, что осведомлен. Что мог от кого-то что-то узнать. Родоса же, вышвырнутого на свалку и, значит, затаившего обиду, Родоса, которого он — все еще могучий и способный спасти, но не спасший, — его он оставил. Какой грандиозный сюжет: всеми забытый сторож провинциального телеграфа (ибо кем же еще по сути является «начальник ПВО объекта»?) лично причастен к умерщвлению руководителей государства и владеет сверхважной государственной тайной. Озлобленный, но дрожащий от страха... Можно представить себе, чем он владел, если накануне XX съезда, когда еще благополучно здрав-

ствуют десятки прямых участников террора, на заседание Президиума ЦК (то есть политбюро) вызывают только его. Только его!

Неужели Берия просто забыл о слишком осведомленном бывшем сотруднике? Или к тому времени уже не обладал достаточной властью для расправы со своими врагами? Или, зная трусливую душу низвергнутого палача, не видел в нем никакой опасности? А может быть, просто рассчитывал, что тот еще будет полезен? Так или иначе, в жалости он не замечен, обычной благодарностью за оказанные услуги столь опрометчивую пощаду объяснить нельзя. Все, кто владел этой тайной, последовательно уничтожались. Тем более — сотрудники «органов». Вспомним судьбу отца и сына Кедровых, судьбу Голубева, судьбу следователя П. И. Церпенто (о нем я рассказал в журнале «Театр» 1991 г. № 3) и многих других. Родос явился исключением, и этим тоже заслужил право на особое место в чудовищной галерее палачей двадцатого века.

«Жестокость и изуверство Родоса» (дословная цитата из приговора Военной коллегии Верховного суда СССР) привели к закономерному (но далеко-далеко не всех постигшему) финалу. Смертный приговор обжалованию не подлежал, но ходатайство о помиловании, которое подал Родос, рассматривал Президиум Верховного Совета СССР. 17 апреля 1956 г. — за подписью Ворошилова — оно было отклонено.

Насчет закономерного финала... Известно, что с приходом Берии к руководству наркоматом внутренних дел была проведена довольно крупная чистка в этом ведомстве, результатом которой явились арест и казнь многих непосредственных участников террора. Перечислить всех не берусь, назову лишь некоторых, начиная с Ежова: Михаил Фриновский, Леонид Заковский, Николай Николаев-Журид, Зиновий Ушаков-Ушимирский, Исаак Шапиро, Алексей Наседкин, Борис Берман, Матвей Берман и многие другие.[1] «Своих»

[1] Из всех, кого отдали на заклание под этот нож (1937—39 гг.), сумел избежать его только один: Генрих Люшков. Это имя связано со множеством самых громких дел, по которым он в составе других палачей вел так называемое следствие (в частности, и с делом Зиновьева). Вакханалия перемещений, происходивших в НКВД по-

Лубянка в изобилии уничтожала и раньше — при Ягоде и особенно при Ежове. Вспомним Якова Агранова, Романа Пиляра, Станислава Реденса, Карла Паукера, Георгия Прокофьева, Льва Миронова, Георгия Молчанова, Израиля Леплевского, Марка Гая и других, не столь знаменитых. Но то было «просто» уничтожение мавров, сделавших свое дело, — опасных свидетелей чудовищных злодеяний. Всем им вменяли в вину тот же вздор, который они сами еще вчера вменяли другим: шпионаж, диверсии, мифические контрреволюционные группы, антисоветскую пропаганду. А некоторым вообще ничего не вменяли — ликвидировали испытанным способом, как это, к примеру, сделал (не по своей разумеется, инициативе) Фриновский с Абрамом Слуцким, руководившим уничтожением «отступников» за границей: пригласил в свой служебный кабинет и угостил печеньем, начиненным цианистым калием.

Чистка энкаведистов, начавшаяся в самом конце тридцать восьмого и продолжавшаяся весь тридцать девятый год, существенно отличалась от предыдущих одним обстоятельством. Арестованным вменяли в вину их подлинные, а не мнимые преступления. Их об-

---

сле убийства Кирова, вынесла его на пост заместителя начальника Секретного политического отдела ГУГБ НКВД (начальником был Г. А. Молчанов). В июле 1938 г. он получил личное указание Сталина возглавить все силы НКВД на Дальнем Востоке, в том числе и пограничные войска. Он начал с того, что арестовал своего предшественника (продержался на этом посту лишь 2 месяца) В. А. Балицкого, выселил в Среднюю Азию сотни тысяч корейцев, перестрелял десятки своих сотрудников. И тут вдруг нагрянули из Москвы с «инспекционной» целью Лев Мехлис и Михаил Фриновский. Поняв, что к чему, Люшков перешел границу Маньчжурии и сдался японцам. Он выдал множество важных государственных тайн, служил советником японских спецслужб и был пристрелен лишь семь лет спустя — через несколько дней после того, как на территорию Маньчжурии вступила Советская Армия (август 1945 г). В донесениях Рихарда Зорге есть немало сведений о плодотворной деятельности этого крупного чекиста. Существует версия, что он был специально подосланным Сталиным дезинформатором. Она основывается, в частности, на том, что Сталин, уничтожая всех крупных перебежчиков, не сделал даже попытки добраться до Люшкова. Однако, скорее всего, для этого просто не было подходящих условий: Япония не Европа... Если бы действительно Г. С. Люшков был кем-то вроде «Зорге № 2», мы бы давно об этом узнали. О нем на Западе есть обширная литература. Загадочной биографией этой личности занимались американские ученые Эльвин Кукс и Джон Стефан.

виняли в фальсификации дел и истреблении невиновных людей. Получалось, правда, что фальсификацию и истребление они сами задумали и сами осуществили. Без указаний свыше, без чьей-либо помощи, без ревностного сотрудничества с прокурорами и тем более судьями. И, однако же, они не просто получили поделом, но и **по делу:** то есть за то, в чем действительно были виновны.

Но самое поразительное заключается все же в другом — и это представляет собой до сих пор не раскрытую, не освещенную со всех сторон, тайну. Протоколы допросов привлеченных к ответственности энкаведистов высокого ранга содержат подробные и убедительные факты, свидетельствующие о заведомой и безусловной невиновности уничтоженных ими людей. Собственно, — повторю снова — именно за это они были привлечены к ответственности и расстреляны. Однако осуждение и казнь фальсификаторов отнюдь не привели к реабилитации невинно осужденных, хотя бы посмертной. Особенно загадочным все это выглядит, когда читаешь показания Фриновского, Ушакова и других относительно расправы над военными «заговорщиками».

Уже тогда, в 1939—1940 гг., протоколы допросов преступных следователей зафиксировали их подробные рассказы о том, что члены Специального Судебного Присутствия, отправившие на смерть Тухачевского и других военных, а вскоре после этого разделившие их участь, — что они ни в чем не виновны. Из этих протоколов с совершенной непреложностью вытекает: следователи, допрашивавшие своих вчерашних коллег, **целенаправленно** стремились получить показания о фальсификации дел маршала Александра Егорова, командармов Якова Алксниса, Павла Дыбенко, Николая Каширина. И получили! Сами фальсификаторы за это были расстреляны, а те, кого они оболгали, продолжали считаться врагами народа. Еще поразительней то, что относится к Яну Гамарнику. Как известно, этот видный военный деятель — заместитель наркома обороны и начальник Политического управления Красной Армии — покончил с собой, не дожидаясь неминуемого ареста, и тут же был объявлен в приказе наркома Ворошилова предателем и трусом, а в официаль-

ном сообщении ТАСС — запутавшимся в своих шпионских связях изменником родины.

Изучавший в пятидесятые годы дела безвинно погибших тогдашний заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант юстиции Борис Викторов утверждает: уже в 1939 г., при расследовании дела изувера Ушакова-Ушимирского, «было установлено, что показания о причастности Гамарника к «военному заговору» получены незаконными методами для придания самоубийству Гамарника иной, чем в действительности, причины». Было установлено... Но Гамарник, как был «предательской падалью, лакейски служившей капитализму» (цитата из приказа наркома обороны СССР Ворошилова № 96 от 12 июня 1937 г.), так и остался таковым до августа 1955 г.

Я понимаю, что логику и здравый смысл искать у организаторов Большого Террора бесполезно. Здравый — да, но **какой-то** смысл, обусловленный политиканскими, карьерными, корыстными и прочими причинами, — какой-то все-таки был. Но тут я его не вижу. Скорее всего потому, что не располагаю достаточным количеством документов, где-то еще хранящихся и содержащих в себе пусть не прямые, но доступные расшифровке ответы на эти вопросы. Может быть, как и «разоблачительные» материалы против Кагановича, Андреева и прочих соратников великого Сталина, эти тоже готовились впрок — на случай, если поступит команда, и для временно торжествующих наступит черный день Икс, а для навеки уничтоженных — светлый день возвращения из небытия? Может быть, готовилось уже и это? Уже тогда... То, что успел Берия осуществить с поистине лихорадочной поспешностью между мартом и июнем 1953 г., позволяет, мне кажется, выдвинуть и такую гипотезу.

Завершу небольшую галерею палачей, представленных в этом очерке, портретом еще одного достойного товарища, имеющего право претендовать и на более подробный рассказ. Его зовут Александр Иванович Лангфанг (в газете «Советская культура» от 1 октября 1988 г. и в «Московских новостях» от 8 мая того же года, где он бегло упоминается, его фамилия неправильно воспроизведена без буквы «г» в середине: Лан-

фанг). Один из его коллег рассказывал впоследствии, что на «работе» его называли «колуном» — так ловко он умел «раскалывать» арестованных, понуждая их подписать нужные признания.

Этот «колун» попал в фокус нашего внимания потому, что оказался одним из очень немногих палачей, привлеченных к уголовной ответственности за свои злодеяния. Конечно, он сел на скамью подсудимых по праву, но почему же все-таки он, а не десятки, не сотни других, таких же, как он, и, если по правде, мало чем от него отличавшихся? Кстати, он сам задавал тот же вопрос, но кто ему мог бы ответить? Одного настигла расплата, других — нет: лотерея!.. И потому юстиция не кажется справедливостью, хотя по содержанию это слова-синонимы.

Теперь уже поздно — давность прошла, да и некого привлекать, разве что одряхлевших реликтов, доживающих свои дни. А тогда, в середине пятидесятых, почти все были не просто живы-здоровы, но преисполнены энергичной ностальгии по прошлому. Точнее — реванша. Ибо возможность расплаты казалась реальной. Одни затаились, другие огрызались. Лангфанг относился к «другим».

Как и у всех остальных палачей, у него было блестящее анкетное прошлое. Обратим внимание: до чего же оно у них совпадает! Люмпенское происхождение (по большевистской терминологии —пролетарское), полная необразованность, безграмотность, темнота, отсутствие каких бы то ни было профессиональных (о нравственных не говорю) качеств, то есть, иначе сказать, отсутствие специальности, комсомольско-партийное выдвижение и, наконец, самое вожделенное: власть над людьми. Почему в таком случае нас удивляет их беспрекословное подчинение начальству и готовность на все? Поражающая мир звериная жестокость так называемых следователей существовала не сама по себе, а как непременный элемент этой готовности: раз она требовалась для того, чтобы выжить, удержаться, а может быть, и подняться еще выше, то почему бы и нет? Аппетит приходил во время еды: как у всякого животного, вид крови вызывал потребность пролить ее больше, больше, больше, отступать было некуда — только вперед! Чернь мстила за то, что она чернь, издеваться над тем, кто выше в каком бы то ни

было отношении, издеваться, когда это не только обязанность, но и право, доставляло отраду и возвышало в своих же глазах.

Вот послужной список Лангфанга: образование три класса; чернорабочий, бетонщик, слесарь — без прохождения каких бы то ни было курсов. В 18 лет становится членом партии, призывается в армию, где сразу же находит себя в роли **освобожденного** партработника. Причем (любопытно!) в дивизионной партийной контрольной комиссии, или, попросту говоря, партийном трибунале. Возвращается на «гражданку» — и прямым ходом в ГПУ. А попал туда так: ища подходящее место, встретил случайно своего приятеля по комсомольскому прошлому — Иоганна Ильича Шнейдермана, который со своим четырехклассным образованием уже успешно блюл нашу госбезопасность. Тот и дал ему добрый совет.

Кандидатам в чекисты полагалось представить надежные характеристики. Одну дала старая большевичка О. В. Спандарян, вдова умершего еще до революции Сурена Спандаряна, входившего одно время в состав ЦК: с этой семьей по боковой линии (через сестру) Лангфанг состоял в отдаленных родственных отношениях. Вторую — Нина Рыкова, жена только что переставшего быть главой правительства, но все еще члена ЦК Алексея Рыкова: теперь она работала заведующей отделом здравоохранения одного из районов Москвы, но некогда состояла с юным Лангфангом в общей парторганизации Краснохолмского текстильного комбината. Пикантная и красноречивая подробность: даже **такая** рекомендация никак не пошатнула положение Лангфанга ни в тридцать седьмом, ни позже.

До поры до времени Лангфанг набирался скромного опыта, пребывая на рядовой «оперативной» работе. Он назвал впоследствии эти годы своими «университетами», что, видимо, означало: успел уже прочесть соответствующее сочинение великого пролетарского писателя или хотя бы услышать о нем. А дальше происходит самый характерный для тех лет, самый типичный и обычный прыжок: метла, вычистившая старых чекистов, освободила места для новых, причем не на нижних этажах, а на верхних. Перескочив сразу через несколько ступенек, Лангфанг, которому только что исполнилось тридцать лет, стал заместителем на-

чальника отделения по следствию в отделе (сейчас сказали бы: в управлении) контрразведки. Он «курировал» (этот безобидный и престижный термин проходит через все его последующие показания на следствии и суде) наркомат иностранных дел, Коминтерн и другие международные организации. Не будем сильно преувеличивать интеллектуальный уровень тогдашнего состава этих ведомств, но в сравнении с «куратором» там работали поистине титаны мысли и культуртрегеры большого размаха. Именно он, Лангфанг, партийный чернорабочий с неограниченными чекистскими полномочиями, следил за их политическим благонравием, определял степень доверия, право на пост, на работу, на жизнь. Они же и оказались его «клиентами», когда волна террора докатилась до них.

Здесь мы прервем рассказ об одной карьере и остановимся на деле, которое, в сущности, и вывело весьма обычного палача из общего ряда, приковав к себе наше внимание. Оно, это дело, возникло в 1937 г., явившись частью грандиозного, безумного, так и не осуществленного замысла. В чем он состоял — вполне очевидно, но кому и зачем был нужен, остается (по крайней мере, для меня) уравнением со многими неизвестными. Постараемся, однако, реконструировать доступную нам мозаику, ибо ее составными являются хорошо известные и по сей день имена.

25 июня 1937 г. (по другим сведениям 24 июня) на очередном Пленуме ЦК Сталин предложил предоставить Ежову чрезвычайные полномочия. Против этого выступил член Центрального Комитета, заведующий политическо-административным отделом ЦК Осип Пятницкий[1], который по долгу службы, конечно, не проверял работу НКВД (тогда это полностью исключалось), но все же кое-что знал о порядках, там сущест-

[1] Видимо, все же это произошло 25 июня. Другая дата содержится в записи, сделанной со слов В. Губермана, который, в свою очередь, воспроизводит рассказ Л. М. Кагановича (Юлия Пятницкая. Дневник жены большевика, 1987, с. 170). Автор этих «двухступенчатых» мемуаров утверждает, что свое предложение Сталин внес, требуя санкции на расстрел Бухарина и его «группы», тогда как О. Пятницкий предложил всего лишь исключить их из партии. Между тем еще на предыдущем пленуме ЦК, 27 февраля 1937 г., по предложению Сталина Бухарин и Рыков были исключены из партии и «материалы переданы в НКВД». Членом комиссии по делу Бухарина и Рыкова О. Пятницкий не был и в обсуждении этого вопроса не участвовал.

вовавших. Был объявлен перерыв, после которого Ежов неожиданно взял слово и объявил, что у НКВД имеются материалы против Пятницкого, которые будут представлены. Пленум дал Пятницкому две недели для опровержения этих утверждений.

Далее в опубликованных источниках снова имеются расхождения — определить, какая из версий точнее, представляется очень важным. Тот же автор со слов Л. Кагановича утверждает, что Ежов обвинил Пятницкого в принадлежности к царской охранке, назвал его полицейским провокатором и предложил выразить ему политическое недоверие. Между тем, такое обвинение Пятницкому никогда не предъявлялось. Его нет и в материалах позднейшей реабилитации. Более точным представляется сообщение сына О. А. Пятницкого — Игоря — со слов Е. Д. Стасовой (которая, правда, не входила в состав ЦК, и нет доказательств ее присутствия на Пленуме) о том, что «Ежов обвинил отца в принадлежности к троцкизму». Он тем более мог это сделать, что к тому времени НКВД располагал уже **многочисленными** (ясно, каким путем полученными) показаниями о «вражеской» деятельности Пятницкого. Своим открытым, мужественным и честным выступлением он лишь ускорил свой арест и облегчил Ежову его задачу.

Вопрос, требующий ответа: была ли то **его** задача? Или он решал ту, которую перед ним кто-то поставил? Это очень важный вопрос, ибо сейчас мы поймем, что речь идет отнюдь не об очередном аресте пусть даже весьма высокопоставленного партийного деятеля. На этот раз замах Ежова был куда более дальним и всеохватным.

В течение тринадцати лет, до 1935 года, Пятницкий был секретарем Исполкома Коминтерна. Объектом ежовского внимания он оказался именно в этом качестве. К тому времени под арестом находилась уже большая группа коминтерновцев, в том числе и руководящие деятели этой некогда могучей и до сих пор плохо известной нам организации. За два или три дня до выступления Пятницкого чуть ли не прямо с заседания пленума был взят член ЦК Вильгельм Кнорин (подлинная — латышская — фамилия: Кнориньш), до 1935 года, то есть до VII Конгресса Коминтерна, член его исполкома. Несколькими днями раньше был аре-

стован Бела Кун, один из создателей Венгерской компартии, занимавший посты наркома иностранных дел и наркома по военным делам Венгерской советской республики (1919 г.), впоследствии член исполкома Коминтерна. К тому времени уже были арестованы и другие видные деятели Исполкома, в частности Борис Мельников, руководящий службой связи с зарубежными центрами. Кольцо вокруг Пятницкого сжималось, и он не мог не понимать, что «ежовая рукавица» подбирается и к нему.

Теперь мы знаем, что все эти жертвы полностью сдались не сразу, но первые «признания» сделали довольно быстро. Во всяком случае, имя Пятницкого к тому времени, когда он отважился на отчаянный шаг, многократно фигурировало в «собственноручных объяснениях» и следственных протоколах. На очных ставках, которые ему дали за две недели пребывания под домашним арестом, Пятницкому уже пришлось отбиваться от несчастных своих обличителей. Добывание «улик» осуществлялось под руководством Лангфанга и практически — в основном — им самим. Именно этого безграмотного садиста и бросили на разгром Коминтерна.

В сколько-нибудь нормальном поединке что мог поделать этот тупица с людьми достаточно высокой эрудиции, оснащенными теоретически, преданными определенной (правильной или нет, вопрос другой) идее? Но никакого нормального поединка не было и быть не могло. Сопоставляя даты, можно сказать, что уже в начале тридцать седьмого года возник замысел разгромить все руководство Коминтерна и обезглавить входящие в него на правах секций зарубежные компартии. Вероятнее всего, причиной этой дикой акции послужило отнюдь не желание Сталина сделать приятное «империализму» и «мировой реакции» (разгром Коминтерна эту самую «мировую реакцию» мог лишь обрадовать), а его страх перед влиянием Троцкого на умы зарубежных коммунистов. Убедить его в том, что во всех «братских» партиях кишмя кишат троцкисты, а не сталинисты, не составляло никакого труда.

Мы легко поймем, что творилось в чекистских казематах при «раскрутке» этого дела, обратившись к судьбе лишь одного из тех, кто стал жертвой Лангфанга. 5 декабря 1937 года, когда большинство коминтер-

новцев, измученных пытками, обреченно сдались своим палачам, а Пятницкий все еще героически сопротивлялся, был арестован Ян Анвельт, бывший председатель Совнаркома Эстонии — Эстляндской трудовой коммуны (1918—1919 гг.). На VII конгрессе Коминтерна (1935 г.) он был избран ответственным секретарем Интернациональной контрольной комиссии (то есть международного КПК). Отвергнув обвинение в шпионаже, терроре и контрреволюционном заговоре, он тут же (обычно с этим не спешили) был препровожден в Лефортовскую тюрьму.[1]

Эту тюрьму создали специально для тех, кто не поддавался «обычному» воздействию: угрозам, шантажу, брани. Направляли туда только по распоряжению большого начальства и обычно всего лишь на несколько дней. В сущности, это была не тюрьма, а камера пыток. Только здесь следователям разрешалось вовсю использовать свою фантазию, изобретая и реализуя любые виды «воздействия». Фантазия, правда, была куцей: били сапогами, ремнями, резиновыми дубинками (лубянские юмористы называли их «вопросниками»), ножками стульев... В Лефортове была специальная должность «надзирателя по ремонту»: занимавший ее Степан Новичков давал в 1958 г. показания — в его обязанности входило «восстанавливать стены и пол, пострадавшие во время допроса», чинить искалеченные стулья, смывать или соскабливать кровь... Заключенные значились здесь не под фамилиями, а под номерами, «наполняемость» Лефортова колебалась от 150 до 500 человек. «Один только факт перевода в Лефортово, — показывал суду в том же, пятьдесят восьмом, бывший «сотрудник» тюрьмы Константин Зильберман, автор учебника (!) «Тюремное дело», — оказывал угнетающее психологическое воздействие на арестованного. Он знал, что его здесь ждет... Отовсюду неслись стоны и крики, иногда даже

[1] Среди жертв Лангфанга и его команды был и заведущий отделом кадров исполкома Коминтерна, член партии с 1917 г. Геворк Саркисович Алиханов — отец Елены Боннэр. Как и почти все арестованные коминтерновцы, он категорически отрицал предъявленные ему обвинения и отказывался клеветать на невиновных, пока не был сломлен «Лефортовкой» и всем тем, что происходило в ее стенах.

специально подготовленные, чтобы запугать арестованного перед предстоящим ему допросом...»

Вот на эту живодерню и доставили Анвельта почти сразу же после ареста: из-за упорства Пятницкого следствие забуксовало, нужны были новые признания. Разъяренный после начальственного разноса («сколько можно возиться с этими коминтерновцами?!») и хорошо знавший, что в любую минуту может сам оказаться «клиентом» более удачливого коллеги, Лангфанг набросился на Анвельта с такой жестокостью, которая превосходила все, чем он прославился в своем ведомстве до сих пор. Избиения продолжались пять часов — Анвельт не сдавался. В три часа дня пришлось вызвать врача.[1] В девять вечера Анвельта не стало. Это случилось уже на шестой день после ареста — 11 декабря 1937 г. В рапорте было указано: «остановка сердца». На самом же деле он был убит. Подлинную причину смерти в таких случаях указывать запрещалось, но соответствующая терминология, хорошо понятная всем посвященным, была заранее предусмотрена. Лангфанга как следует взгрели — на него орал сам Кобулов. За то, что убил человека? Нет, за то, что «неумелыми действиями помешал раскрытию опасного государственного преступления».

Следствие продолжалось в ускоренном темпе. Теперь каждый запирающийся был уже просто личным врагом своего следователя. Лангфанг сам начинал уставать — многочасовые избиения, оказывается, тре-

[1] Этим врачом с начала 1937 г. по 31 января 1939 г. была Анна Анатольевна Розенблюм, которую немногочисленные узники Лефортова, дожившие до «оттепелн», называлн «светлым ангелом в аду». Она делала все, чтобы как-то облегчить страдания нзувеченных, поддержать нх. Выходила Бетала Калмыкова, чтобы он смог погибнуть не от дубнны, а от пули палача. Оказывала помощь Васнлию Блюхеру. Лечила наркома торговли Израня Вейцера, мужа известного режнссера Наталин Сац. И еще многнх других. Ей прншлось констатнровать 49 смертей погнбшнх **прямо** от пыток — в кабинетах следователей, нли вынесенных оттуда на носилках. Увидев однажды ее слезы, зловещий Заковский сказал: «Вы нх не жалейте, если бы мы к ним попалн, они бы с намн еще не то сделалн». Не за этн ли слезы ее арестовали? Во всяком случае, она счнталась опасной преступницей: ее допрашивал сам Родос! Допрашивал? Нет, топтал сапогами, заставнв «прнзнаться»: она — польская шпнонка. Осужденная на 15 лет лагерей, А. А. Розенблюм выжила и давала показання на всех — увы, немногих — процессах палачей, которые прошли в пятидесятые годы. После ГУЛАГа и до выхода на пенсию она работала врачом санчасти Миннстерства связи СССР.

буют богатырского здоровья и от истязателя. В помощь Лангфангу дали несколько новых «забойщиков» — Василия Фомичева, Николая Романова, Виктора Ширманова, Даниила Есипенко, Григория Власова, Ивана Чижова и других. Работа пошла живее. Кнорин, «обработанный» в Лефортове, по нескольку раз переписывал «свои» показания»: где-то в верхах все время менялся замысел — если не в целом, то хотя бы в деталях. Изувеченный, с перебитыми ногами, но с неповрежденной правой рукой, он печально шутил, отправляясь на очередной допрос: «Иду переписывать историю Коминтерна». Об этом вспоминали его сокамерники, оставшиеся в живых.

Воодушевленный доверием начальства, лишь пожурившего его за убийство Анвельта, Лангфанг с новой силой заработал сапогами, дубинами и ремнем. «Мы били и плакали, плакали и били», — с упоительной искренностью поведал он на суде двадцать лет спустя (дословная цитата из протокола). Упустил он лишь небольшую подробность: били одни, а плакали другие.

В Лефортове выколачивали тогда признания из многих, по самым разным делам, но важнее этого дела, пожалуй, не было. Недаром в тюрьму регулярно приезжали Маленков и Поскребышев, проверяя, как оно движется. Замах-то был даже не на Пятницкого и Кнорина, сколь бы важное место в тогдашней политической структуре они ни занимали. «Ежовые рукавицы» тянулись далеко за пределы страны: готовилось уничтожение тех, кого позже стали называть руководителями братских компартий. Тогда они «проходили» тоже как руководители, но — соответствующих национальных секций Коминтерна.

Трудно в сумбуре следовательских вопросов разглядеть какую-то одну целенаправленную задачу, к решению которой стремились инквизиторы, выполнявшие, в свою очередь, верховную волю. Но, к примеру, совершенно отчетливо прослеживается стремление объявить злодеем номер один руководителя весьма немногочисленных английских коммунистов Гарри Поллита. Это имя вписано чернилами рукой Лангфанга в машинописный текст протоколов допроса, дополняя список врагов. Упорно подчеркивалось, что Гарри Поллит был агентом Интеллидженс сервис. Спасший-

ся от расстрела и доживший до «оттепели» бывший ответственный секретарь журнала «Коммунистический интернационал» Александр Гринберг показывал в качестве свидетеля на процессе Лангфанга: «От меня главным образом требовали компрометирующие материалы против Гарри Поллита. Даже обвинение меня в шпионаже и работе на латвийскую разведку представлялось не столь существенным. Следователи Фомичев и Лангфанг во что бы то ни стало хотели получить от меня показание, что Поллит английский агент, ставивший своей задачей устранение Сталина».

В обширном списке таких «агентов» мы найдем хорошо известные имена. Например, Жака Дюкло, тогда еще члена ЦК французской компартии, впоследствии ее секретаря, второго — после Мориса Тореза — человека в ее руководящей верхушке. Ему приписаны не только «троцкистские взгляды», но и «активные подготовительные действия» для организации покушения на Сталина. По версии следствия, вложенной в уста Пятницкого, Дюкло был завербован в троцкисты-террористы видным деятелем германской компартии и Коминтерна Вилли Мюнценбергом[1] накануне VII кон-

[1] Его, как пишет Роберт Конквест в «Большом терроре», «постигла загадочная судьба». Узнав, что его партайгеноссе Лео Флиг, вызванный в Москву, арестован немедленно по выходе из вагона, Мюнценберг от поездки по такому же вызову, подписанному Георгием Димитровым, уклонился, предпочтя быть интернированным французами как участник гражданской войны в Испании. Однако у Вилли были более веские причины не явиться по вызову. В 1936 г., будучи в Москве, он не стал дожидаться ареста и успел улизнуть с новым фальшивым швейцарским паспортом, поскольку старый у него отобрали в Коминтерне. Уже одно это обрекало его на вполне очевидный конец, так что никакого желания уехать в Москву у него не было. Кроме того, он уже вышел из подчиненной Коминтерну германской компартии и публиковал материалы откровенно антисталинского содержания. Мемуаристы и историки в позднейших публикациях сообщают, что в 1940 г. из-за наступления немецких войск Мюнценберг покинул Париж и, пытаясь перебраться морем в Америку, направился на средиземноморское побережье. Однако в 1940 г. он находился не в Париже, а в лагере для интернированных неподалеку от Гренобля.

Скорее всего, когда возможное приближение немцев побудило охрану лагеря снять заграждения, обладатель швейцарского паспорта пытался скрыться в нейтральной Швейцарии, где он раньше жил и которую хорошо знал. В лесу между Греноблем и Лионом он был убит. Во всяком случае, именно там его изуродованный труп нашли охотники два или три месяца спустя. Так НКВД обычно расправлял-

гресса Коминтерна в 1935 г. Точно такие же показания требовали и от Лидии Паскаль-Дюби, швейцарской коммунистки, работавшей заведующей пунктом связи исполкома Коминтерна в Париже. Сама она была объявлена агентом сразу четырех разведок: французской, швейцарской, немецкой и японской. Дюкло же «работал» на Сюрте насьональ, на Троцкого и на англичан. Видимо, каким-то образом его нужно было «связать» с Гарри Поллитом и другими зарубежными коммунистическими вождями. Замысел явно был нешуточный. На «показаниях» Пятницкого против Дюкло («Мюнценберг мне сказал, что, как только он возвратится в Париж, сразу договорится с Дюкло о совместной троцкистской работе») есть неизвестно кем наложенная резолюция: «выделить дело (!!) о Дюкло в отдельное производство». Дело против иностранного гражданина, живущего в **своей** стране! Впрочем, деятели Интернационала, естественно, не имели национальной принадлежности и числились в Москве «гражданами мирового коммунизма». Точнее, подданными Иосифа...

Нет никакого сомнения в том, что установка собрать материал против руководителей «братских» партий шла с самого верха и доведена до сведения всех «компетентных товарищей». Об этом особенно красноречиво свидетельствует такой факт: уже на «суде» пресловутый Василий Ульрих настойчиво добивался «уточняющих» показаний о шпионаже и предательстве Гарри Поллита от ответственного секретаря журнала «Коммунистический интернационал» Александра Гринберга (тот, как уже отмечено, выжил и давал свидетельские показания в пятидесятые годы). Того же самого, но уже против Георгия Димитрова, Мао Цзэдуна, Чжу Дэ и других добивались судьи от Афанасия Крымова, политического советника секретариата Коминтерна (он тоже выжил и тоже раскрыл «судебную тайну» двадцать лет спустя). Того же — о Дюкло и советских функционерах Коминтерна — требовали от Владимира Алексеева-Железнякова, политического референта этого почтенного органа и по совместительст-

ся со своими перебежчиками, которые выдали тайны Лубянки. По не подтвержденной документально устной версии, убийцами Мюнценберга были польские коммунисты, которых, естественно, постигла впоследствии общая участь.

ву «резидента японской разведки». Целенаправленность очевидна — судьи стремились довести до конца работу своих коллег из следственного аппарата.

Любопытно, что и в 1958 г. Лангфанг продолжал утверждать: Вилли Мюнценберг был «ренегатом», агентом французской разведки, которая ему поручила скомпрометировать Дюкло, чтобы отстранить его от политической деятельности. Но «показания» Пятницкого диктовал ему сам Лангфанг — это он по указанию свыше добивался их от подследственного многие месяцы с помощью жесточайших истязаний. Так что по этой логике французская разведка была в сговоре вовсе не с Мюнценбергом, а с НКВД, устраняя славного Жака с политической сцены Франции руками лубянских чекистов. Устраняла, но не устранила.

Вчитываясь в составленный этими бравыми ребятами список террористов и агентов всех мыслимых разведок, мы обнаружим в нем полный состав тех, кого впоследствии стали называть выдающимися деятелями международного рабочего движения. Здесь и Пальмиро Тольятти, который, оказывается, в сговоре с Зиновьевым задумал произвести кремлевский переворот. Здесь и Клемент Готвальд, Антонин Запотоцкий и Богумир Швераль — руководители чехословацкой компартии, которых почему-то пристегнули к Бухарину: именно с ним они, оказывается, готовили покушение на Сталина и организовывали некие «контрреволюционные троцкистские группы». Здесь и Вильгельм Пик с Вальтером Ульбрихтом — они упоминаются как-то особенно неуважительно, примерно в такой стилистике: «ну, а про этих негодяев и говорить нечего!»[1] Здесь и все руководство китайской компартии: Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Лю Шаоци, Дун Биу, Чжу Дэ и другие. Все они находились тогда в глубокой конспирации и носили псевдонимы (Чжоу Эньлай, к примеру, был

[1] Приведу лишь один пример, наглядно свидетельствующий о том, как фальсификаторы заботились о правдоподобности своих сочинений. Работник исполкома Коммунистического интернационала молодежи Александр Фрумкин «признался»: «Я обработал Ульбрихта в троцкистском духе, и он стал сотрудничать в нашей шпионской группе». Пустяковая неувязка: Ульбрихт был тогда секретарем ЦК, а Фрумкин скромным аппаратчиком. Следствие перепутало, кто кого мог обработать.

«Москвиным», Лю Шаоци — «Лю Сяном», Дун Биу — «Слепцовым» и т.д.). Этот вполне естественный для выполнявшейся ими «работы» на благо мировой революции факт расценивался следствием как доказательство шпионажа в пользу Японии, хотя псевдонимы китайским товарищам дали в Москве, а не в Токио. Наконец, роль координатора всех «братских» шпионов и террористов Лубянка (а может быть, кто и повыше) решила отдать Георгию Димитрову — не как болгарскому коммунисту, а как генеральному секретарю исполкома Коминтерна. Афанасий Крымов, который работал политсекретарем Г. Димитрова, прошел ГУЛАГ, но выжил и во второй половине пятидесятых годов подробно рассказывал следователям и судьям, каких показаний от него домогались. В сочиненном для него сценарии Димитров был назван руководителем шпионского центра Коминтерна, в руках которого сосредоточены все нити заговора.

Естественно, напрашиваются, по меньшей мере, три вопроса: кому и зачем все это было нужно; как практически намеревались сценаристы осуществить свой замысел; наконец, почему они его не осуществили?

Вряд ли правомерно объяснять попытку полностью обезглавить «мировую революцию» всего лишь инерцией Большого Террора. Инерция, несомненно, имела место, лишь на фоне охватившей общество политической истерии и охоты за ведьмами можно было затеять столь безумную и столь масштабную акцию. Но, думается, у нее была и вполне определенная конкретная цель. Для Сталина «братские партии» были не более чем филиалами ВКП(б). Или — еще точнее — несколько отдаленными географически, но все равно составными частями его империи. Поэтому «инфекция», поразившая организм в целом, не могла не проникнуть во все его органы. Если измена повсюду, то как же не быть ей в тех департаментах, где влияние Троцкого, Зиновьева и других «отступников» было особенно сильным, а сами департаменты и их сотрудники обладают хотя бы некоторой независимостью? К загранице, в ком бы она ни персонифицировалась, Сталин всегда относился с повышенным подозрением, сознавая, что образ жизни, среда, воспитание, пресса, наконец, иностранный паспорт в кармане оказывают мощ-

ное и совсем не желанное воздействие даже на са́мого пламенного марксиста.

Осуществить замысел, то есть арестовать и уничтожить коминтерновцев, было тоже не так уж сложно. Обычно они безропотно прибывали в Москву по первому вызову, где с ними поступали, ничуть не считаясь с их иностранными паспортами. Они бесследно исчезали, и, кажется, ни одно посольство не предприняло каких-либо шагов, чтобы установить их местонахождение и справиться о судьбе. Тем более что нередко они приезжали, как заурядные шпионы, — под вымышленными именами и с подложными документами. Конспирация славно работала против них.

Труднее с точностью ответить на третий вопрос: почему замысел не осуществился. Труднее потому, что очевидной логики в решениях, принимавшихся за плотно закрытыми дверьми кремлевских и лубянских кабинетов, никогда не было. Кто может объяснить, почему «компромат», собиравшийся против Андреева, Кагановича, Микояна и сотен других, не столь высоких, так и не сработал? Почему Бабеля казнили, а Эренбургу давали Сталинские премии, хотя они всегда находились в одном и том же списке шпионов? Ясно, что в конце концов все решал один человек, независимо от того, давал ли он прямые указания или жестом, намеком, взглядом, чаще всего молчанием выражал свою волю, которую на лету схватывали исполнители.

Представляется весьма вероятным, что Сталин попросту не решился перемолоть все западные компартии. Конечно, он знал, что никто из их руководства не состоит в шпионах и террористах, а в тотальное влияние на них на всех своего заклятого друга вообще не поверил. Троцкий был прежде всего **идейным** врагом, пойти за ним означало для коммунистических лидеров обречь себя на жизнь, полную лишений, риска и мук, без всякой надежды преуспеть, тогда как остаться при Сталине означало совсем другое: благополучие и комфорт, пристойный имидж и гарантии надежного убежища, если судьба повернется как-то не так. Сталин к тому времени уже хорошо знал нравы этих испытанных борцов за счастье мирового пролетариата и мог не сомневаться в их рабской и безраздельной преданности. Куда легче и полезнее было их окончательно и

полностью приручить, чем отправить в могилу или в ГУЛАГ.

Во всяком случае, Богумир Шмераль, сразу же после Мюнхенского пакта, в октябре 1938 г. перебравшийся в Москву для организации здесь зарубежного центра чехословацкой компартии, благополучно работал, вряд ли ведая о том, в какие шпионы он зачислен. Другие его собратья по шпионажу — чехословацкие и иные — не раз с тех пор приезжали в Москву, а иные даже пережидали здесь в роскошных условиях военное лихолетье. Ежовые рукавицы, равно как и бериевские клещи, обошли их стороной. Известно, что тучи не раз сгущались над головой Георгия Димитрова, его товарищ по Лейпцигскому процессу Благой Попов отправился в ГУЛАГ, но резидентом всех шпионов Димитрова все же никто не объявил.

Еще более примечательна судьба отечественных деятелей Коминтерна. Пятницкий, Кнорин и большая группа их товарищей были уничтожены. Но оставались другие — показания против них неутомимо выбивал из арестованных Лангфанг. Настолько неутомимо, что, когда ему это не удавалось, он вписывал их имена, даже не утруждая себя надлежащим оформлением вставок, в так называемые «обобщенные протоколы»: ясно, что имел специальные указания. Зачем иначе ему было нужно заставлять Пятницкого, после многомесячного и упорного его сопротивления, писать «личное» письмо Ежову, обвиняя в «шпионском сговоре» с ним, Пятницким, не только руководящих деятелей Коминтерна из числа советских коммунистов, но и работников ЦК ВКП(б), ведавших международными делами?

Кто же они, казалось бы, обреченные? Дмитрий Мануильский и Отто Куусинен — секретари исполкома Коминтерна, Петр Поспелов — функционер ЦК. Как известно, ни один волос не упал с их голов, все они сделали прекрасную аппаратную карьеру, победно карабкаясь по служебной лестнице. Вверх, разумеется, а вовсе не вниз.[1] Скорее всего, они и понятия не имели о

[1] Да, сами они не пострадали, но дамоклов меч над ними висел, рубя порою по самым близким. Арестован был, к примеру, сын Отто Куусинена, и высокопоставленный отец благоразумно промолчал. Сталин, который, вопреки воплям своих апологетов, знал вся и все, как-то спросил пламенного интернационалиста, почему тот не

том, что никак не меньше пятнадцати «контрреволюционеров» объявили их своими сообщниками и под диктовку сочиняли сказки об их «вражеской деятельности», не скупясь на красочные детали. Более того, на всех документах, санкционирующих аресты коминтерновцев, имеется подпись Мануильского — именно ему была доверена Сталиным эта миссия. Без его подписи никто из коминтерновцев не мог быть взят под стражу, а тем временем сам Мануильский уже был первым кандидатом на арест и число показаний против него росло с каждым днем. Интересно, кто бы завизировал арест его самого? Не иначе как Сталин. Но под горячую руку он ему не попался. Мануильскому выпал счастливый билет.

Других казнили. По традиционной схеме: 20 минут на «судебный» процесс, заранее написанный приговор и пуля в затылок сразу после «суда» или на следующий день. Только с Мельниковым вышла осечка.

Мельников руководил службой связи исполкома Коминтерна — держал в своих руках всю коминтерновскую агентуру (или, попросту говоря, всю шпионскую сеть, входившую в эту систему; она существовала автономно от НКВД и от военной разведки, откуда, кстати, Мельников и перешел в Коминтерн), все шифры, коды, явки, пароли. Передача их в новые руки требовала времени и кропотливой работы. Тот же Мануильский, который сам был без пяти минут смертником, официально попросил «расстрел задержать», так как Мельников «мог бы еще понадобиться». Особенно большие сложности возникли в парижском «пун-

хлопочет об освобождении сына. «Очевидно, были серьезные причины для его ареста», — ответствовал невозмутимый мудрец. Сталин усмехнулся и отдал распоряжение: освободить.

Еще один факт для размышления. Видный финский коммунист Урхо Каупнинен в начале тридцатых годов переправил в Советский Союз жену и сына, опасаясь за их судьбу в буржуазной Финляндии. Подгадал точно! В 1937 г. обоих арестовали как шпионов, выполнявших задания «известного шпиона, резидента финляндской разведки» Отто Куусинена. Мать расстреляли, сыну Аарно дали десять лет. Узнав в лагере из газет, что «резидент» стал председателем президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, Аарно воззвал к элементарной логике, требуя своего освобождения или, на худой конец, ареста «резидента». Ответа не получил. Реабилитирован лишь в 1956 г. Из хранящейся в деле переписки можно понять, что, по крайней мере, некоторые письма до О. Куусинена доходили и он, стало быть, знал, что является крупным деятелем финских спецслужб. Но и виду не подал, что это его как-то смущает.

кте связи», практически полностью разгромленном: этот «пункт» имел контакты не только с агентами, размещенными во Франции, от него тянулись нити во все страны Западной Европы.

Просьба Мануильского была уважена. Мельникову намекнули: если он будет продолжать свою полезную деятельность, оставаясь на положении привилегированного арестанта, ему сохранят жизнь. Уговаривать не пришлось. Восемь месяцев из камеры Внутренней тюрьмы Мельников продолжал руководить заграничной агентурой, передавая уникальную информацию и метод работы своим счастливым преемникам. Наконец последовал звонок Мануильского Ежову: «Больше надобности в Мельникове нет». В ту же ночь его расстреляли. Об этом, не уточняя детали, сухо сообщает справка, подшитая к делу: «Мельников Борис Николаевич арестован 4 мая 1937 г., осужден Военной коллегией Верховного суда СССР в помещении Лефортовской тюрьмы к расстрелу 25 ноября 1937 г. Приговор приведен в исполнение 28 июля 1938 г.»[1]

Трудно с точностью определить, почему именно Лангфанг оказался среди тех немногих неудачников, которых в пятидесятые годы настигла рука Фемиды. Не слишком суровая, но все же настигла. Принцип, по которому одни попали на скамью подсудимых, другие на пенсию, а третьи и вовсе в большие начальники, понять невозможно, да и был ли когда-нибудь за всю советскую историю в подобных вопросах хоть какой-нибудь принцип? Что до Лангфанга, то скорее всего свою роль сыграли особая настойчивость тех, чьи отцы и мужья оказались его жертвами, и особая, превосходившая даже тогдашнюю норму жестокость этого палача. (Все-таки он не только избивал, но еще и самолично убил, хотя бы и одного!.. За тенью убитого, не забудем, стоял ЦК эстонской компартии, чье вме-

[1] В промежуток между этими двумя датами на Мельникова, весть об аресте которого, конечно, быстро распространилась в «своем кругу», шли совсем уж неожиданные доносы: жена Сергея Лазо обвиняла его в предательстве мужа, которое привело к трагической гибели известного «героя гражданской войны». Так ли это? Не похоже, чтобы кто-нибудь вообще занимался проверкой этих обвинений. Мельников уже был приговорен, обвинение в предательстве С. Лазо ему не предъявлялось, а истина вообще никого не интересовала.

шательство не могло остаться без внимания.) Впрочем, и тут, как у нас всегда и во всем, элемент случайности занимал не последнее место.

В середине пятидесятых годов Лангфанг давно уже не имел никакого касательства к следствию. Он остался верным служителем того же самого ведомства, перейдя от грязной работы к той, которая считалась его коллегами достойной и чистой. Уже в 1940 году оценившее его способности начальство перевело Лангфанга в разведку. Прямо из камеры пыток, побыв, правда, несколько месяцев (для практики) энкаведистским «куратором» дипломатического корпуса, он отправился в Грецию, где более года пребывал резидентом, загримированным, естественно, под дипломата. Оставался на боевом посту и при итальянских оккупантах, и при немецких. И лишь после гитлеровского нападения на Советский Союз, в июне сорок первого, возвратился домой.

Видимо, и там, на совсем ином, быстро освоенном им поприще, он сумел отличиться, потому что партия (кто же еще?!) сразу определила его начальником Дальневосточного отдела советской внешнеполитической разведки, которая целиком была ориентирована на соседнюю Японию. Потом ему пришлось быть «советником» у Чойбалсана и Цеденбала и схлопотать за это два монгольских ордена, а позже советником в Китае Мао Цзэдуна — того самого, которого он же своей недрогнувшей рукой причислил в секретных следственных протоколах к сонму предателей, изменников и шпионов. Впрочем, пост, который он занимал не для публики, а для двух «братских» ЦК («представитель советской внешнеполитической разведки в Китайской Народной Республике»), вполне допускал такое немыслимое раздвоение личности: шпион на то и шпион, чтобы вечно раздваиваться...[1]

Лангфанг дослужился уже до генерал-лейтенанта и до нескольких орденов, когда за ним наконец пришли.

[1] «О том, что я делал в КНР, — с показной конспиративностью докладывал суду Лангфанг, — хорошо знает товарищ Панюшкин, к которому вы можете обратиться». Обращаться не было необходимости, так как служба Лангфанга говорила сама за себя. Что до Александра Панюшкина, известного не только в Китае, но и в США, то он весьма успешно сочетал должность посла с основной своей функцией руководителя советской разведывательной резидентуры.

Случилось это 4 апреля 1957 г. Почти год спустя он предстал перед Военной коллегией Верховного суда СССР. Хотя все, о чем рассказано выше, было убедительно подтверждено на этом длившемся десять дней процессе, суд, возглавлявшийся генерал-майором юстиции Лихачевым, оказался не строгим, а милостивым, определив палачу десять лет лагерей: всего по нескольку недель несвободы за каждого замученного им человека.

Обвинение поддерживал прокурор Дмитрий Терехов, сыгравший заметную роль в разоблачении ежовско-бериевского террора и воздаянии тем, кто его осуществлял. Но и он (а быть может, его начальство?) смирился с этой, мягко говоря, неадекватной мерой наказания: протест на неоправданно гуманный приговор принес не генеральный прокурор СССР, каким был тогда Роман Руденко, а председатель Верховного суда СССР Александр Горкин.[1] Факт едва ли не уникальный: как А. Ф. Горкин, так и другие председатели высшего судебного органа страны, занимавшие впоследствии этот пост, нередко требовали смягчения приговора, но практически никогда — его ужесточения.

Прошло полгода, и Военная коллегия собралась снова. На этот раз ее возглавлял полковник юстиции Борис Цырлинский. Как и на предыдущем процессе, обвинение поддерживал полковник Дмитрий Терехов, защищал Лангфанга известный московский адвокат Виктор Зорин. Для того, чтобы подтвердить свои прежние показания, снова пришли свидетели: и пережившие ГУЛАГ коминтерновцы Гринберг, Алексеев-Железняков, Темкин, и тоже побывавшие в ГУЛАГе «добрая фея» — врач Розенблюм, начальник лефортовской тюрьмы Зимин, бывшие тюремные надзиратели, оперативники и прочие очевидцы. Среди них выделялись и весьма активные палачи, представшие почему-то не в качестве подсудимых, а в качестве нейтральных свидетелей, да притом еще во всем блеске своих генеральских мундиров: Виктор Ширманов, Даниил Есипенко, Григорий Власов (этот, правда, дослужился лишь до полковника). Двоих не досчитались: КГБ прислал «справку» о том, что два его «ответст-

[1] В книге Юлии Пятницкой «Дневник жены большевика» (издана в США, 1987 г.) Игорь Пятницкий на стр. 167 ошибочно приписывает этот протест именно прокуратуре.

венных работника» — Василий Фомичев и Иван Чижов — не могут явиться в суд «по уважительным причинам». Имя Фомичева встречается в десятках архивных дел: руки этого садиста обагрены кровью множества невинных жертв. Под стать ему и Чижов... Но Лубянка не сочла возможным подвергать двух своих уважаемых сотрудников слишком большим нервным перегрузкам. А суд даже не счел возможным спросить, что же это за уважительные причины, которые препятствуют свидетелям исполнить свой долг.

Вот почему один из доводов, которые Лангфанг пытался выдвинуть в свою защиту, не кажется мне чрезмерно наивным. И демагогическим — тоже не кажется. «Почему вы судите меня, — вопрошал он судей в последнем слове, — а не судите Молотова, чья вина доказана и определена? Он отправлял росчерком пера на тот свет тысячи людей, а его не судят». Куда менее убедительно звучит другой «защитительный» довод: «Меня лишили всего, а главное, моей любимой агентурной работы. Неужели это недостаточное наказание для меня? Ведь я был под сильным впечатлением убийства Кирова, я верил, что кругом враги, и действовал в соответствии с указаниями партии». После Нюрнбергского процесса эти «доводы» уже не звучат.

Прокурор снова просил приговорить Лангфанга к 25 годам лишения свободы — такая мера наказания еще существовала в действовавшем тогда Уголовном кодексе. «В лагере меня убьют, — возражал обвинителю подсудимый. — Осудите меня к расстрелу. Жить с клеймом преступника я не могу».

Суд не внял ни прокурору, ни подсудимому. Пятнадцать лет лишения свободы — таким был приговор. «Военная коллегия, — сказано там, — считает возможным учесть, что Лангфанг после совершения им тяжких преступлений в 1937—1938 гг. длительное время занимался общественно-полезным трудом». Общественно-полезным — в Греции, Монголии и Китае...

Кроме того, суд довел до сведения генерального прокурора, что Иван Чижов, Василий Фомичев и Виктор Ширманов такие же садисты, как и Лангфанг, и что следует «решить вопрос» об их ответственности по закону. Суд довел до сведения, прокурор принял к

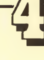
сведению, а «вопрос» об ответственности решается, видимо, до сих пор.

Еще одна милая подробность: по приговору подлежал конфискации подарок не то Мао Цзэдуна, не то Лю Шаоци — китайский золоченый сервиз из 90 предметов. В деле есть справка: сервиз исчез. И другая: «необходимо решить вопрос об ответственности виновных». Похоже, и этот вопрос все еще кем-то решается.

А Лангфанг оказался неправ. В лагере его не убили. Здесь, в Мордовии, с ним сидели такие же, как он, солдаты партии, по горло в крови, и они не грызли друг друга, а объединились в борьбе с общим врагом. Отсюда обиженные обратились с коллективным письмом к XXII съезду КПСС — есть смысл привести его хотя бы в отрывках: «Мы не можем нести ответственность за нарушения социалистической законности, так как лишь выполняли задание своего руководства и считали, что боремся с врагами партии и Советского государства... Судом исключены конкретные исторические условия того времени, игнорированы директивы партийных органов... Мы были скованы партийным и служебным подчинением ...обязаны были беспрекословно выполнять официальные приказы и инструкции... Отказ был бы расценен как акт саботажа... Почему покарали именно нас, небольшую (что верно, то верно. — *А.В.*) группу чекистов?.. Мы просим возвратить нам наши честные имена, вернуть нас в советское общество, чтобы мы могли встать в ряды строителей коммунизма». Этот вопль души исторгли 12 бывших чекистов, чьи «честные имена» достойны остаться в памяти потомков: Ражден Гангия, Сергей Аксенов-Щербицкий, Федор Малькиев, Варлам Какучая, Ефим Либенсон, Георгий Парамонов, Александр Лангфанг, Сергей Давлианидзе, Николай Грушков, Салим Атакишиев, Григорий Пачулия и Степан Емельянов. Их вопль, однако, не был услышан.

Лангфанг полностью — от звонка до звонка — отбыл свой срок и в 1972 году вышел на свободу. Без труда прописался в Москве по прежнему адресу. Еще в 1988 г. по очередной жалобе Верховный суд СССР проверял его дело и не нашел оснований что-либо в нем пересматривать. Два года спустя Лангфанг умер, унеся в могилу множество тайн, которые знал только он, которые мог бы раскрыть, но не захотел.

ОБВИНЯЮТСЯ ОБВИНИТЕЛИ



После революции юридическая наука не пользовалась в ученой среде былым престижем. Ее «догмы», то есть основополагающие, несущие конструкции, без которых не может быть построено ни одно здание, оказались разрушенными, преемственность, без которой тоже нет и не может быть никакой серьезной науки, — уничтожена вместе со сломом прежней государственной машины и всей судебной системы. Сквозь руины стали пробиваться новые жизненные ростки: еще не система, а пока лишь практика «революционной законности», отрицавшая какие-либо прежние постулаты и утверждавшая примат «пролетарского правосознания» перед законом. Да и сами законы утратили какую бы то ни было стабильность и незыблемые исходные начала, превратившись в набор бессистемных распоряжений на злобу дня, каковая, в свою очередь, беспрестанно менялась.

В этих условиях начала складываться — буквально с нуля — новая правовая теория, призванная научно обосновать пеструю, сумбурную, но реальную практику, со всеми ее зигзагами, шараханиями, шатаниями, с ее жестокостью, кровавостью, массовой и немилосердной резней. Обслужить эту практику, придать ей, как ни дико это звучит, благообразный вид. Систематизировать и упорядочить хаос, открыв в нем свои закономерности, а значит, объективную необходимость. Создать теорию права социалистического, которой не было вообще уже потому, что не было и такого права.

Бесспорным лидером правоведов новой формации, возводивших леса невиданных доселе теоретических построек, был Евгений Брониславович Пашуканис. Этот выходец из польской семьи, давно осевшей на древней тверской земле, успел еще при царизме получить диплом юриста. Участник Октябрьского вооруженного восстания в Москве, он на следующий год, в возрасте 27 лет, становится членом большевистской

партии и сразу же получает пост члена Кассационного трибунала при ВЦИК, затем отправляется на юг, где, будучи членом Донисполкома, насаждает революционную законность. Вернувшись в Москву, он избирается депутатом Моссовета, и, по сути, с этого времени начинается его карьера теоретика, мучительно пытающегося создать цельную концепцию права в неправовом государстве.

Теоретические труды Пашуканиса отличала не только революционная фразеология, но и революционная страстность. Схоластическим спорам о том, отмирает ли право при социализме или, наоборот, укрепляется, он умел придать блеск и даже некое подобие научной фундаментальности. Левацкие загибы, характерные для любой отрасли обществоведения тех лет, сегодня выглядят примитивом, но довольно точно отражают и уровень, и направленность тогдашней правовой мысли.

Пашуканис был, несомненно, и незаурядным организатором, руководил научно-исследовательским институтом советского строительства и права Комакадемии, институтом права Академии наук, а в последнее время очень активно работал на посту заместителя наркома юстиции СССР, взявшись за разработку законов, осененных солнцем имевшей быть Сталинской Конституции. Над нею, названной сразу же сталинской, а не какой-то другой, и он, Пашуканис, трудился в поте лица — бок о бок с Бухариным, Радеком и другими, стремясь к юридической точности формулировок — особенно той, воспетой впоследствии в поэмах и одах — десятой главы, где речь шла о правах и свободах. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек», — запела страна как раз в те дни, когда был опубликован проект Конституции.

Параллельно с этим Пашуканис руководил работой по созданию Уголовного кодекса СССР, который так никогда и не был издан, — кодексы остались прерогативой союзных республик. Однако один из самых главных своих замыслов Пашуканис все же осуществил: из подготовленного рабочей комиссией проекта по его настоянию был исключен полностью такой вид наказания, как смертная казнь. Он считал, что социалистическое право — самое гуманное и самое демократическое за всю историю человечества — несо-

вместимо с «легализованным убийством от имени государства», чем бы оно ни мотивировалось.

Когда осенью 1936 года были объявлены вакансии новых действительных членов Академии наук, то на единственное место, предоставленное правоведам, был сразу же выдвинут Пашуканис. Строго говоря, именно для него персонально эта вакансия и была предназначена. В газетах появились статьи, горячо поддерживавшие его кандидатуру. Особенно восторженную статью написал Николай Васильевич Крыленко, нарком юстиции СССР, то есть, иначе сказать, непосредственный его начальник.

Выборы были назначены на декабрь тридцать шестого, сразу же вслед за Восьмым Всесоюзным съездом Советов, принявшим Конституцию, чье анонимное коллективное авторство было переадресовано вождю народов. «Величайший продолжатель дела Ленина, — страстно восклицал Крыленко с трибуны съезда, — наш любимый, родной Сталин дает нам реально почувствовать, осязать, выпукло прощупать... плоды побед и трудов... Радостно и приятно творить, радостно и приятно чувствовать себя членом нашего многомиллионного социалистического коллектива и под водительством нашего Сталина — величайшего организатора счастья и побед, побед и счастья всего мирового человечества — идти дальше, все вперед и вперед, по пути к коммунизму».

Без сомнения, радостно и приятно было в те дни и Пашуканису: его труды увенчались успехом, а дальше, впереди ждали его новые высоты. Собрание Академии наук состоялось в назначенный срок. И кандидат, и главный его покровитель Крыленко получили гостевые билеты. С естественным волнением, но без особой тревоги ожидали они того, что, казалось, предрешено. Но Академия на этом собрании отнюдь не пополнилась новыми членами, а, напротив, лишилась старых. Подвергнув анафеме отказавшихся возвратиться из заграничной командировки всемирно известных химиков Владимира Ипатьева и Алексея Чичибабина, Академия исключила их из своих рядов. (При шести воздержавшихся! В декабре тридцать шестого! Имена смельчаков никогда не были оглашены.) Следом за этим собрание должно было перейти к выборам, но только что ставший президентом академии В. Л. Ко-

маров неожиданно объявил, не сочтя нужным дать объяснения, что выборы переносятся на неопределенный срок.

Можно предположить, что кандидатура Пашуканиса была если и не единственной, то едва ли не главной причиной этого переноса. Мы тем более вправе выдвинуть такую гипотезу, что Пашуканиса взяли в первые дни января 1937 года, резонно посчитав, что плату за верный, добросовестный труд нельзя откладывать слишком надолго.

Почти со всеми видными чинами НКВД Пашуканис был в деловом контакте, поэтому следствие по его делу поручили объективным и беспристрастным гостям — крупным энкаведистам братской Украины Борисову и Бруку. Работали они ничем не хуже своих российских собратьев, так что уже через несколько дней Пашуканис признался: с тридцать третьего года — эту дату придумало следствие — он активно работает террористом, завербован членом первого Советского правительства Милютиным, входит в группу Бухарина — Рыкова — Томского — Угланова. Особенно впечатляет такая формула обвинения: «вел контрреволюционную деятельность в области теории советского уголовного права».

Видимо, Пашуканис не был для своих мучителей крепким орешком. Следствие шло гладко, не встречая препятствий. Обреченный глава советских правоведов хорошо понимал бесцельность борьбы и сдался без боя. Вскоре капитан госбезопасности Коган и лейтенант госбезопасности Макаров составили обвинительное заключение, где не очень утруждали себя сочинением лихого сюжета — в нем попросту не было ни малейшей нужды. Прокуроры из ближайшего круга Вышинского — Рогинский и Гатов — это заключение утвердили, и через 8 месяцев после ареста — 4 сентября 1937 г. — Пашуканис предстал перед Военной коллегией Верхсуда. Ульрих лениво разглядывал его, всем видом показывая, что и понятия не имеет о подсудимом по фамилии Пашуканис, о том самом, с кем десятки (не сотни?) раз сидел за общим столом — в президиумах, конференцзалах, на совещаниях и заседаниях, — аплодируя вместе со всеми, когда теперешнему врагу народа предоставлялось слово для речи.



ЖЕРТВЫ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА...

Мария Остен (Грессгенер) — немецкая писательница, гражданская жена М. Кольцова.

Михаил Кольцов — писатель, публицист, редактор журналов «Огонек», «Крокодил», «За рубежом».



Всеволод Мейерхольд — режиссер, народный артист Республики.



Зинаида Райх — артистка, жена В. Мейерхольда.



С Семеном Буденным **Губерт Лосте** — герой книги М. Остен «Губерт в стране чудес» — немецкий пионер, в России механик-тракторист, заключенный-лагерник.



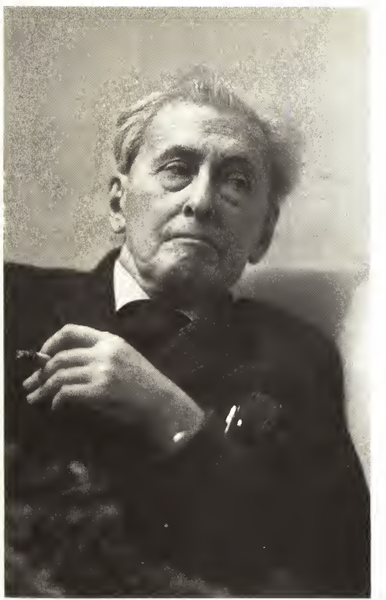
Исаак Бабель — автор знаменитых «Конармии» и «Одесских рассказов».



Антонина Пирожкова — жена И. Бабеля.



Александр Косарев — в 1929—1938 гг. генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ — со знаменитой трактористкой Прасковьей Ангелиной.



Писатель, общественный деятель **Илья Эренбург**.



Николай Вавилов — крупнейший ученый и организатор науки, академик, первый президент ВАСХНИЛ.



Владимир Антонов-Овсеенко — один из организаторов Красной Армии. В разные годы занимал посты полпреда в Чехословакии, Польше, Литве, прокурора РСФСР, наркома юстиции РСФСР.



Анна Ларина — жена Н. Бухарина.

В кругу семьи Маршал Советского Союза **Кирилл Мерецков** (в 1940 г. начальник Генштаба, с января 1941 г. — заместитель министра обороны).

Израиль Вейцер — народный комиссар торговли.



Ицик Фефер — поэт, один из руководителей Еврейского антифашистского комитета.

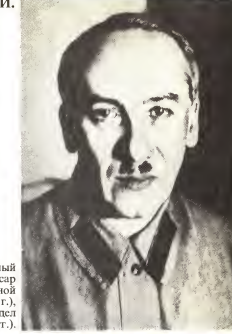


Перец Маркиш — писатель, один из руководителей Еврейского антифашистского комитета.



Соломон Михоэлс — актер, режиссер, педагог, руководитель Московского еврейского театра. Возглавлял Еврейский антифашистский комитет.

...ИХ ПАЛАЧИ.



Г. Ягода — генеральный комиссар государственной безопасности (1935 г.), нарком внутренних дел (1934—1936 гг.).



Г. Ягода (в центре) на одной из строек ГУЛАГа.



В. Абакумов — министр госбезопасности.

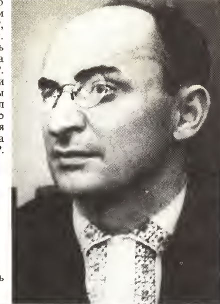


Н. Ежов — генеральный комиссар государственной безопасности (1937 г.), нарком внутренних дел СССР (1936—1938 гг.).

А. Вышиискиий — заместитель Прокурора и Прокурор СССР (1933—1939 гг.).



Л. Берия — с 1938 по 1945 г. нарком внутренних дел СССР, в 1941—1953 гг. заместитель Председателя Совета Министров СССР. В последний год жизни (1953) занимал посты министра внутренних дел СССР и первого заместителя Председателя Совета Министров СССР.



Л. Шейиии — следователь по особо важным делам Прокуратуры СССР.



Слово для речи ему было дано и сейчас, но подсудимый его не взял. Лишь махнул ослабевшей рукой.

Николая Васильевича Крыленко в зале не было — на секретных заседаниях Военной коллегии запрещалось присутствовать кому бы то ни было, даже наркому юстиции СССР. Но дух его здесь витал — не мистический, а реальный: пока Пашуканис ждал своей казни, Крыленко отчаянно пытался ее избежать. Любой ценой. Изничтожением вчерашнего своего кумира — прежде всего.

Впрочем, и здесь его опередили. Философ П. Ф. Юдин, большой знаток научного коммунизма, наделенный правом как приобщать к марксизму послушных, так и отлучать от него нечестивых, еще 20 января на страницах «Правды» разоблачил «замаскированного предателя и двурушника» Пашуканиса, «вредившего на теоретическом фронте». Равно как и его сотрудников, оказавшихся на прицеле. О стилистике разоблачений нам поведает лишь одна цитата из статьи большого ученого: «Юридический кретинизм (поверженных. — *А. В.*) достигает... геркулесовых столпов...»

У Крыленко оставалась теперь единственная возможность: как можно скорее поддержать влиятельного философа, обозвавшего первого теоретика права не только врагом, но еще и болваном. Крыленко сделал это на открытом партактиве Наркомюста, выступив с такой покаянной речью, которая лишь подчеркивала для всех его обреченность.

Впрочем, толкнули его на это не только здравый смысл и не только вполне объяснимый страх, но и смелый призыв одного из ораторов. Выступивший на активе заместитель председателя коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР Федор Нахимсон сказал, повернувшись к сидевшему в президиуме наркому (он же главный редактор журнала «Советская юстиция», чьим заместителем был тот же Нахимсон) и мужественно глядя ему прямо в глаза: «Многие надеялись, что борьбу против вредительства в юстиции возглавит товарищ Крыленко, но для этого ему самому необходимо разоблачить и поставить крест на ряде своих ошибок».

Возможно, от Нахимсона Крыленко удара не ожи-

дал. Однако психологически, как видно, был к нему подготовлен.

Заклеймив «вредительство Пашуканиса и его приспешников», Крыленко перешел к бичеванию самого себя. Все то, что несколькими месяцами раньше он ставил в заслугу «давным-давно уже доказавшему свое право на звание академика» Пашуканису, именовалось теперь «моей личной непростительной ошибкой».

«Решительного отпора требуют, — восклицал нарком, обращаясь к своим подчиненным, — мои порочные идеи, будто судить можно и без вины, или такое мое утверждение, что принцип: «наказание соразмерно вине» есть не что иное, как некритическое восприятие принципов буржуазного права. Такое вульгарное, примитивное противопоставление не к лицу советскому юристу».

Переполненный конференц-зал Наркомюста в мертвой тишине слушал обвинительную речь недавнего прокурора, с присущим ему ораторским блеском забивавшего гол за голом в свои ворота. «Я позволил себе кощунственно ссылаться на Ленина, который допускал применение репрессий без вины в таких случаях, как расстрел каждого десятого продармейца за грабеж в отряде, как применение репрессии к семьям капиталистов за «вину» главы семьи. Но я забывал при этом, что Ленин допускал эти особые формы репрессии лишь в определенных условиях места и времени и что применялись они не по суду... Наконец, еще один грех лежит на моей душе, и я должен честно, искренне, как подобает большевику, сказать о нем. Я отвечаю за нигилистическое отношение к роли защиты в уголовном процессе. Вслед за двурушником Пашуканисом, некритически относясь к этому злопыхателю и клеветнику, я полагал, что и защита в суде есть буржуазный пережиток, осколок буржуазного права...»

Весь 37-й год прошел для Крыленко в мучительных попытках объясниться через печать, доказать, что он верный, преданный — свой!

Беспримерная творческая плодовитость Крыленко, особенно во второй половине года, дает возможность понять, что творилось в его душе и насколько он чувствовал близость конца. Едва ли не в каждом номере двухнедельного журнала «Советская юстиция», который он сам редактировал, публиковалась его новая статья. Или хотя бы изложение очередной его речи.

«Вредительская пашукановщина», «омерзительные рассуждения притаившегося врага — лжеученого Пашуканиса» — еще не самые сильные образцы обличительного пафоса агонизирующего наркома. В августе он печатно сообщил, что Пашуканиса «неизбежно ждет заслуженное возмездие», а он сам, Крыленко Николай Васильевич, мечтает (давно уже!) «приступить как можно скорее к работе над трудом «Сталин о суде и уголовной политике», чтобы собрать и дать в систематизированной форме его указания в этой области».

Прогноз наркома Крыленко оправдался незамедлительно. После нескольких минут «судебного разбирательства» Ульрих приговорил противника смертной казни к расстрелу. Получасом позже приговор привели в исполнение.

В списке депутатов Верховного Совета СССР, избранных 12 декабря 1937 г., Николая Васильевича не оказалось. Тремя днями позже 4-й отдел Главного управления госбезопасности НКВД завершил составление «справки на арест врага народа Крыленко», где было указано, что тот «изобличен показаниями арестованных Трифонова, Бермана, Бурмистрова, Яковлевой, Пашуканиса, Бубнова и оперативными материалами... в том, что с 1930 г. является членом организации правых, создал в органах юстиции вредительскую организацию и ею руководит... Лично завербовал в нее свыше тридцати человек...» Справка подписана Матусовым — это имя встречается в документах Лубянки тридцатых годов множество раз. Он, в частности, допрашивал (если истязания и шантаж можно назвать допросом) наркома здравоохранения Г. Н. Каминского. О нем вспоминает жена Бухарина Анна Михайловна Ларина: как давал он ей «добрый совет» отправиться в астраханскую ссылку, как врал, обещая свидание с мужем, и как снова допрашивал, шантажируя и угрожая... Им же в январе 1937 г. подписано обвинительное заключение по делу Мартемьяна Рютина, пожалуй, самого выдающегося борца антисталинского Сопротивления, автора беспримерного сочинения «Сталин и кризис пролетарской диктатуры» — грандиозного памятника русской политической публицистики двадцатого века. Любопытно: отрицая (октябрь 1962 г.) свою личную причастность к гнусной провокации против Рютина в сентябре 1932 г., Матусов

сослался на свое алиби: он, оказывается, в это время «работал оперуполномоченным по борьбе с сионистами». Более того: Рютина он вообще «никогда не видел и не допрашивал». Кстати, очень возможно: протоколы допросов зачастую составлялись заочно, и обвинительные заключения подписывались следователями, никогда в глаза не видевшими подследственного[1].

12 января 1938 г. открылась первая сессия Верховного Совета СССР первого созыва. Крыленко подвергся унижению: не удостоившийся чести оказаться в числе депутатов, он довольствовался скромным положением гостя — на балконе. Разумеется, это был уже достаточно ясный сигнал о предстоящей трагедии. Но Крыленко гнал от себя тревожные мысли: ведь он все еще оставался наркомом.

Благополучно, под гром оваций, был избран Президиум Верховного Совета СССР во главе со «всесоюзным старостой» Михаилом Ивановичем Калининым. Пройдет совсем немного времени, и отправится по лагерным этапам супруга нашего «старосты» Екатерина Ивановна, в тюремных подвалах сгинут многие члены этого Президиума: маршал Блюхер, командарм Федько, глава комсомола Косарев, первый секретарь Московского горкома партии Александр Угаров, исчезнут брат Лазаря Кагановича — Юлий Моисеевич Каганович и другие товарищи. Исчезнут и сгинут с фатальной неизбежностью. Но — потом, не сейчас...

[1] Якова Наумовича Матусова, в недавнем прошлом капитана госбезопасности, кавалера нескольких орденов, полученных за его доблестную деятельность в подвалах Лубянки, я хорошо помню. После почетной отставки — с персональной пенсией и прочими привилегиями — он бросил якорь в московской адвокатуре, где «по анкетным данным» сразу же был пристроен заведовать одной из юридических консультаций. Респектабельный, безупречно одетый, он импонировал коллегам хорошими манерами и веселым нравом. О своих боевых заслугах предпочитал молчать, ограничиваясь многозначительной улыбкой. Гораздо больше напирал на то, что он жертва культа личности. Действительно, в начале пятидесятых он, как и многие его коллеги, сам сполна познал все те радости, которые щедро раздавал «врагам народа»: карцер, наручники, резиновые дубины... В адвокатуре нашли приют и многие другие лубянские мастера. Помню, например, Льва Ильича Новобратского, ставшего защитником униженных и оскорбленных, избежав каких-либо потрясений, уже в чине генерал-майора. И он, и его бывшие коллеги пользовались особым почтением: об их прошлом говорили вполголоса — с плохо скрываемой завистью.

Ничто не предвещало грома, и однако же он раздался. Не тайно, не ночью, не за плотно закрытыми дверями, а публично, прилюдно, в свете прожекторов. Здесь же — с трибуны Верховного Совета.

17 января слово получил депутат Джафар Багиров, один из ближайших сотрудников Берии, его доверенное лицо. Зная больше, чем мог сказать, он подверг критике — по-сталински, по-большевистски, со всей прямотой — члена правительства, которое только что сложило свои полномочия перед Верховным Советом. «Если раньше, — шутил депутат Багиров, — товарищ Крыленко бо́льшую часть своего времени уделял туризму и альпинизму, то теперь отдает свое время шахматной игре. Нам нужно все же узнать, с кем мы имеем дело в лице товарища Крыленко — с альпинистом или с наркомом юстиции? (В газетном отчете после этих слов написано: «Смех». — *А. В.*). Не знаю, кем больше считает себя товарищ Крыленко, но наркомюст он, бесспорно, плохой. Я уверен, что товарищ Молотов учтет это при представлении нового состава Совнаркома...»

«Бесспорно, плохой» — это не формулировка рядового депутата в те времена. И давать указание второму лицу в государстве («я уверен, что...») мог не иначе как первый. Хотя бы и чужими устами. И Крыленко понимал это — не хуже, чем мы понимаем сейчас.

Но до ареста оставалось еще две недели. Несколько дней он сдавал дела — новому наркомюсту Рычкову, недавнему члену Военной коллегии: товарищ Молотов, как мы догадались, воспринял всерьез шутку депутата Багирова. Принял к сведению и учел. Зато ввел в состав Совнаркома вернейших соратников великого Сталина, прошедших через все суровые испытания и с честью выдержавших экзамен на безусловную преданность: В. Чубаря, С. Косиора, Н. Ежова, М. Кагановича (другого брата Лазаря Моисеевича), А. Гилинского, Р. Эйхе, М. Бермана и других. Их очередь подойдет в ближайшее время — пули они не минуют.

Дней за пять до ареста — об этом рассказывала мне Марина Николаевна Симонян, дочь Крыленко, — ему неожиданно позвонил Сталин. «Не горюй, мы тебе доверяем. Получишь новое назначение, а пока готовь кодекс. Не тяни, народ ждет. Давай, по-стахановски!» Со слов Марины Николаевны в моем блокноте записа-

но: «Папа поверил, повеселел, сразу же засел за работу». (Марина Николаевна была дочерью Крыленко от первого брака, с отцом в то время уже не жила, о разговоре со Сталиным знала из вторых рук, но в достоверности ее рассказа можно не сомневаться, он подтверждается и другими источниками.)

Возможно, комиссия и собралась, но уже без Крыленко. «В ближайшие дни» он был арестован.

Крыленко действительно был личностью яркой, неординарной, стремившейся выразить себя как можно полнее. Основная работа — прокурором, громившим «гнезда контрреволюции», потом руководителем советской юстиции, занимавшимся, в общем, все тем же, — не мешала ему с той же страстью отдаваться в часы и месяцы отдыха двум любимейшим «хобби»: альпинизму и шахматам. Причем и в той, и в другой ипостаси он тоже достиг известных вершин.

В конце двадцатых — начале тридцатых годов получили широкую известность несколько памирских экспедиций, подготовленных и проведенных при самом активном участии и под руководством прокурора республики Крыленко. Его громовая речь на Шахтинском процессе, ошеломившем страну (позже блеск этого политического спектакля померкнет на фоне кровавых шоу тридцатых годов), придавала особую экзотичность научно-спортивно-альпинистской экспедиции, возглавлявшейся не учеными, а государственными деятелями: управляющим делами Совнаркома Николаем Горбуновым и прокурором республики Николаем Крыленко, а также давним сотрудником Вышинского по Наркомпроду и Наркомпросу профессором Отто Юльевичем Шмидтом, будущим начальником Главсевморпути, участником экспедиций на ледоколах «Седов» и «Челюскин», одним из первых Героев Советского Союза.

В памирских походах Крыленко — Горбунова участвовали виднейшие ученые: метеоролог Циммерман, геодезист Исаков, астроном Беляев, геологи Москвин и Щербаков, зоолог Рейнхард, географ Корженевский и другие. Экспедиции дали ценнейшие результаты, стали важнейшей вехой в освоении Памира. Крыленко проявил там большое личное мужество, в одиночку и практически без всякого альпинистского снаряжения поднявшись на высоту, не взятую к тому времени ни

одним советским альпинистом: 6850 метров. Он оставил воспоминания об этих походах — несколько больших очерковых книг, свидетельствующих о его несомненном литературном даре.

Но самым шумным и броским результатом памирских походов было затеянное Крыленко самовольное окрещение давно известных и новооткрытых вершин, которое произвело удручающее впечатление в ученом мире, где правила присвоения имен горным вершинам имеют давние традиции, установленный регламент и незыблемый протокол.

Пику, названному именем почетного члена Петербургской Академии наук, бывшего генерал-губернатора Туркестанского края Константина Кауфмана, Крыленко сам присвоил имя Ленина, а безымянным пикам, открытым экспедицией, самолично дал имена Дзержинского, Красина, Свердлова, Цюрупы. Вслед за этим было проведено с помощью новейших приборов уточнение высоты других вершин Памирской гряды. Оказалось, что открытая еще в 1916 году и тогда же по всем законным правилам названная пиком Гармо вершина на 361 метр возвышается над пиком Ленина. Кто может возвышаться над Лениным? Разумеется, Сталин. Только он, и никто другой. Так и решили, послав «великому продолжателю дела» радиограмму: сообщение о подарке, который ему преподносят — «с уважением и любовью», — подписали все участники экспедиции. В утешение имя Гармо передали другому — более скромному — пику.

Но красавцев-вершин на Памире не счесть — экспедиция открывала их один за другим. С царской щедростью Крыленко раздавал дары природы своим друзьям: Авелю Енукидзе, Варваре Яковлевой, Даниилу Сулимову. Один из самых ослепительных пиков он преподнес своей второй жене Зинаиде, а вершину повыше и пограндиозней, «находившуюся, — как писал он впоследствии в путевых очерках, — несколько в отдалении от пика Сталина, мы (!) назвали пиком Генриха Ягоды».

Но с раздачей подарков случился конфуз: одно дело, сидя в палатках и любуясь горным пейзажем, присваивать имена, слать телеграммы и радиограммы. Другое — официально зарегистрировать эти названия, нанести их на карты. Эта процедура относилась к исключительной компетенции Российского Географи-

ческого общества, президентом которого с 1931 года стал академик Николай Вавилов. Он решительно уклонился от участия в сомнительной акции, заявив, что затея Крыленко «нарушает давние традиции общества». Трудно сказать, чем бы кончилась эта история, если бы имена «хозяев» вершин не стали одно за другим исчезать: не с карты — из жизни...

Ничуть не менее заметными остались следы Крыленко и в истории шахмат. Этой игрой вообще были повально увлечены российские революционеры. Все знают, каким заядлым шахматистом был Ленин, с которым Крыленко сражался на шахматной доске еще в эмиграции. После революции ставший знаменитостью юрист и трибун возглавил массовое шахматное движение, приобщил к этой игре миллионы людей, организовал первые международные шахматные турниры в нашей стране, в том числе тот, знаменитый, 1925 года, когда, прорвав «культурную блокаду», к нам приехали шахматные звезды первой величины.

Крыленко и сам неплохо играл — даже очень неплохо. Чиновные нравы тогда еще не настали — он, не боясь уронить свой государственный авторитет, участвовал в открытых профсоюзных и клубных турнирах, занимая шестое-восьмое места, что ничуть не унижало его, а вызывало, напротив, симпатии и повышало авторитет. Не только у шахматистов.

Неожиданные и не слишком привычные обвинения, которые выдвинул против Крыленко Джафар Багиров, породили слух о том, какие именно преступления совершил прославленный златоуст, вчера еще оспаривавший лавры первого юриста страны. Схема была такой: продавшись английской (германской, французской, польской, японской — выбор велик) разведке, Крыленко под предлогом научных поисков и страстной любви к альпинизму бродил по Памиру, чертя топографические карты для иностранных агентов и подбирая шпионам посадочные площадки, укрытия — парашютистам, явки — нарушителям наших границ.

Это был вполне пристойный сюжет, подсказанный необычностью биографии и расхожими штампами наводнивших экраны фильмов. Но у сочинителей на Лубянке имелись свои штампы — оригинальность и

экзотичность сюжетной интриги их отнюдь не прельщала. Альпинизм и шахматы в формулу обвинения Крыленко так и не вошли — она у него подверстана под общий ранжир.

Следствие начинал все тот же Лазарь Коган, без особых усилий загнавший в угол профессора Пашуканиса. Став знатоком по части юриспруденции, этот умелец избрал для Крыленко привычную схему. Ближайший сподвижник Ленина, один из руководителей Октябрьского переворота в Петрограде, первый советский нарком по военным и морским делам, первый советский главком, первый прокурор республики и первый нарком юстиции Советского Союза — по сюжету, сочиненному следствием, был агентом всех иностранных разведок, готовил убийство «советского руководства» и сговаривался с фашистами, подстрекая их к интервенции. Вместе с ним (вот и вся фантазия Когана) ту же задачу пытались решить Бухарин, Антипов[1], Сулимов[2].

[1] Николай Кириллович Антипов — большевик с 1912 г., участник Октябрьской революции в Петрограде. Был секретарем партийных организаций разных областей и краев, Москвы и Ленинграда. С 1924 г. неизменно избирался в состав ЦК. Работал наркомом почт и телеграфов, председателем Комиссии советского контроля, заместителем председателя СНК СССР. Арестованный 21 июня 1937 г., он уже 2 июля подал заявление о готовности «выдать всех своих сообщников» — и затем последовательно их «выдавал», назвав десятки, если не сотни имен: и тех, кто уже был арестован, и тех, кто ждал своей очереди, и впрок... И впрок — тоже! Судя по протоколам, достоверны позднейшие показания его следователей о том, что Антипов «был готов на все». Нелепо и несправедливо было бы в этом его обвинять: у каждого свой потолок сопротивляемости пыткам. Есть версия, что, приговоренный к расстрелу 28 июля 1938 г., он якобы не был казнен: такого ценного свидетеля берегли на всякий непредвиденный случай. Через год перевели в камеру Орловской тюрьмы, где он пробыл два года, а затем был расстрелян вместе с другими ее обитателями 11 сентября 1941 г. Именно этот год (1941) приводился во всех энциклопедиях и справочниках как год его смерти. Увы, он был расстрелян на следующий день после вынесения приговора.

[2] Даниил Егорович Сулимов — большевик с 1905 г. С 1921 г. неизменно входил в состав ЦК. Председатель Совнаркома РСФСР. Его именем в 1936 г. был назван северокавказский город Баталпашинск, но уже через несколько месяцев у города отняли новое имя, а у самого Сулимова — жизнь. Город, кстати, подарили Ежову, он стал называться Ежово-Черкесском, но всего только на год. Теперь это просто Черкесск.

По каким-то причинам, в которых еще предстоит разобраться, арест Крыленко готовили долго и обставляли достаточно фундаментально, хотя аресты и казни давно уже были поставлены на поток. Объясняется это, конечно, не тем, что Крыленко занимал в государстве видное положение, — тогда нисколько не церемонились и с более видными. И не тем, что он издавна был на ты с вождем всех времен и народов,— Бухарин тоже был с Кобой на ты, но это ничего не меняло. Разве что делало более обреченными...

Скорее всего, просто не было прямых указаний. Обличительные материалы подготовлены были на всех — буквально на всех! — членов ЦК, видных государственных деятелей, на знаменитостей в мире науки, культуры, искусства. Одни запускались в работу — сразу или чуть погодя, другие, как бомбы замедленного действия, дожидались своего часа. Кое-кто не дождался — бывало, и проносило. А вот тут не пронесло.

«Справка на арест» Николая Крыленко отличается от многих других подобных же справок присутствием «аргументации»: видно, что ее готовили тщательно, не спеша. Приведены подробные выписки из показаний, которые дали на следствии против него «арестованные и разоблаченные Бубнов, Яковлева, Трифонов, Пашуканис и другие, изобличающие Крыленко во вредительстве». Даны даже точные даты их показаний. Указано, например, что Бубнов разоблачил Крыленко на допросе 19 ноября 1937 г.

Когда летом 1955 г. в Главной военной прокуратуре проверялось «дело Крыленко» (проверка завершилась 10 августа того же года посмертной его реабилитацией), оказалось, что ни одна цитата, вошедшая в справку, не соответствует истине: даже этих — вздорных, фальсифицированных, выбитых, каких угодно — даже их в показаниях «разоблачителей» нет! Все они — все до одной! — сочинены авторами справки.

Казалось бы — всё и все в твоей власти: сочиняй, вкладывай в уста замордованных и истерзанных узников то, что нужно тебе для умерщвления новых жертв. Но и в этом, оказывается, не было тоже ни малейшей необходимости: ни одна цитата никем решительно не проверялась, любое сочинительство прини-

малось на веру, сколь бы мало на правду оно ни походило.

Что с ним сделали — с первым советским главкомом, — бросив в камеру на Лубянке? Догадаться нетрудно. 3 февраля 1938 г. — на четвертый день пыток — Крыленко написал «Заявление Генеральному комиссару госбезопасности гражданину Ежову», где «признался», что в заговор против Ленина вступил еще до Октября... И что в 22-м Бухарин вовлек его в организацию, готовившую переворот.

Допрашивали его два раза: 3 апреля и 28 июля. Разумеется, больше! Ведь тогда было правилом составлять «обобщенные» протоколы: после пыток конвейером, когда следователи менялись, а подследственный оставался без сна и без отдыха многие сутки, появлялся «протокол-резюме», куда палачи запихивали то, что считали нужным. В уста Крыленко они вложили десятка три имен его «сообщников» — тех, с кем вместе он вредил, предавал, продавал... С кем готовил переворот и собирался убить вождя...

Половину из них — заговорщиков и убийц — даже не арестовали: просто-напросто не дошли руки. Наркомюста Белоруссии Кудельского, которого Крыленко «назвал» своим сообщником, военная коллегия Верхсуда оправдала — факт редчайший для тех времен, но, как становится известным сейчас, все же не уникальный. И никто из тех, с кем Крыленко «состоял в заговоре», не дал показаний против Крыленко.

Да и какое имеет это значение: кто на кого? Все зависело от прихоти следователя, от убогости или богатства его фантазии, иногда от приказа, который он получил. «Раскидать» показания, то есть вложить их в уста того или другого арестанта, — это входило в число основных профессиональных качеств умельца: у одного получалось складнее, у другого не очень, а у третьего — просто халтура. В тридцать седьмом году никакой надобности состыковать показания разных людей вообще уже не было — захлестывал поток, все отлично проходило и без состыковки. Тем более что и следователи у каждого были разные, порою не знали ничего друг о друге и о делах, которые велись не то что в соседнем городе, но даже, случалось, в соседней комнате.

Перекинутый внезапно на другие дела, следователь

Коган сдал производство по делу Крыленко своему коллеге Аронсону. Судьба их сложилась по-разному: Когана расстреляли в 39-м, а Аронсон благополучно дожил до «оттепели» и в 1955-м давал показания военному прокурору, обнаружив хорошую память. Он рассказал, что, увидев нового следователя, Крыленко воспрянул духом — расценил, очевидно, замену как добрую весть. К нему вернулось второе дыхание, он решил бороться. Отказался от всего, что подписал в феврале.

Но эйфория длилась недолго. Читая протокол, составленный Аронсоном, Крыленко увидел, что отказ от прежних показаний в нем не отражен. Напротив, там снова написано, что «подследственный во всем признается». Крыленко, по словам Аронсона, спорить не стал, впал «в подавленное состояние, подписал протокол и добавил, что его судьба больше его не интересует, он опасается только за судьбу семьи».

Всего лишь несколько месяцев назад на митинге в Красном зале Верхсуда СССР Крыленко произнес восторженный спич в честь «лучшего из лучших судей страны товарища Ульриха, которому верит народ, от которого всегда ждет такой же твердости и решительности, отличающей его как юриста сталинской школы». Теперь товарищу Ульриху предстояло не ударить лицом в грязь и оправдать эти пожелания.

Суд над руководителем советской юстиции длился все те же 20 минут. Так и отмечено в протоколе — с подкупающей педантичностью: 20 минут. А сам протокол занимает 19 машинописных строк: привычный объем, стандартный для таких дел. Крыленко, насколько можно судить по протоколу, все подтвердил, но подробных показаний не дал, сказав, что устал. Ни Ульрих, ни его подручные Никитченко и Горячев спорить не стали: в их функции входило лишь огласить приговор.

Это они и сделали. Через несколько минут Николая Крыленко не стало.

В показаниях Аронсона, данных им в 1955 году, есть фраза: «Начав читать подготовленный мной протокол, Крыленко остановился на фамилии Антонова-Овсеенко, спросив: «И его тоже?» Получив подтверждение, он стал читать дальше и больше к этому вопросу не возвращался».

Владимир Александрович Антонов-Овсеенко попал в лапы еще одного костолома и мастера детективных сюжетов — заместителя начальника 13 отделения 3 отдела (отделение занималось так называемой экономической контрреволюцией; при чем здесь Антонов-Овсеенко, объяснить не берусь) ГУГБ НКВД СССР Шнейдермана[1].

Реабилитации Антонова-Овсеенко, состоявшейся 25 февраля 1956 г., предшествовала, как водится, проверка, которую вела Главная военная прокуратура. Оказалось, что в следственном производстве нет никаких материалов (даже фальшивых), которые уличали бы Антонова-Овсеенко в какой бы то ни было «сомнительной» деятельности. Вообще! Никаких!

Кроме, все-таки, одного. Известный в то время прозаик и общественный деятель, председатель Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС) Александр Аросев (совсем недавно он вместе с Бухариным ездил в Париж выкупать у немецких социал-демократов архив Маркса, а вернувшись, попал сразу в «ежовые рукавицы») дал показания (тоже, естественно, выбитые) о том, что состоит в «контрреволюционной шпионской троцкистской организации», куда, кроме него, входят дипломаты Владимир Антонов-Овсеенко и Александра Коллонтай, писатели Вера Инбер и Валентин Катаев. Из этого «квартета» арестован и замучен был только Антонов-Овсеенко,

[1] Достойная служба малограмотного Иоганна Ильича Шнейдермана (он окончил 4 класса) оборвалась вскоре после того, как был уничтожен Антонов-Овсеенко. Его арестовали уже в ноябре 1938 г., обвинив в связи с врагом народа Козловой. Вина этой старой большевички (с 1916 г.), заурядной шпионки ГПУ, промышлявшей в Польше, состояла в том, что «по агентурным данным она ранее была любовницей Пилсудского». Как сказано в лаконичной, но емкой справке Особого отдела НКВД, «данное обвинение отпало ввиду ее крайней физической непривлекательности», и Козлова была освобождена. Шнейдерман же продолжал сидеть, хотя, казалось бы, связь не с врагом народа не является уголовно наказуемой. Крайняя физическая непривлекательность препятствовала, по мнению следствия, любовным притязаниям Пилсудского, но не исключала греха Шнейдермана. Отбыв 8 лет в лагере, а потом почти столько же в ссылке, он дожил до оттепели и давал показания против своих бывших коллег, в частности против Родоса и Лангфанга, о которых рассказано в этой книге. Лихой рубака, вполне однозначно отличавшийся в камерах пыток, он уличал таких же мастеров, как он сам, в «вероломстве» и рассказывал, как они «лютовали».

остальные, возможно, даже не знали, к какой компании их прикрепили. На суде Аросев от всех своих показаний отказался — об этом можно, однако, узнать лишь из дела Аросева, но отнюдь не из «судебного» дела Антонова-Овсеенко.

В деле Антонова-Овсеенко есть один-единственный протокол допроса — от ноября 1937 года, без даты. Месяц потребовался истязателям, чтобы выбить у этого арестанта подпись под словами: «во всем признаюсь». Во всем — это значит: был германским и польским шпионом, руководил шпионским подпольем в борьбе с Испанской республикой (в каком-то смысле это так, только вывернуто наизнанку: по долгу службы, как почти все консулы мира, а не только советские, Антонов-Овсеенко, будучи генеральным консулом в Барселоне, занимался и советской шпионской резидентурой), исполнял спецзадания Троцкого, которые тот ему передавал через своего сына Льва Седова, через Крестинского, Раковского, Радека: все это лаконично перечислено в обвинительном заключении.

Больше его не вызывали — во всяком случае, никаких следов таких вызовов в деле нет. Вспоминался ли ему — в ожидании неизбежного — прошлогодний процесс Зиновьева — Каменева, на котором он присутствовал в качестве гостя? Вспомнилось ли то, что он написал — и напечатал в «Известиях» — о своих товарищах: «Зверская подло-трусливая контрреволюционная троцкистская банда убийц... Это не только двурушники, трусливые гады предательства, это диверсионный отряд фашизма... Я писал товарищу Кагановичу, что в отношении... (Зиновьева и Каменева. — *А.В.*) «выполнил бы любое поручение партии». Было ясно — да, вплоть до расстрела их как явных контрреволюционеров... И вся эта банда должна быть истреблена и будет истреблена». Вспоминались ли ему эти его — его! — заклинания и проклятья, его готовность на все — «вплоть до расстрела»?..

В тюремный кабинет, превращенный в «зал заседаний» военной коллегии Верховного суда СССР, его привели 8 февраля 1938 г., через пять дней после того, как истерзанного Крыленко бросили в камеру по соседству, добившись желанных признаний.

«Подтверждаете свои показания, данные на пред-

варительном следствии?» — с привычной усталостью спросил Ульрих, по бокам от которого сидели военюристы Зырянов и Кандыбин. «Нет! — решительно ответил Антонов-Овсеенко. — Все мои признания ложные. В результате истязаний я оговорил себя».

И Ульрих, и Зырянов, и Кандыбин все это слышали в том же «зале» множество раз, так что последний геройский поступок человека, руководившего в ту немыслимо далекую октябрьскую ночь штурмом Зимнего дворца и от имени Военно-революционного комитета арестовавшего Временное правительство, не произвел на них ни малейшего впечатления. Все через те же 20 минут они объявили ему приговор, но, вопреки отработанной процедуре, конвой отвел его не в подвал, а в прежнюю камеру. Что-то там не сработало — возможно, не нашлось палача...

Расстреляли Антонова-Овсеенко через два дня, 10 февраля: документ об этом содержится в деле...

Проверка, осуществленная в 1955—56 гг., обнаружила еще одну существенную деталь: как КГБ, так и Особый архив МВД СССР никакими «данными о принадлежности Антонова-Овсеенко к иностранным разведкам» не располагали и не располагают. Так гласит подшитая к делу справка. Иначе сказать, создателям дела с документальной точностью было известно, что обвинение полностью сфабриковано. Это их ничуть не смущало — они не видели ни малейшей нужды в том, чтобы хоть как-то его «оснастить».

Об арестах в печати не сообщалось, но время от времени можно все-таки было узнать, чей черед уже наступил и даже — чей приближается. Если в газетах, журналах, по радио или на многочисленных собраниях, митингах, конференциях человека называли товарищем, критикуя его «порочные взгляды», «примиренчество», «ротозейство» или что-то еще, помогавшее «подлым наймитам», — все понимали: час его скоро настанет. Если же он уже не был товарищем, если говорили о нем только в прошедшем времени как о чем-то несуществующем, — сомневаться не приходилось: для него этот час настал.

Именно так узнали об аресте Крыленко участники Первого Всесоюзного совещания наркомов юстиции и

судебных работников — уже на следующий день после того, как это свершилось. Выступая с очередной речью, прокурор СССР Вышинский походя бросил: «Кому не известна личность двурушника Крыленко, который работой занимался по-вредительски?»

Обсуждений в таких случаях не полагалось: принимали к сведению, и все! Но в зале собрались достаточно разумные люди, не только понимавшие, но и видевшие своими глазами, как снаряды все ближе и ближе ложатся рядом. Да что там видевшие — лично и персонально принимавшие участие в этом же самом отстреле. Помнившие другое важнейшее указание союзного прокурора, к ним же и обращенное: «Необходимо произвести глубокую дезинфекцию...» На одном из пленумов Верховного суда СССР он посоветовал судьям и прокурорам принять в ней самое активное участие. Дезинфекция шла полным ходом — вопрос стоял так: кто кого успеет дезинфицировать раньше? Кому стать дезинфектором, а кому — дезинфицируемым? Третьего не дано.

И закипела работа...

Одним из первых попал под дезинфекцию недавний прокурор СССР Иван Алексеевич Акулов, занявший этот пост сразу же после того, как была образована союзная прокуратура, — в 1933 г. Легко представить себе, какие чувства испытывал профессор Вышинский — с его благородным происхождением, аристократическим воспитанием и знанием римского права, — работая целых два года заместителем (!) этого сына лавочника, окончившего лишь несколько классов начальной школы и ушедшего в революцию.

Прямой, резкий, но добродушный, несмотря на то что какое-то время ему пришлось быть даже заместителем председателя ОГПУ; человек «непреклонной воли, кристальной честности и огромного мужества», пользовавшийся «особым уважением и доверием товарищей» — так характеризует его жена Бухарина Анна Михайловна Ларина, Акулов был совершенно непригоден для той роли, которую — по оформившемуся уже замыслу вождя и учителя — предстояло сыграть Генеральному прокурору в ближайшее время. Ни оратор, ни интриган, ни тем более режиссер-постановщик, он неизбежно был должен уйти. Сначала — только с работы.

К тому времени стала вакантной отнюдь не ключевая, скорее даже декоративная, должность секретаря Центрального Исполнительного Комитета (председателем был Калинин) — после ареста занимавшего долгие годы этот пост Авеля Енукидзе. Вот туда и перебросили Акулова, освободив его место для Андрея Вышинского. Прокурор СССР стал готовить публично процессы, секретарь ЦИКа — вручать ордена: такая произошла рокировка.

Катаясь на коньках, Акулов упал, получил сотрясение мозга. Несчастье может случиться с каждым — каток на то и каток, что там скользко. Но сразу же прокатился слух, державшийся упорно и дóлго: падение не было случайным, кто-то умышленно подставил подножку, чтобы убрать бывшего зама Ягоды и прокурора Союза: очень, мол, много знал...

Однако Акулову была уготована не такая экстравагантная, а нормальная по тем временам гибель. Обвинение было обычным, и «признание» — тоже: состоял во «вредительской банде» Пятакова и в «шпионском военном заговоре», вовлеченный туда Якиром.

Судили Акулова Ульрих, Рутман, Преображенцев — дали ему говорить три минуты. Тот успел сказать, что ни в чем не виновен, что «на следствии потерял волю из-за побоев» — оттого и признался. В том, чего не было. Самое поразительное: слова, взятые в кавычки, занесены в протокол, хотя обычно заявления такого рода если и находили какое-то отражение в протоколе, то лишь иносказательно, с помощью прозрачных, но все-таки эвфемизмов. А тут — открытым текстом! Впрочем, никто, разумеется, на этот текст ни малейшего внимания не обратил.

Итог очевиден: у Вышинского стало меньше еще одним конкурентом, который его унижал самим фактом своего существования. Памятью о том, **что** было и **как** было.

Затем один за другим стали исчезать судьи и прокуроры, непосредственно причастные к дезинфекции. Как, впрочем, и те, что не имели к ней отношения, мирно занимаясь гражданскими делами — семейными, наследственными, трудовыми...

В юстиции работало много поляков и латышей — так повелось с первых недель революции. Некоторые

пришли сюда с опытом чекистской работы, другие — благодаря диплому, который успели получить в университетах Варшавы и Риги, где действовали более мягкие законы, чем в метрополии, и даже полиция отличалась большей терпимостью.

Видных деятелей юстиции не могли тронуть без согласия, а то и прямого указания Вышинского, а уж он-то имел к полякам особое расположение, так как по отцовской линии происходил из древнего шляхетского рода. Поэтому поляков из юстиции вычищали с особенным сладострастием. Одним из первых попал под метлу председатель Специальной коллегии Верховного суда СССР С. С. Пилявский, отец известной актрисы МХАТа Софьи Станиславовны Пилявской, с которым Вышинский работал вместе в прокуратуре[1]. Этот старый революционер, член социал-демократической партии Польши и Литвы, а затем, с октября 1903 г., большевик, отличался независимостью суждений и крутым нравом, часто спорил с будущим прокурором Союза, который в начале тридцатых годов еще не казался недосягаемым и неприкасаемым, возвращал в НКВД дела, которые считал расследованными плохо и тенденциозно. Этого, видимо, было достаточно, чтобы он был объявлен членом (несуществующей, разумеется) террористической, шпионской, диверсионной «Польской организации войсковой».

Допрошенный, судя по протоколу, один-единственный раз, он категорически отверг все обвинения, устоял под пытками и никаких признаний не подписал. На его защиту мужественно стала жена Елена Густавовна Смиттен — пыталась пробиться к Вышинскому, которого хорошо знала, писала ему — и даже вождю! — письма с требованием освободить «честного большевика-ленинца». Она сама была человеком с революционным прошлым, одно время заведовала статистическим отделом ЦК: все еще верила в справедливость, в принципы, в идеалы. За ней тоже вскоре пришли —

[1] Станислав Станиславович Пилявский — юрист, дипломат, политический деятель. Был сотрудником Польского бюро ЦК РКП(б), начальником отдела юстиции при Революционном комитете Польши, начальником тыла 1-й Конной Армии под водительством Семена Буденного, председателем польской делегации по делам репатриации, членом советской делегации в Генуе (1922 г.), помощником прокурора РСФСР, заместителем председателя Верховного суда СССР.

и увели туда, откуда мало кому удалось возвратиться. Ей не удалось...

Пилявский держался исключительно стойко, хотя его «уличали» другие «польские террористы», в том числе Уншлихт[1], который, отказываясь от своих показаний на следствии, сумел лишь вымолвить в суде: «Я не смог перенести пытки».

А вот Пилявский смог. Его судили без участия Ульриха — Никитченко, Горячев и Рутман. Приговорили к расстрелу. Уничтожили в тот же день: 25 ноября 1937 г. По слухам, доходившим до семьи, назывались другие даты его гибели: все они ложны — «акт о приведении приговора в исполнение» сохранился...

Кроме польских шпионов в недрах советской юстиции орудовали еще и шпионы латвийские — бывшие красные стрелки, чекисты, наиболее верная и несокрушимая кремлевская гвардия. Среди них выделялся Георгий Яковлевич Мерэн, большевик с 1905 г., председатель Водно-транспортной коллегии Верховного суда СССР, ставший — по формуле обвинения — «активным участником нелегальной латышской национал-фашистской организации», шпионом латвийской разведки, куда был завербован самим Яном Берзином[2].

Мерэн не только ни в чем не признался — даже под чудовищными пытками, которым его подвергли, — но и «проявил агрессивность», выкрикивая проклятия и ругательства своим палачам. Заочным и очным. Чтобы оградить Ульриха и его коллег от чрезмерных нервных перегрузок, было решено Мерэна не отдавать под суд. И даже не «пропускать» через Особое совещание, хотя оно и вообще-то «судило» заочно. Мерэн удостоился меры, аналога не имевшей. 11 февраля 1938 г. — меньше, чем через две недели после ареста

---

[1] Иосиф Станиславович Уншлихт — большевик с начала века, участник революции в Польше (1905—1907 гг.) и Октябрьской революции в Петрограде, где был членом Военно-революционного комитета. Работал заместителем председателя ВЧК, ГПУ. Потом заместитель наркома по военным и морским делам. Последний ответственный пост — начальник Главного управления гражданского воздушного флота. На протяжении многих лет входил в состав ЦК.

[2] Ян Карлович (он же Павел Иванович) Берзин — псевдоним Кюзиса Петериса, большевика с 1905 г., участника трех революций. Долгие годы был начальником советской военной разведки. Расстрелян в 1938 г.

Крыленко, — Вышинский и Ежов подписали «совместное постановление Прокуратуры СССР и НКВД СССР» о казни Мерэна — без формулы обвинения, без приговора, без какой бы то ни было процедуры.

Тремя днями раньше был расстрелян «латвийский шпион» и «активный участник латышской националистической диверсионно-террористической организации» — начальник сектора спецсудов Наркомата юстиции СССР Ян Янович Кронберг, один из ближайших сотрудников Крыленко. В разное время та же участь постигла других членов все той же придуманной на Лубянке «латышской террористической организации» — председателя Транспортной коллегии Верхсуда СССР Юрия Юрьевича Межина, помощников главного транспортного прокурора Эдуарда Карловича Сината и Аркадия Марковича Липкина, председателя Военного трибунала Московского военного округа Леонарда Яновича Плавнека, который был шпионом не только латвийским, но еще и германским.

Леонард Плавнек был человеком широко известным, отличившимся на разных фронтах Гражданской войны. В числе еще очень немногих Плавнек получил орден Красного Знамени, а незадолго до ареста — очень ценившийся тогда орден Красной Звезды.

Впрочем, этот последний орден получил он отнюдь не за боевые заслуги, а за особенно ревностное участие в «судебной» расправе над военными, среди которых были и недавние его фронтовые товарищи. Выездная сессия Верхсуда под его председательством превратила в «выжженную землю» Сибирский военный округ, отправив на казнь едва ли не весь командный состав. Вот за этот подвиг он и был высоко отмечен и почти сразу же арестован.

О том, что с ним происходило в застенке, достаточно красноречиво говорит оказавшееся в деле письмо. Оно адресовано Ворошилову и написано другим арестантом — бывшим начальником политуправления Северо-Кавказского военного округа И. А. Кузиным: «Для устрашения меня и с целью вынудить дать ложные показания меня бросили в одиночную камеру к полумертвому Плавнеку (Вашему другу и соратнику по гражданской войне, товарищ народный комиссар), которого организованно и систематически избивали в

течение четырех дней». Ответ от Ворошилова не пришел, зато пришел иной — в виде смертного приговора.

Особо сложилась судьба еще одного латвийского шпиона — Яна Яновича Рутмана, чье имя уже упоминалось как одного из судей, отправивших под пулю Ивана Акулова и Станислава Пилявского. Этот стойкий большевик с 1911 года, руководивший весьма плодотворно военно-революционным трибуналом Киевского военного округа еще в 1920 году, был едва ли не самым активным и несгибаемым членом военной коллегии — его имя стоит под множеством смертных приговоров, вынесенных вчерашним товарищам по общему служебному кабинету. 9 декабря 1937 г. Рутман благополучно отправил на тот свет еще двух близких товарищей (Липкина и Фрейдсона) и с легким сердцем пошел домой. Поужинав, лег спать — и проснулся от стука в дверь...

Дело его начинается заявлением на имя Ежова — от 3 февраля 1938 г.: «После долгого запирательства на следствии я решил чистосердечно рассказать о всех своих преступлениях». Никаких следов его запирательства — с 10 декабря по 3 февраля — в деле нет. Его не допрашивали, а избивали — побои не запротоколируешь. Наконец, он признался, что шпионить в пользу латвийской разведки начал несколько лет назад, что готовился свергнуть Советскую власть и перестрелять ее вождей по заданию Алксниса[1], Берзина и Эйдемана[2].

28 августа 1938 г. он предстал пред очами своих коллег — Ульриха, Дмитриева и Романычева, — вместе с которыми в том же самом зале, за спиной первопечатника Федорова, еще совсем недавно выносил приговоры другим. Теперь выслушал свой: с той же быстротой и с той же лаконичностью. Убедился, что конвейер работает бесперебойно, несмотря на его отсутствие: это могло служить утешением. Хотя, вероятно, и слабым.

[1] Яков Иванович Алкснис — командарм 2 ранга, заместитель наркома обороны и командующий военно-воздушными силами Красной Армии. Член Судебного Присутствия, осудившего на смерть Тухачевского, Якира и других военных руководителей. Арестован и расстрелян через несколько месяцев после их казни.

[2] Роберт Петрович Эйдеман — комкор, командующий рядом фронтов во время гражданской войны, округов — после ее окончания. Непосредственно перед арестом — Председатель Центрального совета Осоавиахима. Расстрелян по приговору на процессе Тухачевского — Якира.

Интересно, к слову, что два участника его «шпионской группы» благополучно миновали ловушки и в дни, когда Рутмана посмертно реабилитировали, оказались на высоких рабочих местах: Н. П. Круминь был заместителем председателя Верхсуда Латвии, а Ф. Ф. Гайшпунт — членом этого суда. Они даже не знали, какой меч над ними был занесен.

И так уже выжженная земля продолжала гореть. Последовательно были уничтожены главный транспортный прокурор СССР Герман Михайлович Сегал; председатель транспортной коллегии Верхсуда СССР Борис Яковлевич Фрейдсон; председатель гражданской коллегии Верхсуда РСФСР Алексей Александрович Лисицын; заместитель председателя уголовной коллегии Верхсуда СССР Федор Михайлович Нахимсон[1], переживший Крыленко меньше чем на год и (горькая ирония судьбы!) обвиненный в том, что вместе с Крыленко был членом одной и той же «тергруппы»; заместитель председателя комиссии по амнистиям при ВЦИК Николай Михайлович Немцов; транспортный прокурор Анисим Анисимович Романенко и другие — имя им легион.

Сюжетные коллизии иных судеб юристов высшего эшелона отличаются своей непохожестью от тех стереотипов, которые удручают при чтении архивных дел: одно и то же, одно и то же. Но есть и отличия — лицá необщее выражение...

Яков Борисович Шумяцкий был членом Верховного суда СССР, а потом, впав в немилость Крыленко, заведовал бюро жалоб Наркомторга РСФСР. Арестованный в самом конце 1938 г., уже при Берии, он был обвинен в том, что «поддерживал близкие связи с врагами народа Рютиным, Теодоровичем[2] и Мосиной, которые дали против него показания».

---

[1] Родной брат известного большевика Семена Нахимсона, чье имя одно время носил Владимирский проспект в Ленинграде. Семен был председателем Ярославского губисполкома. Схвачен во время белогвардейского мятежа и казнен. Федора Нахимсона расстрелять не успели: после оглашения смертного приговора он умер от разрыва сердца.

[2] Иван Адольфович Теодорович — член партии с 1895 года. С 1907-го — член ЦК. Участник Октябрьской революции. Входил в состав первого Советского правительства (нарком продовольствия). Расстрелян в 1937 г.

На следствии Шумяцкий отрицал все обвинения (террор, диверсии, шпионаж...), но мало ли кто и где отрицал — обычно это никак не влияло на исход. А тут повлияло: Шумяцкому дали всего-навсего 5 лет лишения свободы, отбыв которые он отправился в ссылку — в Нижне-Ангарск Красноярского края, где благополучно дождался «оттепели» и вернулся в Москву. Он сразу же принялся хлопотать о реабилитации и добился успеха. Результаты проверки, осуществленной тогда Главной военной прокуратурой, проливают свет на то, сколь обоснованным было его осуждение, как и на то, почему было оно столь баснословно гуманным.

Показания Рютина от 24 сентября 1932 г. дают понять, в какой мере он «уличал» Шумяцкого: «Мои взгляды разделял Яков Шумяцкий, теперешний член коллегии Наркомтруда, и Герасимович... Кстати, последняя встреча с Яковом Шумяцким и Герасимовичем была лишь месяца полтора назад. Они как старые товарищи зашли ко мне. Шумяцкий стал рассказывать, как его прорабатывали за оппортунистические ошибки, допущенные в одной статье, причем, конечно, высмеивал эту проработку. Мне показалось, что он целиком разделяет мои взгляды. Но когда я высказал мысль о необходимости смены руководства партии, он высказался отрицательно. Я начал его обвинять в том, что он непоследователен, что раньше он отрицательно относился к политике Сталина, а теперь занимает такую межеумочную позицию. Споры у нас под конец приняли довольно бурный характер, и разошлись мы довольно холодно. На прощанье, после чая, Шумяцкий, правда, сказал, что нам все-таки надо было бы встречаться, но я ему ответил, что не принадлежу к беспринципным людям, которые болтаются и туда и сюда, и нам при встречах будет не о чем говорить».

Таким он был, несгибаемый Рютин — кружным путем приходит к нам еще одно подтверждение цельности и принципиальности этой яркой, мужественной личности, не только не дрогнувшей в час испытаний, но и не сдавшей ни одной из своих позиций. Открывается нам и лицо юриста Шумяцкого. Конечно, показания Рютина — в его защиту, но больно об этой защите узнать.

Убедительно отверг Шумяцкий и еще одни показа-

ния, которые дала против него осужденная (и казненная в тот же день) коллега Шумяцкого — Мосина: «Лживость ее показаний подтверждается хотя бы тем, что в 1938 г., когда я якобы признавался ей в принадлежности к троцкистской организации, я давал информацию о ней в НКВД, где излагал ее настроения. Я был хорошо осведомлен, что она может быть арестована со дня на день. По этим хотя бы соображениям я не мог говорить ей о своей принадлежности к троцкизму».

Юридические документы лишены эмоций: их сила и убедительность — в сухой, протокольной бесстрастности. Именно ею и обладает справка, подшитая к делу на листе 75. В ней всего несколько строк: «...подтверждается, что гр-н Шумяцкий Я. Б. с 3 ноября 1937 г. и до декабря (число не указано. — *А. В.)* 1938 г. сотрудничал с органами НКВД».

Справку выдали — и прислали в суд — не годы спустя, в эпоху реабилитаций, а сразу же после его ареста. Означать она могла только одно: косвенно, но достаточно недвусмысленно ведомство, ее выдавшее, хлопочет за своего сотрудника. Хлопоты увенчались успехом.

Вообще, отметим попутно, беспощадно и деловито расправляясь со своими штатными палачами, уничтожая — эшелон за эшелоном — организаторов и исполнителей массового истребления людей, НКВД-МГБ не так уж редко выручал «общественников», «доброжелателей»: своих осведомителей, прозванных в народе «стукачами». Не всегда, разумеется, но — часто. От их голов либо вообще отводили «карающий меч», либо с помощью различных амортизационных механизмов смягчали его удар. Нам предстоит еще не раз убедиться в этом.

Существовало — и существует поныне — убеждение в том, что какое-либо заступничество за попавших в «ежовые рукавицы» исключалось уже потому, что грозило карой любому, кто на это решил бы отважиться. Да и успеха иметь все равно не могло: «у нас зря не сажают».

Так оно обычно и было, но, случалось, заступники иногда находились. И — тоже случалось: их слово, имя, личные связи влияли на приговор, на судьбу.

Например, несомненно, что заступничество Вышинского спасло жизнь всем трем его помощникам, не избежавшим ни пыток, ни лагерей, но дожившим до своей реабилитации и — сломленными, измученными, тяжело больными — вернувшимся домой в середине пятидесятых годов.

Борис Лазаревич Борисов, Рубен Павлович Катанян и Евсей Густавович Ширвиндт были арестованы в конце 1938 г. и обвинены в том, что являлись членами «эсеро-меньшевистской (!) террористической группы в органах юстиции и прокуратуры», хотя придумать, чем же конкретно занимались эти «эсеро-меньшевики», следствию было недосуг. Перед судьями предстали «члены», неизвестно что делавшие в качестве таковых и даже неизвестно что собиравшиеся делать. В результате истязаний (этот факт подтвержден последующей проверкой) все они оговорили друг друга и множество своих коллег. Но вмешалась неведомая сила, и дело начало рассыпаться.

Военным трибуналом Московского военного округа был оправдан «участник группы» профессор Георгий Никитич Амфитеатров[1], в сговоре с которым признались и Борисов, и Ширвиндт. Он — оправдан, а они — нет: осужденные на 8—10 лет лагерей, они потом, отбыв наказание, были отправлены на поселение, а после смерти Сталина обрели и свободу, и официальное признание своей невиновности.

Известный адвокат Илья Брауде, стажером которого я был последние два года его жизни, хлопотал тогда о реабилитации своего давнего товарища Рубена Катаняна. Помню письма, которые он писал ему в город Спасск Карагандинской области, где тот отбывал

[1] Будучи студентом, я слушал лекции профессора Амфитеатрова по гражданскому праву, а занимаясь в аспирантуре Всесоюзного института юридических наук, где он работал старшим научным сотрудником, часто встречал его. Невысокого роста, безупречно одетый, подчеркнуто вежливый и церемонный, он производил впечатление человека, отрешенного от мира сего. Тихий голос, безразлично-усталый взгляд из-под пенсне, стабильная неулыбчивость, сухость бесцветно обкатанных реплик, которые он себе иногда позволял, неохотно вступая в разговор, делали его не слишком контактным. Мы знали, что он «сидел»: это знание неизбежно делало его в наших глазах прокаженным. И он тоже, конечно же, чувствовал это. Какой улыбки, каких «контактов» можно было от него ждать?

ссылку. И помню его рассказ о том, что именно прокурор Союза, а не кто-то другой, спас жизнь и Катаняну, и двум остальным своим бывшим помощникам. Спас, по уверению Брауде, довольно оригинальным, хотя, в сущности, элементарнейшим способом: в разговорах с Ульрихом он всячески подчеркивал их «ничтожность», «никчемность» и «примитивность». Неопасность — если проще сказать. И Ульрих понял своего всесильного и мудрого друга. Понял — и уважил. Он не мог бы сделать это лишь в том случае, если бы в списке тех, чьи дела поступили на рассмотрение военной коллегии, против их фамилий стояла цифра «1» (то есть заранее предрешенная «высшая мера»). Цифра «2» означала 10 лет лагерей. Отсутствие какой-либо цифры развязывало судьям руки и открывало свободу действий. Прокурор СССР не мог не знать, стоит ли цифра против фамилий его бывших помощников: ведь эти списки ему приходилось визировать. Так что — в известных пределах — свобода на сей раз имелась и у него.

Так ли все это было или как-то иначе? Кто даст стопроцентную гарантию? История советского периода, особенно все, что касается террора, массовых репрессий, неизбежно будет во многом строиться на свидетельствах очевидцев, на изустных рассказах, полученных порой не из первых, а из вторых, даже из третьих рук, ибо, как бы широко ни раскрывались архивы, множества документов мы там не найдем. И потому, что они уничтожены, и потому, что их попросту не было. Что побудило такого монстра, как Вышинский, проявить гуманность, если только он действительно ее проявил? Об этом можно лишь догадываться. Все трое, я думаю, на самом деле верно служили ему, а шевельнуть пальцем без всякого для себя риска — не такая уж высокая плата за этот полезный труд. А может быть, все куда прозаичней и деловитей: ведь слух о его покровительстве, о заступничестве, о благородстве распространился, и это не только возвышало его в глазах подчиненных, но и побуждало других к столь же преданной, ревностной службе.

Но ревностная служба, как мы знаем, сама по себе никого от расплаты еще не спасла. Напротив, слишком обширная осведомленность и соучастие в грязных де-

лах наиболее прямой и неизбежный путь к общей могиле. Почти все заплечных дел мастера, принимавшие участие в уничтожении видных юристов, были вскоре расстреляны или отправлены в лагерь: Лулов, Волков, Горбунов, Коган, Соколов, Сагайдак и другие. Расстрелян и следователь НКВД Армении Рубен Арутюнян, который вел следствие по делу Катаняна. (Почему вызывали «варяга» из Армении — неизвестно: ведь Катанян жил и «вредил» в Москве. Впрочем, цель очевидна: выдать жертву на растерзание соплеменнику, «своему»! И тем самым понудить его к особой жестокости и безусловной непримиримости: чтобы не обвинили потом в потворстве.) Другие наказания избежали (во всяком случае, иных сведений найти мне не удалось). Был ли какой-то потайной смысл в том, что следственные протоколы и иные процессуальные документы не содержат имени-отчества следователя или хотя бы инициалов? Не знаю. Возможно. Во всяком случае, их отсутствие универсально, и практически оно исключает возможность «выйти на след». Макаров... Борисов... Сколько тысяч честных людей носят эти фамилии! Как найти в их кругу палачей и мучителей?

Особняком стоит одна яркая фигура — тоже из числа работников тех органов, которые теперь принято почему-то называть «правоохранительными» (интересно, **какое** право и **чье** право охраняли они не только в сталинские, но и в хрущевско-брежневские времена? Да и после, и после...). Для меня, четверть века работающего и более тридцати лет печатающегося в «Литературной газете», эта фигура особенно интересна.

Сегодня кажется невероятным: с 4 декабря 1935 г. по 26 сентября 1937 г. «Литературную газету» возглавлял помощник Главного военного прокурора СССР диввоенюрист (соответствует званию генерал-лейтенанта юстиции) Лев Матвеевич Субоцкий (в некоторых документах его фамилия пишется через два «б»: Суббоцкий). Исходя из того, что в это же время он неоднократно заменял отсутствующего шефа, подписывая приказы как «врио Главного военного прокурора», следует считать: во главе «ЛГ» стояло второе лицо военной прокуратуры страны.

Правда, этот пост занимал не прокурор, а критик Субоцкий, на счету которого к тому времени были более чем скромные творческие свершения: две тощие брошюрки и несколько газетных статей. Но куда большее значение имел не творческий багаж, а послужной список. Карьерные виражи этого самоучки (он окончил лишь гимназию, но все же гимназию!) зримо отражали безумие и хаос эпохи. Уже в восемнадцать лет он становится лихим трибунальцем, безжалостно творящим революционную законность. Несколько месяцев спустя получает партийный билет и, двадцати одного года от роду, едет в Москву делегатом Десятого съезда: значит, успел себя проявить! Вместе со всеми его делегатами бежит по льду Финского залива, чтобы на крови кронштадтских мятежников восторжествовал большевизм, и получает за это первый орден Красного Знамени под номером 93. Номер более чем почетный — не случайно же он всюду его потом называл, перечисляя награды.

Уже к началу тридцатых две профессии, им же избранные, следуют параллельным курсом: начальник отдела Главной военной прокуратуры — и секретарь Оргкомитета Союза советских писателей; помощник Главного военного прокурора — и завотделом литературы и искусства «Правды». И, наконец, скачок: из «Правды» в «ЛГ»... Оставляю в стороне зловещую немыслимость этого симбиоза, пытаюсь понять: кем же он был — трибунальцем в литературе или литератором в трибунале? И, как ни странно, прихожу к выводу: и тем и другим.

Ясное дело, не Горький выбрал в секретари Оргкомитета безвестного критика, не по творческим данным возглавил он писательскую газету. Но анкета сама по себе мало что говорит. Партийные выдвиженцы во главе учреждений культуры — факт обычный для тех времен. Еще раньше, в конце двадцатых — начале тридцатых, кресло главного редактора «ЛГ» занимал Семен Иванович Канатчиков, член партии со дня ее основания, освоивший грамоту в тюрьмах и ссылках, рабочий-модельщик (так он сам определял свою специальность), входивший в состав коллегии наркомата внутренних дел и возглавлявший отдел печати ЦК. Когда его арестовали (как всех, как всех...) в

1936 году, он сразу же написал из тюрьмы «глубокоуважаемому Иосифу Виссарионовичу» («...Вы лично меня знаете лучше, чем кто-либо другой»), утверждая, что не может считаться изменником человек, который исправно, как он, не по долгу службы, а по зову сердца, добровольно и оперативно доносил в НКВД о каждом «подозрительном» визитере и его высказываниях. Да не просто в НКВД — лично Ягоде или самым ближайшим его сотрудникам. Про себя как художника слова в том же письме вождю он сообщал: «Честно работал и боролся в области литературной со всякого рода уклонами». Других достоинств, видимо, не было.

Конечно, никакой «вражеской деятельностью» Канатчиков не занимался, все, что смогли ему вменить, — «хранение контрреволюционной литературы», которая, по его словам, была ему «нужна как писателю для справок». Канатчикову определили восемь лет лагерей (то есть по тем меркам едва ли не оправдали), но отбыть их он не успел: умер на лагерных нарах в сороковом году. Пока сидел, его преемник Лев Субоцкий воевал с «двурушниками» на страницах редактируемой им «Литгазеты» и еще успешнее — в недрах военной прокуратуры, которая не столько надзирала за НКВД, как ей положено по закону, сколько смотрела сквозь пальцы на все.

Пиком этой его деятельности — красным днём в личном календаре, — несомненно, следует считать 9 июня 1937 года, когда ему выпала особая честь освятить своим прокурорским участием законность «следствия» по делу Тухачевского и других «заговорщиков». Вместе с Вышинским и под неусыпным надзором следователей НКВД, не отходивших от них ни на шаг, Субоцкий встретился в тюрьме с каждым из тех восьми, кто через три дня получит пулю в затылок. И убедился: все они, действительно, «признают себя виновными». Оба прокурора — «гражданский» и военный — скрепили протоколы своими подписями, после чего Вышинский отправился на доклад к Сталину, который действия прокуроров одобрил и повелел всех обвиняемых расстрелять. «Допросы» отняли у Субоцкого почти целый день — как обошлась «Литгазета» в такой исторический момент без руководящего ока? Как-то, видимо, обошлась. Странно: никакого ордена

Субоцкому в тот раз не дали, хотя остальные участники столь успешно проведенной акции были отмечены «правительственными наградами». До главной «награды», которая ждала Субоцкого, — то есть до его ареста, оставалось еще три с половиной месяца. До ареста брата Михаила, что неизбежно должно было отразиться и на его судьбе, — одиннадцать дней.

До сих пор образ Субоцкого мне — и читателю, думаю, тоже — казался вполне однозначным, арест верного служаки, которого постигла судьба его жертв, — достаточно банальным для того времени событием. Во всяком случае, никакой неожиданности не сулящим. Между тем архивное дело и документы, там найденные, требуют внести в этот образ весьма важные коррективы.

Бредовые обвинения, ему предъявленные (участие в какой-то эсеровской террористической организации), обсуждать не стоит: все они тогда штамповались по одной колодке. Но сразу бросается в глаза рапорт на имя наркома обороны Ворошилова, подписанный Субоцким и главным военным прокурором С. Орловским и датированный тридцать четвертым годом. В рапорте ставится вопрос о немедленном освобождении более тысячи (!) заключенных, незаконно осужденных по фальсифицированным обвинениям только среднеазиатскими трибуналами! Одного этого было достаточно, чтобы обвинить «ходатаев» во вредительстве и пособничестве врагу. Но этот рапорт далеко не единственная «улика» против Субоцкого. По свидетельству военного прокурора М. М. Ишова, Субоцкий в 1934—1937 годах многократно выступал в защиту «врагов народа», а значит, добавим мы от себя, вступил в резкий конфликт с НКВД.

Стоит ли удивляться, что энкаведистские следователи упорно навязывали Субоцкому «террористические взгляды» (?!) и «участие в нелегальных сборищах». Под таковыми подразумевались встреча Нового года, праздничные застолья, а то и просто вечеринки «без всякого повода», что следствие воспринимало как очевидный и бесспорнейший криминал. После казни Тухачевского волна репрессий охватила высшие и средние эшелоны армии, у арестованных выбивали все новые и новые имена, так что Субоцкий, достаточно близко

знавший многих военных деятелей, не мог остаться в стороне от этой всеохватной метлы. Мы встретим его имя в показаниях руководящих работников политуправления Красной Армии. Хотел было по привычке написать: «в клеветнических показаниях», но осекся...

Мне не раз приходилось писать, что из самых благородных побуждений, стремясь защитить невинные жертвы от облыжных обвинений, все, кто способствовал их реабилитации (хотя бы посмертной), прибегал к единственно возможной до самого последнего времени тактике: отрицанию факта, вменяемого людям в вину. По этой схеме не было вообще никого, кто выступал бы даже с робкой критикой беззакония, сталинской политики, нравов, воцарившихся в стране, кто хоть как-то противостоял диктатуре и террору, кто осуждал их. Оно и понятно: другим путем реабилитировать жертвы было попросту невозможно.

Но теперь, освободившись и от этого унылого догматизма, от привычных стереотипов, мы можем сказать, что невиновность многих и многих состояла вовсе не в их рабской покорности и беспрекословной преданности вождю всех времен. Она — в том, что критические высказывания, а то и действия (сопротивление диктатуре) не составляли никакого преступления даже по законам, существовавшим в то время. Ибо «Сталин» и «родина» — понятия, равнозначные лишь в той удушливой атмосфере и на тогдашнем уровне лубянского правосознания. Дело вовсе не в том, что все добытые следствием показания были непременно враньем, а в том, что им давалась тенденциозная, целенаправленная и совершенно несостоятельная юридически оценка. Говорю об этом здесь потому, что иные из свидетельских показаний, призванных погубить Субоцкого, вовсе не выглядят лживыми. Напротив, все, что мы знаем теперь об этом человеке, побуждает считать: наряду с очевидной клеветой, записанной под диктовку следователей Малышева, Лебедева, Антипина, Игнатова, Гринберга и многих других, слышится подлинный голос Субоцкого, обращенный доверительно к друзьям и коллегам, а не к всеведущим чекистским ушам.

«...Лев Субоцкий привел якобы известные ему «факты» о «голоде» на Украине и Северном Кавказе и здесь

же заявил, что такое положение в этих районах вызвано жестокой политикой руководителей партии, которые, проводя насильно коллективизацию сельского хозяйства, истребляют наиболее культурных крестьян...» (показания В. Берлина, бывшего заместителя начальника агитпропа Политуправления РККА).

«...Он критиковал действия Ворошилова... враждебно оценивал внутрипартийный режим, клеветнически обвинял руководителей партии в бюрократизме, казенщине, праздности, в зажиме активности масс и запрете свободного высказывания политических взглядов... Враждебно критиковал (ну и оборотик! — *А. В.*) работу органов НКВД, называя чекистов дармоедами... На мою реплику: «Тогда ты тоже дармоед» Субоцкий ответил: «Нет, чекисты творят беззаконие, прячут в тюрьмы талантливых людей, а я защищаю вас, граждан СССР, от зверств ГПУ, чиновникам которого законы не писаны» (показания В. Винокурова, бывшего начальника отдела кадров политуправления РККА).

Что оставалось Субоцкому, который, несомненно, все так и говорил, полагая почему-то, что это не станет достоянием тех, кому законы не писаны. Впрочем — и не стало, пока из его собеседников не стали выколачивать показания. Он все отрицал, но, насколько можно судить по протоколам, — с большим достоинством. Не унизился не только до контробвинений, но даже до каких-либо «доказательств» неправоты своих обличителей. «Этого не было» — лаконичное и категоричное отрицание следует за каждым обвинительным пунктом. Ему вменили еще дружбу с Галиной Серебряковой (а стало быть, и с ее мужем — расстрелянным Г. Я. Сокольниковым), с арестованными Киршоном и Бруно Ясенским — он парировал: «Не вижу ничего противоправного в том, что писатель дружит с писателем. Они же не докладывали мне, что занимаются шпионажем и вредительством».

Следствие велось довольно вяло и затянулось до начала 39-го года. Ежова уже сменил Берия и наступил короткий и откровенно показушный период «исправления перегибов». Ульрих предал его суду по обвинению в измене, терроре и участии в контрреволюционной организации, а военная коллегия под началом бригвоенюриста Кандыбина признала за ним лишь «антисо-

ветские высказывания», оправдав во всем остальном. Шесть лет лагерей — таким был приговор. Любопытно: суду была представлена справка главного военного прокурора Н. Розовского, где сказано, что никаким «вредительством на службе» Субоцкий не занимался, а «некоторые недостатки, например, слабое руководство местами... объясняются загрузкой по линии газетной работы». Таким образом, можно считать, что «ЛГ» мешала уже тогда прокурорам, хотя и находилась под их прямым руководством, о чем их коллеги в уважаемом ведомстве могут сегодня только мечтать.

Субоцкий не сдался. Уже из лагеря он настойчиво требовал отмены неправого приговора. Не умолял, не взывал к милосердию, не описывал трудности лагерной жизни, не проклинал своих мучителей — сухо, кратко и решительно писал: приговор незаконен. Обращался к Вышинскому, который уже перестал быть прокурором Союза, но влияния не потерял. Однако спасение пришло не от него. Председателем Верхсуда СССР стал к тому времени Иван Терентьевич Голяков, который знал Субоцкого по совместной работе в Смоленске. Тоже не без греха (смертных приговоров на его совести хватало), но и не без известной смелости: о том, как он не поддавался даже Лубянке и отказывал в незаконных претензиях, рассказано в очерке «Осенью сорок первого». Так вот, Голяков, к которому попала очередная жалоба Субоцкого, увидел всю нелепость его приговора и воспользовался благоприятным периодом «послаблений». По докладу того же Ульриха (только что пел за упокой, теперь прокукарекал за здравие) пленум Верховного суда СССР преподнес Субоцкому поистине царский новогодний подарок: 31 декабря 1939 г. его дело было прекращено.

На прежний пост оправданного юриста и литератора уже не вернули. Сначала дали литсинекуру: почти до самой войны он служил заместителем главного в «Красной нови» и «Новом мире». Потом — до 44-го — был заместителем прокурора разных фронтов, пока начальство не сумело избавиться от этого настырного «искателя правды». Он оказался без работы, зарабатывал только пером, хотя критику такого масштаба и такой плодовитости это практически невозможно. В октябре сорок шестого ему удалось стать одним

из рабочих секретарей Союза писателей, окончательно расставшись с юридическим поприщем.

Тут начинается новый — и уже последний — виток его бурной жизни. Появляются первые признаки той кампании, которая вскоре будет названа (и войдет навеки в историю) борьбой с безродным космополитизмом. Союз писателей, естественно, уже и тогда был вибратором, особенно чутко реагирующим на любые колебания почвы. Вибратором и кувалдой. В мае сорок восьмого (через 4 месяца после убийства Михоэлса) по докладу Бориса Горбатова пленум СП «освобождает» Субоцкого в связи с необходимостью «укрепить секретариат более квалифицированным товарищем». Более квалифицированным признается Анатолий Софронов — его яркое присутствие в министерстве литературы длилось почти сорок лет. Субоцкий, которому не было еще и пятидесяти, изгоняется на досрочную военную пенсию!..

Но биография его не кончается. Не проходит и года, как имя этого критика (теперь уже только критика) снова замелькало в печати. На этот раз в списке «космополитов», травящих писателей-патриотов. Если честно, то в блестящем ряду Юзовского, Гурвича, Рудницкого, Данина, Борщаговского Субоцкий никогда не был. Теперь он с ними уравнен — не по таланту, по крови. Одна хулиганская статья следует за другой — в том числе, как ни горько это признать, и в «ЛГ» — от облыжных, диких и подлых обвинений защищаться негде и нечем. Можно, конечно, взывать к мудрости и доброте Иосифа Виссарионовича, но военный юрист мыслит другими категориями, привык к другим аргументам, другому языку и достоинство у него тоже другое. В декабре 51-го МГК партии объявляет Субоцкому строгий выговор с предупреждением «за космополитические ошибки» — судьба опять к нему благосклонна, сохранив не только жизнь, не только свободу, но и партийный билет. И, значит, оставив шанс.

Какой? Зачем?

Он еще дождался хрущевской оттепели и умер — ровесник века — в пятьдесят девятом году, оставив в истории «Литгазеты» очень короткую, немыслимо странную и весьма примечательную страничку.

ПРАВАЯ РУКА ВЕЛИКОГО ИНКВИЗИТОРА



Имя это когда-то было широко, чуть ли не всенародно известно, потом напрочь (и быстро!) забылось, потом, недавно уже, интерес к нему возродился, но совсем по другой причине. Реанимации этой способствовали не только воспоминания Александра Борщаговского («Записки баловня судьбы», журнал «Театр») и Камила Икрамова («Дело моего отца», журнал «Знамя»), статьи, время от времени появляющиеся в газетах, но и перевоплощение Льва Романовича Шейнина в толстячка Романа Львовича Штерна — писателя, героя «Факультета ненужных вещей». В этом романе, увидевшем свет лишь через много лет после смерти автора, Юрий Домбровский создал психологический портрет незаурядной личности, и, думаю, любопытно вернуться к некоторым фактам подлинной биографии прототипа — не для того, чтобы сравнить его с литературным героем (буквальное сравнение бессмысленно, факты двух биографий не совпадают, да и в фактах ли дело?), — нет, для того, чтобы на примере еще одной судьбы постигнуть зловещий лик породившей его эпохи.

Рискуя услышать возражения максималистов, я осмелюсь все же предположить, что Лев Романович Шейнин в отличие от фигляра и словоблуда Романа Львовича был даровитым человеком, выделявшимся из той среды юристов-практиков, в которой ему пришлось работать целых 27 лет. Тем страшнее и нелепей линия его жизни, еще в молодости с охотой — без всякой борьбы — проданной дьяволу. Эта выгодная поначалу продажа дала ему возможность как вкусить сладости от кровавого пирога, так и самому испить из той чаши, которую он умело и безмятежно готовил для тысяч других.

Память возвращает меня к годам моего детства,

когда имя Шейнина было окружено романтичной легендой. С этим именем связывалось представление о манящей воображение работе «смелых и находчивых», которые всегда на посту и которым дано проникнуть даже в самые хитроумные тайны «преступного мира». «Записки следователя» — крохотную книжицу в твердом переплете — зачитывали до дыр. Бессмысленно подходить к автору с нашим сегодняшним знанием о нем, как и к книжице — с сегодняшним представлением о том скромном жанре, в котором она написана. Тогда все гляделось не так, как сейчас. Советский детектив, как и судебный очерк, практически не существовал. Уже хотя бы потому, что основу того и другого составляют отнюдь не лучшие стороны современной действительности. То, что не украшает ни строй, ни время. В заданные рамки восторженного оптимизма не вписывались убийства и грабежи, насилия и поджоги. Для них — на худой конец — отводилось место в газетной хронике происшествий и в заметках «из зала суда».

Литературные миниатюры молодого следователя отличали два примечательных качества: во-первых, живой слог, умение короткими штрихами набросать портрет и воссоздать атмосферу; во-вторых же (это, пожалуй, главное), ощутимая достоверность, эффект присутствия: ведь автор ничего не рассказывал с чужих слов, он сам был активным участником действия и он же — главным героем.

Имелась в них и еще одна особенность, влиявшая тогда на читательское воображение: кроме «охвостья старого мира», подлежавшего безжалостному уничтожению, героями шейнинских новелл были и простые советские уголовники, в которых автору, по крайней мере, на страницах рассказов, удалось отыскать «душу живу». Пробуждать человеческое в падших — давняя гуманистическая традиция русской литературы, так что эта нота в записках нашего новеллиста отнюдь не казалась фальшивой. Кто мог подумать тогда, что именно их руками — хулиганов, воров и убийц — будет расправляться (и уже расправлялось!) лагерное начальство с истинными узниками ГУЛАГа?

Кто знает, стал бы Шейнин такой знаменитостью, даже просто юристом, не приди он на пепелище. Одних мастеров сыска социальный смерч отправил к

тому времени под «революционные» пули, других — на чужбину, третьих вычистил как классово чуждых. А преступность росла отчаянно, от налетчиков и бандитов страдала вся истерзанная Россия. Тогда и отправили комсомольские вожаки ловить преступников 16-летнего смышленого паренька, уже умевшего водить пером по бумаге и потому попавшего не куданибудь, а в Высший литературно-художественный институт имени Брюсова. Ни этот, ни какой-то другой он так и не сможет окончить, да и надобности в том не окажется: феерическая карьера, которая его ожидала, не зависела от дипломов. Иные качества были нужны для нее. Совершенно иные.

Двух людей судьба упорно вела навстречу друг другу. Круто взбираясь по служебной лестнице, молодой Шейнин уже в двадцать четыре оказался следователем по важнейшим делам Прокуратуры Союза. Его прямым и непосредственным шефом стал профессор Вышинский: в недавнем прошлом ректор 1-го МГУ, но главное — судья на самых громких (кто мог знать, что будут скоро и громче?) процессах —«Шахтинском» и «Промпартии». Отныне они пойдут вместе, и только вместе.

Шейнин обладал качествами, которые особо ценил стремительно набиравший высоту его новый шеф: исполнительностью, деловитостью и находчивостью. Индивидуальностью, столь блистательно отсутствовавшей тогда едва ли не у всех выдвиженцев. Вышинский терпеть не мог тугодумов и бездарей, кичливых выскочек с амбицией без амуниции. Он проницательно разгадал в молодом следователе преданность и готовность на все, но при этом еще и умение выглядеть, создать убедительный декоративный фасад. Лицедейство, именуемое профессионализмом.

Когда судьбоносным вечером 1 декабря 1934 г. Сталин прихватил с собой в литерный поезд Москва — Ленинград прокурора Вышинского, тот отправился вместе со своей «правой рукой» — молодым следователем республиканской прокуратуры Львом Шейниным, чье служебное положение ни в малейшей степени не отвечало масштабу трагедии, которую ему предстояло расследовать. Более могучие силы сыска были никому не нужны.

С этого времени они станут неразлучными. Во всех делах, «освященных» именем Вышинского, будет при-

сутствовать имя популярного и проницательного криминалиста из пролетариев, которого Андрей Януарьевич, став прокурором СССР, тотчас переведет к себе, сделает следователем по важнейшим делам, а затем и начальником следственного отдела Союзной прокуратуры.

Перед началом кошмарной трехактной «драмы века» (я имею в виду три так называемых «больших московских процесса») Шейнин преподнес Вышинскому поистине царский подарок — он расследовал дело о гибели врача зимовки на острове Врангеля Николая Вульфсона. По обвинению в убийстве врача были преданы суду начальник зимовки Семенчук и каюр Старцев. Речь шла не просто о жертве мстительных, растленных и полностью разложившихся людей, а о добром, бескорыстно и самоотверженно помогавшем «туземцам» враге, беспартийном большевике, с которым расправились перерожденцы, новые советские «баре», помыкавшие «простыми людьми» — униженными и обобранными. Заступник посмел перечить — и был зверски убит. Так представила это дело стране массовая печать. Нарочито педалировался и другой мотив убийства: антисемитизм. Тогда этот «мотив» должен был вызвать — и вызвал! — всеобщее негодование. Обвинять подсудимых в Верховный суд республики (то есть не «по рангу»), причем по рядовому (с точки зрения юридической) уголовному делу, пришел сам прокурор Союза. Он предстал перед своей страной в облике непримиримого борца за обиженных. Таким он и должен был остаться в сознании каждого, когда будет требовать казни для соратников Ленина.

Сейчас и этот процесс подвергнут сомнению, а дело против Семенчука и Старцева прекращено Верховным судом РСФСР. Разумеется, приговор, основанный только на косвенных уликах, всегда оставляет чувство неудовлетворенности и может быть оспорен. Если проверка показала, что достаточных данных для версии об убийстве не было, примем состоявшееся решение как данность. Ясно, однако, что оснований для намеренной фальсификации этого дела ни у прокурора, ни у следователя, ни у того, кто стоял за процессом и его направлял, не было никаких. Напротив, главная цель в

том-то и состояла, чтобы в преддверии чудовищной «судебной» лжи продемонстрировать подлинное торжество правосудия.

Кому были нужны безвестные, не представлявшие никакого политического интереса фигуры? Зачем было бросать тень на обвинителя, которому через три месяца предстоит явить миру грандиозный обман, преследующий действительно всеохватные, далеко идущие политические цели? Напротив, если что и было выгодно, так это убедительно всем показать честного, беспристрастного юриста, непреклонно отстаивающего истину, и только истину.

Подсудимые свою вину отрицали — никто не понуждал их к самооговору, хотя для наших умельцев вряд ли составило бы труд получить от них любое признание. Защита — ее вели лучшие адвокаты Николай Коммодов и Сергей Казначеев — не поддакивала обвинению, а очень решительно и бескомпромиссно спорила с ним. Ничто — ни одним штрихом — не походило на уже отработанную и неоднократно отрепетированную схему фальшивых процессов.

Так или иначе, акции Шейнина, проведшего следствие по громкому делу и описавшего затем ход расследования, поднялись еще выше. Написанная им небольшая новелла, «художественно» пересказывающая обвинительное заключение, входила во все многочисленные издания «Записок следователя», волнуя миллионы читателей кошмарными деталями полярной трагедии. Я никогда не мог понять, почему плодовитейший и популярнейший кинодраматург Лев Шейнин так и не перевел свое обвинительное заключение еще и на язык кино: сюжет поистине просился на экран.

Одна пустяковая вроде деталька заставляет о многом задуматься: в стенограммах «больших» московских процессов (как и в тех, что им предшествовали в 1934—1935 гг.) непременно хотя бы разок мелькнет имя Шейнина. Всегда словно бы невзначай. И непременно из уст прокурора: «Я зачитаю ответ, который вы дали следователю Шейнину...» Или: «Когда вас допрашивал следователь Шейнин...»

К чему бы? Ведь над «обработкой» арестованных трудилось множество заплечных дел мастеров — все они пребывали в полнейшей анонимности. Зато имя

Шейнина назойливо пропагандировалось. Убивалось при этом сразу несколько зайцев. Имя популярного литератора, создавшего себе самому репутацию видного криминалиста, придавало потайному следствию солидность и обоснованность. Это имя в читательском восприятии было связано не с пытками и фальсификацией, а с ювелирной работой профессионала высокого класса, для которого нет неразрешимых загадок. Его статус следователя прокуратуры, а не энкаведистского оперуполномоченного, служил гарантом законности. Наконец, неоднократное упоминание способствовало росту престижности его имени: в следующий раз оно весило еще больше, чем в предыдущий.

Оно было известно и тем, кто из членов политбюро, наркомов и основателей партии превратился теперь в рядовых подследственных. Шейнин всеми ими воспринимался как «человек Вышинского», его правая рука. Когда он появлялся на допросе, уже сломленные, уже измотанные физически и морально узники встречали упитанного, жизнерадостного и неотразимо логичного в своих рассуждениях человека как вестника печальной реальности, несущего вместе с тем луч надежды: он всегда что-то обещал, намекая на свои особые полномочия. Сам он, конечно, никого не пытал — в физическом смысле. Этим занимались другие: умельцев хватало. Прекрасно зная о застеночных тайнах, он приходил на готовое, чтобы добить: словом — не палкой. Убедить в бесполезности сопротивления, подготовить совместно — «в деловой обстановке» — приемлемый вариант показаний. Он вылизывал кровь и наводил глянец. Что страшней и подлее — не знаю. И шкалы, по которой можно определить меру падения и меру вины, — не знаю тоже.

Теперь, читая сочиненные им документы, я вижу, что слава его — грамотея и профессионала — была абсолютно дутой. Впрочем, и то верно: можно ли создать нечто из ничего? Вот один лишь отрывок из составленного Шейниным обвинительного заключения от 13 января 1935 г. по «делу 19-ти» (Зиновьев, Каменев, Евдокимов и др.): они «обвиняются в том, что большинство (?!) из них являются участниками... «московского центра»... что имело своим последствием (?!) убийство... тов. Кирова». О грамматике не говорю, о логике тем паче...

Слава его меж тем росла, книжечки выходили, их по-прежнему зачитывали до дыр. Интересны они и сегодня — чуть намеченными конспектами взятых из жизни сюжетов, которые под пером честного, подлинного писателя могли бы вырасти до больших социальных и художественных обобщений. Приметы времени: убийство учительницы Прониной, пожары в Саранске, судьба отца Амвросия... С одним рассказиком случился конфуз. Назывался он «Поединок» (в романе Ю. Домбровского сохранено его подлинное название). Автор живо описал, как был найден расчлененный труп неизвестной молодой женщины и как изобличен убийца: им оказался известный в ту пору московский судебно-медицинский эксперт Афанасьев, которого Шейнин походя обозвал «омерзительной карикатурой на человека». О блестящем мастерстве следователя говорили повсюду. Но в последующие издания «Записок» рассказ не вошел: и убийство, и блеск его раскрытия оказались липой. Убитая, пишет Ю. Домбровский, «преотлично жила на Дальнем Востоке с новым мужем». Реальная Нина жила, кажется, с новым мужем не на Востоке, а на Севере, но главное — жила! Расчленен был кто-то другой — не опознанный. И кто-то другой кого-то другого все-таки расчленил. Но найден не был. Впрочем, кто когда замечал такие накладки? Липой были тысячи тысяч придуманных преступлений, счет безвинно наказанных шел на миллионы. Какое значение в этом потоке могла иметь всего лишь одна загубленная судьба?

Прокурор с симпатией следил за успехами своего подопечного. Он любил эрудитов и многостаночников. Ведь и сам он был не только трибуном, не только «голосом народа», звавшим «стрелять взбесившихся псов», но и жрецом высокой науки, фундаментальным исследователем и теоретиком. А его правая рука — одновременно мастером сыска и мастером слова. Войдя в контакт с популярными драматургами братьями Тур, Шейнин принял участие в создании одной из самых репертуарных пьес того времени «Чрезвычайный закон», воспевавшей пресловутый закон от 7 августа 1932 г., который в разгар всеохватного голода предусмотрел жесточайшие кары: годы тюрьмы, если не хуже, давали даже за одну украденную картофелину, даже за один хлебный колосок. Под угрозой смерт-

ной казни оказались и дети — начиная с 12 лет. Вот этому «чрезвычайному закону» и была посвящена веселенькая «сатирическая комедия» следователя по важнейшим делам.

Новеллисту и драматургу едва-едва перевалило за тридцать, а он уже был светилом и в юриспруденции, и в литературе. Его приняли в Союз писателей, издавали и переиздавали, тоненькая книжица становилась все толще и толще, а машина уничтожения, которая жила по своим законам, втихомолку подбиралась уже и к нему. Группу «троцкистов», «диверсантов» «шпионов» и «террористов» обнаружили, естественно, и в Прокуратуре Союза (как всюду, как всюду!), начались аресты, плодились признания, чтобы в бездонный омут втянуть как можно больше людей. На всякий случай: ведь больше — лучше, чем меньше. Арестовали заместителя Вышинского — Григория Рогинского, арестовали видных деятелей этого ведомства — М. В. Острогорского, И. Н. Евзерихина, Г. М. Леплевского и других. Выбили показания и против Шейнина. А он, бедняга, не знал, проводя допросы «троцкистов», что сам состоит в тех же рядах и вот-вот окажется на допросе в роли подследственного. Но сборщики компроматов, как видно, перестарались: от некоего С. Г. Лукашева (20 марта 1938 г.) и некоей Е. В. Хлусовой (15 ноября 1938 г.) они получили «заявления», что Шейнин еще в 1918 г. «восхвалял Троцкого». Заявители и приемщики заявлений плохо знали биографию «объекта». В 1918 году Шейнину было 12 лет. Но заявления сохранились: это ружье — по законам драматургии — еще попробует выстрелить.

Нет никакого сомнения: упомянутые заявители («доброжелатели», как их всегда называла охранка) были сексотами НКВД и выполняли спущенное им предписание. В данном случае интерес представляют не сами доносы, а установка на то, чтобы они появились. Даже и в фарсовом варианте. Кто же их дал? С какой целью? За спиной Вышинского или с его согласия? Тридцать восьмой — пик ежовщины. Компромат на правую руку прокурора Союза без приказа Ежова собирать не могли. Но ведь Ежов хорошо знал, что Вышинский — «кадр» Сталина. Его опора. Копал под нее по своей инициативе? Или имел указание? Или — просто на всякий случай?

Мелкие сошки собирали улики против Шейнина, «сошки» куда как более крупные поручали ему дела особой государственной важности. Годы спустя, в критический момент, когда жизнь его висела на волоске, он достаточно ясно напомнит об этом в обращении к Маленкову и Хрущеву (1 сентября 1953 г.): «Работая в Прокуратуре СССР, я не раз выполнял ответственные задания Политбюро и лично Ваши, как, надеюсь, Вы вспомните». Какие же ответственные задания лично этих товарищей и всего Политбюро мог выполнять следователь по особо важным делам, правая рука прокурора Вышинского? Догадаться нетрудно.

Выполнял он еще и другие.

24 февраля 1942 г. в Анкаре, на бульваре Ататюрка поблизости от здания, где располагалось германское посольство, произошел взрыв. Тот факт, что бомба была провокационно подброшена как раз людьми, причастными к этому же посольству, мало у кого вызывал сомнения. Почерк недавних поджигателей рейхстага выдавал их с головой. На классический вопрос древнеримских юристов: «Cui prodest?» («Кому выгодно?») — ответ мог быть только один. Выгодно было, конечно, нацистам — Турция все еще колебалась: вступать ли ей в войну или держаться нейтралитета, а раздутая версия доктора Геббельса о «русском покушении» на германского посла фон Папена должна была дать «аргументы» тем влиятельным турецким кругам, которые толкали страну к быстрейшему принятию рокового решения.

Турецкая полиция по указанию именно этих «влиятельных кругов» поддержала версию Геббельса и арестовала, как гласило сообщение ТАСС, «двух советских граждан — Павлова и Корнилова», обвинив их в покушении на фон Папена. Что это за советские граждане, как попали они в Турцию и что делали там — таких подробностей в нашей печати не было вовсе.

Скорее всего, это были те, кого мы привычно называем разведчиками. Вряд ли вообще «Корнилов» и «Павлов» их подлинные имена. Но несомненно также, что на Папена они не покушались. Судебный процесс становился пробным камнем в большой политической

игре. Не в первый и не в последний раз вопросы юридические и политические сплелись в один тесный клубок. Взоры, естественно, обратились к Вышинскому, который был тогда заместителем наркома иностранных дел: он-то как раз и совмещал в себе политика и юриста.

Вышинский дал совет: «для консультации» отправить в Турцию многократно проверенного на московских процессах (анкарскому не чета) Льва Шейнина. Пока шел процесс (с начала апреля до середины июля), он несколько раз улетал в Анкару и возвращался обратно. По турецким законам он не мог выступить адвокатом, но, предъявив полномочия, получил право на свидание с арестованными. Дал шифрованные инструкции, согласовал план защиты. И, значит, не мог не быть посвящен в святая святых — в секреты внешней разведки. Пусть даже только одной из ее потайных страниц, но — какой! И — когда! Этот эпизод достаточно ясно говорит о месте Шейнина на лубянских верхах и о том, как он ценился.

Политика и на этот раз оказалась выше закона: подсудимых признали виновными, определив каждому по 20 лет тюрьмы. Но все, что мог, Шейнин сделал. Два года спустя под влиянием изменившейся обстановки на фронте Корнилова и Павлова освободят из анкарской тюрьмы и возвратят в Советский Союз. Следы их потеряются — видимо, потому, что они обретут другие фамилии или вернут свои. Настоящие — от рождения.

В автобиографии Шейнина, хранящейся в его писательском «личном деле», этот детективный сюжет отразится двумя строчками: «в 1942—43 гг. выполнял специальные задания правительства в Турции и Иране». Про Турцию мы знаем — это был 42-й. Для Ирана, стало быть, остается 43-й. Что он там делал? В чем состояло таинственное спецзадание? Имело ли оно хоть какое-то касательство к провалу операции «Большой прыжок» (готовившееся убийство в Тегеране руководителей трех великих держав)? Или к чему-то другому? Кто знает... Когда-нибудь будет раскрыта и эта тайна. Одна из тех, что окружали его всю жизнь.

Самой яркой страницей послевоенной его биографии является участие в работе Нюрнбергского трибу-

нала — помощником главного обвинителя от СССР Романа Руденко. Наверное, единственный раз в жизни ему не приходилось раздваиваться. Он обвинял настоящих преступников и общался с лучшими юристами мира. Впрочем, ведомство Берии и тут все держало в своих руках: банда полковника Лихачева захватила ключевые места — об этом пойдет речь в следующем очерке.

Процесс завершился — он вернулся в Москву. Опять он жил в двух измерениях. Днями (или ночами?) его общество составляли палачи-костоломы, на счету у которых тысячи безвинно загубленных жизней, — там он был не просто своим, но из той же дружной команды. Машина уничтожения продолжала набирать обороты — поднаторевший в этом деле исполнитель спецзаданий и спецпоручений работал с двойной нагрузкой. В свободное время он жил среди муз и граций: известные писатели, знаменитые композиторы, режиссеры, артисты — таким был его круг, где он тоже считался своим. Допускаю, что этот круг он любил больше, льнул к нему гораздо охотней, но вот незадача: без первого круга он был бы нулем во втором. Обладатель скромнейших литературных возможностей, он манил к себе людей щедрого и большого таланта именно своей загадочностью, приобщенностью к недоступному им миру кровавых тайн, монополией на рожденные жизнью сюжеты, которых не в силах было создать даже самое пылкое воображение.

Закадычными его друзьями — там за дверями, куда вход лишь для особо доверенных, — была неразлучная двоица: все те же, теперь уже хорошо известные нам Лев Шварцман и Борис Родос, подручные Берии, садисты и палачи. Вспомним, это про Родоса Хрущев сказал, что он «человек с куриным кругозором». Шварцман — у того хоть с грамотой было получше: ошибки делал не в каждом слове, а через одно. Вот с ними-то Шейнин и проводил отнюдь не только служебное время. Им «изливал душу», как рассказывал Шварцман на следствии в 1955 году. С ними травил анекдоты, текст которых «друзья» тут же сообщали начальству. Потом отсыпался — и шел в культурное общество. С искренней симпатией и теплотой вспоминает, например, об этом «одаренном человеке» его соседка по дачному

поселку в Пахре, выдающаяся артистка Мария Миронова. Рассказывает она и о среде, в которой Шейнин проводил свое время: Константин Симонов, Павел Антокольский, Алексей Каплер, Михаил Ромм, Роман Кармен... У кого не закружится голова, чувствуя себя с ними «на равных»?

Лавры большого писателя не давали покоя — от миниатюр он перешел к крупномасштабным полотнам. Даже при самом большом снисхождении его лубочный роман «Военная тайна» невозможно читать. Несколько новых рассказиков — «Исчезновение», «Динары с дырками» и другие — не стали сенсацией: сколоченные по старой колодке перепевы давно известного. Да и время уже изменилось...

Но он все еще на коне. Только конь мчится к пропасти, а седок этого не замечает.

12 января 1948 г. в Минске убили Михоэлса. Один из известнейших советских следователей Сергей Громов рассказывал мне, что в бериевском ведомстве существовал особый отдел для подготовки и проведения таких операций. Во главе стояла тщательно законспирированная супружеская чета. Именно этот отдел и организовал убийство Михоэлса. В начале 1953 г., по словам Сергея Михайловича, было подготовлено и убийство П. Л. Капицы, но смерть Сталина помешала осуществлению этого плана.

Раз насильственная смерть — значит, необходимо расследование: декор остается декором. Эту часть операции поручили Шейнину: вот уж кто поднаторел в создании камуфляжей! Но задание, им полученное, видимо, не было четким. Вместо того, чтобы по-свойски сказать: «произошло то-то и то-то, а выглядеть это должно так-то и так-то», отправлявшие его на задание высокоответственные товарищи ограничились туманным намеком. Впервые в жизни Шейнин намека не понял. Это и оказалось фатальным.

Бывший председатель Верховного суда СССР Владимир Теребилов, долгие годы работавший в органах прокуратуры, рассказывал мне, что «намек» был такой: Михоэлса убили сионисты за то, что он им не поддался, оставшись советским патриотом. Если бы Шейнин понял, чего от него хотят (а главное — кто

именно этого хочет), он бы приказ исполнил и, скорее всего, Михоэлса бы канонизировали, громя его именем и укоряя его судьбой презренных «националистов». Косвенным подтверждением этому служат два грандиозных вечера памяти Михоэлса, устроенные в том же году с участием крупнейших деятелей русской советской культуры.

Но Шейнин намека не понял, пустился во все тяжкие, стремясь докопаться до истины и украсить новым скандальным рассказиком очередное издание своих «Записок». Кончилось это не только отстранением от «следствия», но и изгнанием с работы. Тем самым «сверхсрочным выходом на пенсию», о котором мрачно шутит его двойник Роман Львович Штерн. Не помогла даже дружба с Вышинским: у того самого намечались в то время крупные неприятности, да и в ведомство, расположенное на Лубянке, он никогда не лез.

Там, в этих «органах», на их живодерне шла своя паучья возня. Что объединяло всю эту свору — дружба, идея, общая цель? Нет, соучастие в преступлениях. Каждый искал лишь повода, чтобы разделаться с остальными. Шейнина не любили свирепо, как и всякую белую кость — он был барином, знаменитостью, толстосумом. И еще — это тоже никогда не прощалось — был вхож в большие верха. Теперь пришел и его черед.

Вероятно (можно, пожалуй, сказать: безусловно), шейнинская оплошность в загадочном до сих пор следствии по делу Михоэлса не была ни причиной, ни даже поводом для краха карьеры истинного баловня судьбы. Он был обречен, ибо слишком глубоко увяз в зловонной жиже Лубянки, где шли непрерывные и безжалостные интриги и свары. Годы, предшествовавшие падению, были для него прочно связаны с пресловутым дуэтом Шварцман — Родос, а эти двое входили в команду Абакумова, сначала блистательно взлетевшего на сталинский небосклон, а затем столь же блистательно оттуда слетевшего. К тому же произошел крутой поворот в прославленной политике «дружбы народов», полным ходом шла подготовка к «окончательному решению еврейского вопроса», и Шварцман — Родос — Шейнин оказались втянутыми в самый-самый водоворот разворачивавшихся событий.

Приведу один отрывок из собственноручных объяс-

нений Льва Шварцма́на на следствии, проходившем в 1954—1955 годах, — при всей своей расплывчатости и неопределенности (главное осталось за скобками, подразумевалось, что вчерашние коллеги Шварцмана, которым и были адресованы его «объяснения», ни в каких расшифровках не нуждаются) они воссоздают атмосферу тех лет и показывают, как неумолимо сжималось кольцо вокруг той самой «правой руки», которая совсем недавно казалась всесильной. Вот этот отрывок, где внимательного чтения и размышления заслуживает буквально каждое слово.

«Мы (с Родосом. — *А. В.*) уберегли Шейнина от активной агентурной разработки, иначе при его невоздержанности на язык и неосторожности в связях он неизбежно провалился бы. За ним бы потянулась цепочка связей, в том числе связи в органах. Если бы Шейнин был арестован, для меня это грозило большими неприятностями. В разговоре с ним мы оба часто жаловались на судьбу в плане положения евреев и отношения к ним. Когда встал вопрос о возможности его ареста, я проявил беспокойство и старался воспрепятствовать этому».

Судя по контексту шварцмановских «объяснений» речь идет о событиях конца сорок восьмого или, скорее всего, начала сорок девятого года. Уже тогда, стало быть, «встал вопрос о возможности» ареста Шейнина, а Шварцман (все еще на коне! все еще располагает связями и силами) старается воспрепятствовать, тревожась, конечно же, не за Шейнина, а за себя самого. Но что же это за «неосторожные связи» были у Шейнина? Не иначе, как с выдающимися деятелями еврейской культуры, вдруг превратившимися в агентов международного сионизма. А заодно и с кем-то очень значительным в «органах», кто вчера еще был близок к вершинам и, наверно, давал Льву Романовичу ответственнейшие спецзадания, а потом, как водится, впал в немилость и оказался «бациллоносителем». Кто бы мог подумать: главный следователь страны и любимец читающей публики — объект «активной агентурной разработки»! Ясно: близилась развязка. Началом ее послужило увольнение с работы — без объяснений и комментариев.

Два года «первый следователь» страны маялся без

работы. Ему обещали пост директора НИИ (!), но — сорвалось. Даже в адвокатуру, и в ту дорогу закрыли. И, однако же, безработный юрист схлопотал уже в 1950 г. Сталинскую премию за угоднический и лживый фильм «Встреча на Эльбе»: что-то он там сочинил — вместе с другими. Появилась надежда...

А его потайное досье пухло от новых бумаг с грифом «совершенно секретно». Какая-то А. А. Амстиславская, к тому времени уже осужденная, согласилась стать провокатором: дала показания, что слышала от Шейнина лет пятнадцать назад «сомнительные высказывания». Еще дальше (несомненно, под пытками или шантажом) пошел арестованный коллега Михаил Маклярский (этого чекиста мы знаем как соавтора сценария фильма «Подвиг разведчика»): Шейнин будто бы ему признавался, как продал себя в Анкаре иностранным разведкам, а потом, в Нюрнберге, перепродал вторично. (Шейнин в долгу не останется — обвинит своего обвинителя в том, что тот выдавал ему чекистские тайны. Потом они оба откажутся от оговоров.) По указанию следствия послушный Маклярский, и в каземате оставшийся верным чекистом, сообщил, что Шейнин «вел беседы с представителем Еврейского телеграфного агентства об организации самостоятельного еврейского государства в Палестине и высказывал пожелание о необходимости выезда в Палестину большего числа евреев, проживающих в СССР». Тогда такое обвинение звучало убийственно. Внес свою лепту и другой драматург — тоже в ту пору узник Лефортова: Борис Войтехов (пьеса о вредителях «Павел Греков», написанная им в соавторстве с Леонидом Ленчем, была одно время «шлягером» сцены) воспроизвел «плоские шутки определенного свойства», которые якобы слышал от Шейнина.

Льва Романовича арестовали 20 октября 1951 г. — загорелого, посвежевшего: он недавно вернулся из Сочи, где обычно проводил бархатный сезон. (По устной версии хорошо знавших Шейнина людей, его сняли прямо с поезда при подходе к Москве — не то в Серпухове, не то в Подольске. Документальным подтверждением этой версии я не располагаю.) Постановление на его арест было подписано накануне министром госбезопасности С. Игнатьевым и санкционирова-

но генеральным прокурором Г. Сафоновым: как-никак, а все же признание особых заслуг...

Спасавший его (нет, себя!) от ареста Шварцман был арестован еще 13 июля. Близкий друг и товарищ... Шейнин, однако же, безмятежно поехал купаться и загорать. Неужели его не кольнуло: вот-вот придут и за ним? Или магия Сталинской премии, полученной уже в опале, застлала ему глаза и лишила разума?

За него сразу взялись полковник Соколов и майор Левшин. Следователи менялись: я насчитал их более двадцати. Допросы шли один за другим: 65 вызовов за полгода — превышение «нормы» (точнее — традиции) во множество раз. Обвинение впечатляет: иностранный шпион и главарь «убийц в белых халатах». Про «халаты» страна узнала лишь в январе пятьдесят третьего. Он узнал про это же на год раньше...

Формально основанием для ареста Шейнина послужили, как сказано в следственном деле № 5214, «показания обвиняемых Фефера И. С., Шимелиовича Б. А., Маркиша П. Д., Зускина В. Л., Персова С. Д. о его... националистической деятельности и преступной связи с еврейскими националистами, а также показания арестованного Шварцмана.

Фефер, Маркиш, Персов и Зускин показали, что Шейнин поддерживал близкую связь с Михоэлсом, со слов которого он был известен им как еврейский националист.

Шимелиович, назвав Шейнина активным еврейским националистом, показал, что Шейнин высказывал недовольство условиями жизни в СССР, вынашивал изменнические настроения, протаскивал в своих литературных произведениях националистические взгляды, поддерживал близкую связь с Михоэлсом и был осведомлен о враждебной работе, проводившейся под прикрытием Еврейского антифашистского комитета».

К фальсификациям лубянского ведомства нам не привыкать, но все же поразительно, до какого уровня оно докатилось к концу сороковых — началу пятидесятых годов: нет уже даже попытки придать обвинению хоть какую-то правдоподобность, оснастить его пусть тенденциозно подобранными и демагогически интерпретированными, но все же **фактами**, а не липой. С еврейскими писателями Ициком Фефером, Перецом

Маркишем и Самуилом Персовым, как и с выдающимся актером Вениамином Зускиным, Шейнин вообще не был знаком. Главного врача Боткинской больницы Бориса Шимелиовича знал всего лишь как пациент, который может «вынашивать изменнические настроения» разве что перед психиатром, каковым Шимелиович не был. «Близкой связи» с Михоэлсом у него тоже быть никак не могло, ибо они принадлежали к абсолютно разным культурам, разным интересам, разному кругу. Литературные сочинения Шейнина можно критиковать за что угодно, но вот уж чего в них нет, так это «националистических взглядов»: хоть бегло их читай, хоть с лупой в руках — никаким «измом» они не пахнут, национальная тема там вообще не присутствует ни в каком контексте. Что касается «условий жизни в СССР», то они общеизвестны, но мог ли иметь хоть малейшее недовольство ими Лев Романович Шейнин? Ведь он относился к числу самых благоденствующих, самых обласканных режимом, самых процветающих из всех процветающих!

Совершенно очевидно, что целью было убрать этого слишком много знавшего господина, причастного самым прямым образом к наиболее кошмарным деяниям бериевской живодерни. Палачество продолжалось, но вершилось уже другими руками. Прежним предстояло уйти. И их «уходили», подключая к тем «заговорам», которые «разрабатывались» сегодня. Не разыгрывалась бы еврейская карта, Шейнину приклеили бы что-то еще. Он виноват был тем же, чем был виноват ягненок из басни: просто хищнику хотелось кушать...

Понять логику поведения Шейнина на следствии трудно. И надо ли? То, что сегодня выглядит бредом, безумием, тогда считалось служебными буднями. Едва представ перед следствием, начал подписывать все. Потом перестал. Потом начал снова. Попросил бумаги — для обращения к товарищу Сталину. Бумагу дали. Маневр был ловким. На 56 страницах Шейнин ни слова не написал о себе, не жаловался на свою горемычную участь. Но пекся о благе страны. Исключительно о ней. И еще — о любимом вожде. Разоблачал генерального прокурора Сафонов, утверждал он, без-

дарь, циник и карьерист, растленная личность, покровитель преступников. Шейнин многое помнил — он писал со знанием дела. До вождя письмо не дошло — осело все в том же досье.

«Шпионов» тогда хватало, и «врачей-убийц» набралось тоже порядком. Одним больше, одним меньше — суть не менялась. Не хочет быть главарем отравителей — что ж, обойдемся. От Шейнина ждали другого: он должен был возглавить группу шпионов-писателей. Естественно, всем им предстояло продать родину исключительно из националистических соображений. В центре внимания следствия был, как всегда, Илья Эренбург, которого Шейнин действительно хорошо знал. В показаниях Шейнина записано, что Эренбург «жаловался на настороженное отношение к евреям кое-где на местах и на перегибы в этих вопросах». Скорее всего, нечто подобное Эренбург и говорил, но те, кто стряпал будущий грандиозный процесс, квалифицировали высказывания такого рода как «задание иностранных разведок» и «происки международного сионизма».

Любопытно, какую роль отводит Шейнин в подобных разговорах самому себе: «Я неизменно отвечал Эренбургу, что многие евреи сами виноваты, а перегибщиков ЦК накажет и наведет в этом порядок». Впоследствии он дополнил эту самозащиту следующим образом: «Следствие зацепилось за эти показания, и мне сказали, либо я подпишу формулировки следствия, что все эти разговоры националистические, антисоветские, либо меня будут бить. Я подписал эти барабанные формулировки, хорошо понимая, что факты, положенные в их обоснование, не содержат состава преступления, и это при первом же объективном взгляде обнаружится».

Попутно от Шейнина требовали признать, что он «отъявленный националист и антисоветчик», состоит в сговоре «с такими же националистами и антисоветчиками», как Василий Гроссман, Александр Крон. 30 октября 1951 г. Шейнин подписал такое «признание»: «Мы, драматурги, группировались по национальному принципу и взаимно поддерживали друг друга... проводили работу, противодействующую дальнейшему подъему советской литературы и искусства, восхваля-

ли порочные произведения друг друга». Формулировки те же самые, что ежедневно мелькали тогда в газетах: как раз шла борьба с «безродными космополитами» в литературе, в театре, в кино.

Наконец, сколотили команду шпионов-подпольщиков для скамьи подсудимых: кроме Шейнина, братья Тур, Александр Крон, Александр Штейн, Василий Гроссман, Илья Эренбург, Константин Финн, Михаил Маклярский, Иосиф Прут. К ним добавили кинорежиссера Михаила Ромма. От Переца Маркиша, Вениамина Зускина и других получили под пытками «подтверждение»... Оправившись после побоев, все они свои «подтверждения» взяли назад. Потом их казнили. Новых «подтвердителей» не оказалось. Дело писателей начало буксовать.

Замену, конечно, нашли бы. Но умер Сталин. Абакумов и Лихачев так же, как их ниспровергатель Рюмин, сидели уже в тюрьме — в камерах по соседству. Поворот еще не наступил, но что-то сдвинулось, и, чуткий к любым колебаниям почвы, не человек, а сейсмограф, Шейнин — нет, не узнал, но по характеру вопросов следователей почувствовал, что Берия уже не в фаворе. А скорее наоборот. Тогда он перешел в контратаку. Написал Маленкову и Хрущеву, написал новому генеральному прокурору Руденко — воевал отчаянно, не защищался, а обвинял. Соучаствуя в расправе над тысячами безвинных и ничуть не думая об их муках, он взывал теперь к милосердию: «Поймите, что я же нахожусь на грани помешательства и что всему есть предел... Я могу еще принести немало пользы. Зачем и за что губят меня и мою семью? Ведь это вредительство!» Зная, чего боятся те, от кого зависит его судьба, успокаивал их «честным словом юриста»: «...Я сумел бы политически правильно и тактично себя вести, отнюдь не претендуя на роль «мученика» или что-нибудь в этом роде».

Шли недели и месяцы, а он все сидел. Тянулись допросы. «За честность» (? — *А.В.*) новый следователь — Белов — дал ему лишних четыре часа сна. Шейнин тут же накатал благодарность на имя главного военного прокурора А. В. Вавилова, перечислил попутно те меры воздействия, которые раньше к нему применялись: ограничение сна, лишение папирос и

прогулок, содержание в холодной одиночке, наручники и «угроза порки». Мучения, несомненно, большие, но те, что раньше были его «клиентами», подвергались куда как большим...

Изменения, происходившие в стране после смерти Сталина и ареста Берии, не могли пройти мимо чуткого уха и еще более чуткого глаза этого незаурядного человека, не растерявшего своих достоинств в тюремной камере, не сломленного физическими лишениями. «Вера в ЦК, — писал он в своем заявлении от 19 августа 1953 г., — и неизбежность в наших условиях разоблачения провокации — вот что спасло меня. Спасибо партии за то, что она меня так воспитала... То, что я 27 лет проработал верой и правдой в прокуратуре, не освобождает последнюю от обязанности прекратить мое дело, поскольку я невиновен». Шейнин был вполне грамотным человеком, так что логическую нелепость последней фразы следует, видимо, считать мрачным юмором, не покинувшим его даже в застенке.

Ровно через 25 месяцев после ареста Шейнину вернули свободу. По меркам той эпохи он отделался легким испугом. Но испуг был, однако, не легким. Он замкнулся. Стал подавленным, молчаливым, ушедшим в себя. «Честное слово юриста» сдержал: вел себя «тактично» и «политически правильно», выглядеть «мучеником» не собирался, претензий ни к кому не имел. Экспансивный Маклярский, встретившись с ним в Союзе писателей, хотел ему надавать тумаков — в смысле самом буквальном, — но Шейнин сумел увернуться. (Вскоре они примирятся и вместе сочинят сценарий фильма «Ночной патруль».) Вышинскому, который, не моргнув глазом, отсек свою правую руку, через две с половиной недели после его освобождения исполнялось 70 лет. Шейнин послал в Нью-Йорк телеграмму, в ней и прощение, и преданность, и информация о том, что он на свободе: «Горячо поздравляю славным семидесятилетием от всего сердца желаю здоровья и многих лет такого же плодотворного служения нашей великой родине и делу Лев Шейнин». Только подпись выдавала чуть заметную смену в их отношениях — послание к 60-летию Андрея Януарьевича завершалось иначе: «Крепко вас обнимаю и целую горячо вам преданный Лева».

Жить оставалось еще целых 14 лет.

Но это был уже другой Шейнин.

Я виделся с ним несколько раз — и по делу, и в скромном застолье: он писал внутреннюю издательскую рецензию на одну из моих первых работ, потом нас дважды собрал у себя общий приятель, мой тезка, известный юрист Аркадий Полторак, который подружился с Шейниным в Нюрнберге. Ни деловым собеседником, ни душой общества, ни остроумным рассказчиком, каким его знали другие, Шейнин предо мной не предстал. Это был усталый, больной, сломанный человек. Улыбка казалась приклеенной к застывшему лицу. С трудом втянувшись в разговор, несколько раз упомянул о страхе: о том, как всегда «чего-то» боялся Вышинский, да и сам он тоже днем и ночью ждал удара из-за угла... Однако люди, работавшие с ним в шестидесятые годы, запомнили Шейнина совершенно иным. Он снова был на коне, к нему вернулось второе дыхание, а вместе с этим и самоуверенность, барство, начальственные замашки. Наверно, оба эти образа принадлежат одному и тому же человеку, ничуть не противореча друг другу. С подчиненными, в деловой обстановке, он все еще играл роль могучей личности, способной казнить и миловать, вне служебных стен позволял себе в большей мере оставаться самим собой.

В условиях недолгой, но все же достаточной для прозрения хрущевской оттепели многие надеялись, что Шейнин приоткроет, пусть хоть чуточку, плотный занавес, за которым скрыто столько кровавых тайн. Ему-то, казалось, и карты в руки: он не только знал, что мало кто знал, но и — худо-бедно — имел способность внятно и грамотно изложить свои знания на бумаге. Его коллеги по второй — литературной — профессии не раз склоняли его к неизбежному, казалось, акту очищения. Или просто надеялись «расколоть». Тщетно...

Камил Икрамов рассказывал, как Владимир Тендряков, сосед Шейнина по даче в Красной Пахре, пригласил Льва Романовича на любимые им раки, чтобы «допросить» — за дружеский выпивкой. «Не вывернется», — считал Тендряков. И ошибся: «Нас к этому (то есть к делам. — *А.В.*) не допускали», — соврал он. Воспоминания Александра Борщаговского дополняют тот же образ. «Упорно отмалчивался. Жил с задержан-

ным дыханием, в страхе... Опасался рассказывать, писать воспоминания... Я надеялся, что Господь сохранил ему в тюрьме жизнь, наказав написать — пусть тайком, для потомства — покаянные мемуары... Но он их, кажется, не написал. Может быть, писать их оказалось невмоготу и страшно...» Мог бы, наверно, написать мемуары хотя бы о тюремных своих одиссеях, многие, очень многие тогда их писали — это не поощрялось, но уже не преследовалось. Не написал, ибо знал: шанс выжить имел лишь тот, кто предпочитал не вспоминать. Ничего. Никогда.

В ту пору ему пришлось освоить новую «процессуальную функцию»: шла реабилитация жертв произвола, и Шейнина то и дело вызывали свидетелем. Старший советник юстиции И. Рашковец допрашивал этого мастера как участника «фабрикации группового дела в отношении крупного хозяйственного руководителя Ведриха и пятнадцати его подчиненных. Так он, — продолжает свои воспоминания И. Рашковец, — уличенный в фальсификации, сослался на указания тогда уже покойного Вышинского». То, что Шейнин, с жаром и пылом отвергший на Нюрнбергском процессе ту же самую «аргументацию» главных военных преступников (все они, как мы знаем, ссылались на «указания» Гитлера), защищался их методами, ничуть меня не удивляет. Удивляет другое: если Шейнин был «уличен в фальсификации», то что мешало привлечь его к ответственности? Впрочем, зачем задавать вопрос, ответ на который известен: не прокуроры, а Старая площадь определяла, кого наказывать, кого отправить на заслуженный отдых. Или даже возвысить...

Он работал в журнале «Октябрь» — заместителем Федора Панферова, на Мосфильме — главным редактором, что-то писал. Но ни он, ни его писанина никого уже не интересовали. Никому не были больше нужны. Несмотря на премии и ордена, на издания и переиздания, на квартиру и дачу, на почет и доходы, на избранный круг, в котором ему доводилось вращаться, жизнь свою он проиграл.

К Великим Инквизиторам причислят не его, а Вышинского.

В литературе останется не Лев Романович Шейнин, а Роман Львович Штерн.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО



«...Что-то смещалось и начинало происходить в последние годы, после войны, — вспоминает Константин Симонов в своих известных записках «Глазами человека моего поколения». — Внезапная гибель Михоэлса, которая сразу же тогда вызвала чувство недоверия к ее официальной версии; исчезновение московского еврейского театра; послевоенные аресты среди писавших на еврейском языке писателей...»

«Что-то смещалось» — но было ли ощущение надвигающейся катастрофы?

Крохотная бытовая деталь иногда говорит больше не только о внутреннем состоянии человека, но и об общественной атмосфере, чем масштабные явления, увиденные холодным оком историка. Именно об этом — о неверии в неизбежное и полном непонимании происходящего — говорит мне, к примеру, крохотная записка, сохранившаяся в Архиве внешней политики СССР.

Записка датирована январем 1949 г.: бывший заместитель министра иностранных дел (на этом посту он проработал с 1939-го по 1946 г.), бывший начальник Совинформбюро, чьих сообщений в годы войны ждала вся страна (на этом посту он задержался до 1948 г.), С. А. Лозовский пишет на своем бланке депутата Верховного Совета СССР (последний престижный пост, который еще за ним оставался) недавнему коллеге — не бывшему, а действующему заместителю министра иностранных дел А. Я. Вышинскому: «Дорогой Андрей Януарович (так в тексте — *А. В.*)... я очутился на мели с транспортной точки зрения — от ЦК я машину больше получать не буду. Не может ли МИД за свыше чем семилетнюю работу оказать мне в этом содействие... до предоставления мне работы?» Вышинский наложил резолюцию: «Надо обратиться к т. Молотову». Но обращаться не пришлось: Лозовс-

кому быстро обеспечили и транспорт другой, и работу другую — за ним пришли: через несколько дней — 26 января.

Записка... Что это было? Безоглядная наивность умудренного, казалось бы, жизненным опытом человека (Лозовскому было в то время 70 лет) или просто невозможность нормальному разуму поверить в начавшиеся уже катаклизмы? Вроде бы после 37-го поверить можно было во все. Получалось: не так...

Впрочем, почему только после 37-го? Были гораздо более свежие факты, несомненно имевшие прямое отношение уже лично к нему. Не знать о них он не мог: снаряды рвались по соседству. Совсем рядом. Все ближе и ближе.

Начать придется с того, что А. Лозовский (Соломон Абрамович Дридзо, очень известный еще с двадцатых годов деятель международного профсоюзного движения, генеральный секретарь Профинтерна), будучи тогда заместителем начальника Совинформбюро, курировал по долгу службы все созданные в начале войны антифашистские комитеты (Славянский, Молодежный и др.), в том числе и Еврейский.

Все загадочно и темно в истории образования этого комитета и его краткой жизни. Даже дата создания не может быть названа с абсолютной достоверностью. В официальном судебном приговоре, о котором речь еще впереди, временем создания назван апрель 1942 года. Ничуть не менее официальный, к тому же новейший Большой Энциклопедический словарь (1991, т. I, с. 422) утверждает, что комитет создан в августе 1941 года. Как ни странно, обе эти даты можно считать достоверными: парадоксальность такого утверждения отражает противоборство различных сил и тенденций, сопровождавших всю жизнь этой организации от момента ее «зачатия» до трагической гибели.

В этом очерке нам не раз придется прервать повествование, отвлекаясь «в сторону» и «назад», — первое такое отступление необходимо сделать уже сейчас. Идея создания такого комитета (первоначальное название: «Еврейский антигитлеровский комитет» — ЕАГК) принадлежит не советским властям, и даже не советским общественным организациям или еврейским активистам, а деятелям польским — руководителям

Бунда Генриху Эрлиху и Виктору Альтеру, чьи имена были хорошо известны и в Европе, и в Америке. Когда два тирана — Гитлер и Сталин — нашли общий язык «дружбы» и осуществили раздел Польши, еврейские политические деятели этой страны выбрали из двух зол наименьшее, ища спасение в Советском Союзе. Здесь они и были арестованы (один в Бресте, другой в Каунасе) и тотчас стали обвиняемыми по делу о шпионаже. Впрочем, уже одно то, что они выступали против «дружественной» Советскому Союзу фашистской Германии, содержало «состав преступления», тем более что они предлагали советским властям организовать «единый фронт» для борьбы с фашизмом.

Более полутора лет шло следствие по этому дикому — и вместе с тем рядовому для тех лет — делу, а протесты и запросы различных социалистических партий мира и руководства Второго Интернационала оставались без всякого ответа. Немецких антифашистов Сталин пачками «возвращал на родину», отдавая их в лапы гестапо, а с польскими расправлялся сам. При Ежове следствие было поставлено на скоростной конвейер, при Берии шло обычно без спешки — обстоятельно и со вкусом. Дело Эрлиха и Альтера затянулось до гитлеровского нападения на Советский Союз. Затянулось, но не оборвалось: примерно до начала августа сорок первого неповоротливая «военная юстиция» (читай: Лубянка) продолжала крутиться по инерции — так, словно за стенами пыточных камер и судебных залов ничего не произошло. В последних числах июля 1941 г. Эрлиха и Альтера приговорили к расстрелу (одно из обвинений: они вели агитацию против пакта Молотова — Риббентропа), затем смертную казнь поспешно заменили десятью годами лагерей. На Западе существует устойчивая версия, будто крутой поворот в судьбе Эрлиха и Альтера (их освобождение) произошел, благодаря специальному ходатайству союзников, прежде всего польского правительства в изгнании. Это не совсем так. Ходатайство касалось не только их. 12 августа 1941 г. президиум Верховного Совета СССР издал указ об амнистии **«всех** (подчеркнуто мною. — *А. В.*) польских граждан, содержащихся ныне в заключении на советской территории в качестве военнопленных или на других достаточных (?? — *А. В.*)

основаниях». Оставим в стороне очередные красоты советского официозного стиля: главное — Эрлих и Альтер были освобождены **наряду** с другими **польскими** жертвами сталинского террора. Но отношение к ним было, разумеется, вовсе не рядовым. В сентябре 1941 г. мы застаем их не просто свободными людьми, а видными общественными деятелями, которым поручено создать Еврейский антигитлеровский комитет.

Этому предшествовало событие, сразу же поразившее мир. 24 августа в Москве состоялся «митинг представителей еврейского народа», на котором выступили виднейшие деятели культуры. Имена многих из них — Петра Капицы, Сергея Эйзенштейна, Соломона Михоэлса, Ильи Эренбурга и других — были известны далеко за пределами Советского Союза. Участники митинга приняли обращение к «братьям евреям во всем мире», призывая их объединиться для отпора фашизму. Кроме названных выше обращение подписали писатели Самуил Маршак, Перец Маркиш, Давид Бергельсон, Самуил Галкин, Алексей Каплер (фильмы, созданные по его сценариям, — «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» — пользовались тогда большой популярностью), архитектор Борис Иофан, художник Александр Тышлер, пианисты Яков Флиер, Эмиль Гилельс, Яков Зак, скрипач Давид Ойстрах, певец Марк Рейзен, актер Вениамин Зускин, кинорежиссер Фридрих Эрмлер, дирижер Самуил Самосуд и еще многие другие «работники культурного фронта». Но о создании Еврейского антифашистского комитета не было сказано ни слова: за кулисами шли переговоры, причем кандидатуры Эрлиха и Альтера на руководящие посты продолжали оставаться наиболее перспективными.

Вопрос о создании Еврейского антигитлеровского комитета был решен: поддержка мировой еврейской диаспоры, среди которой было множество влиятельных политиков, крупнейших представителей финансовых и промышленных кругов, могущественных бизнесменов, деятелей культуры, была Сталину жизненно необходима. Но влияние такого комитета усиливалось бы сразу же во много раз (и сулило, наверно, более скорую отдачу), если во главе его оказались не только советские, не слишком хорошо известные на Западе деятели, но и такие люди, как Эрлих и Альтер, чей

авторитет именно в тех кругах, на которые делалась ставка, был очень велик. Тем более что — и это в мире было известно — инициатива создания комитета им и принадлежала. Как сообщает исследователь этого «белого пятна» новейшей истории Л. Колтон, «обсуждались возможности вступления в действующую армию евреев-беженцев из Польши и формирования в США еврейского легиона для участия в военных действиях в составе Красной Армии. Комитет должен был попытаться установить контакт с евреями, оставшимися в Польше, и организовать их выступление против гитлеровцев».

За кратчайший срок Эрлих и Альтер из смертников превратились в крупные политические фигуры. К этому времени возобновились дипломатические отношения между польским эмигрантским правительством и Советским Союзом — Альтер и Эрлих стали активно сотрудничать с посольством своей страны, которое передавало им поручения правительства генерала Сикорского, дислоцированного в Лондоне. Они начали было заниматься розыском пропавших польских офицеров, уже похороненных к тому времени во рвах под Катынью, под Харьковом, в других местах уничтожения. В. Альтер получил задание войти в инспекцию по надзору за уральскими лагерями, где интернированные польские солдаты ожидали возможности вступить в будущую армию генерала Андерса. Но, конечно, главным их делом оставался Еврейский антигитлеровский комитет, находившийся в затяжном периоде организации. Сталин, ознакомившись с программными документами комитета, подготовленными Альтером и Эрлихом, дал вроде бы принципиальное согласие на создание такого комитета, но не дал конкретных, прямых, недвусмысленных указаний. Однако в эйфории наметившегося сотрудничества оба деятеля, несмотря на свой полутораgодовой тюремный опыт, не ощущали нависшей над ними угрозы. Совместно с Соломоном Михоэлсом, Ициком Фефером и Перецом Маркишем — виднейшими деятелями советской еврейской культуры, которым тоже предстояло войти в руководство комитета, — они обсуждали «оргвопросы», полагая, что его провозглашение — вопрос если не дней, то недель.

8—220

Время между тем шло, фашистские войска подходили к Москве, дипломатический корпус вместе с основным составом советского правительства эвакуировались в Куйбышев. Туда же направились и Альтер с Эрлихом. Сын Генриха Эрлиха, профессор Йельского университета Виктор Эрлих, у которого я гостил в 1989 году, рассказывал мне, что отца и его друга поселили в комфортабельной гостинице, что, с учетом реальных условий того времени, само по себе говорило об официальном признании и определенной мере уважительности. Но то обстоятельство, что «уважаемым иностранцам» не вернули их польские паспорта, должно было, видимо, их насторожить. Не насторожило.

Ничего удивительного нет в том, что «куратором» еще не функционирующего, но уже существующего на бумаге комитета стал НКВД в лице полковника А. Волковысского. Деятельность всех подобных образований проходила под эгидой этого ведомства, так что данный факт вряд ли поверг руководителей комитета в смятение: они уже пообвыкли и смирились с советской реальностью. И поэтому не усмотрели ничего грозного в срочном вызове, который последовал от помощника Волковысского капитана Хазановича, заявившего, что получено письмо от самого Сталина. Для Эрлиха и Альтера это не могло быть чем-то неправдоподобным: напротив, они знали, что вся основная документация докладывается лично Сталину и Берии и что принятия каких-либо решений надо ждать только от них. Эрлих и Альтер тотчас направились в «резиденцию» НКВД и оттуда уже не вернулись. Больше их никто никогда не видел.

Случилось это в начале декабря. Вряд ли можно, как делает Л. Колтон, ставить это в какую-то связь с военной ситуацией на подступах к Москве. Нет абсолютно никаких данных для такого предположения. Происходили какие-то другие, неведомые нам пока события в Кремле и на Лубянке, а может быть, и в наркоминдельском особняке на Кузнецком мосту, где бессменно восседал Молотов, которые привели в движение потайной механизм и побудили пойти на очевидный дипломатический скандал. Мне кажется очевидным, что поспешный расстрел (есть весомая версия, согласно которой оба арестованных сразу же были

казнены), как и в случае расправы над крупнейшими военачальниками в октябре того же года, объяснялся страхом оставить в живых каких-то важных свидетелей: ведь события развивались так, что и Эрлих, и Альтер вот-вот должны были отправиться в Лондон.

Все попытки польского посла Станислава Кота, зарубежных социал-демократий, международных и национальных еврейских организаций узнать что-либо об их судьбе оставались безрезультатными. Ни на один запрос не давалось ответа. Точнее, Наркоминдел просто сообщал, что ему ничего не известно. Лишь в 1943 г. сначала Вышинский — в Москве, а затем советский посол Максим Литвинов в Вашингтоне официально довели до сведения «заинтересованных лиц и организаций» заявление наркома иностранных дел Молотова: «После своего освобождения... они (Г. Эрлих и В. Альтер. — *А. В.*) возобновили враждебные действия, включая призывы к советским войскам остановить кровопролитие и немедленно заключить мирный договор с Германией». Информация заканчивалась сообщением о смертном приговоре обоим «преступникам», который приведен в исполнение.

Американский журналист Морис Хиндус, автор книги «Кризис в Кремле», изданной в Нью-Йорке в 1954 г., задает резонный вопрос: «Каким же образом Молотов надеялся убедить кого-то в Америке, что социалисты-евреи, которые всегда боролись с фашизмом, вдруг неожиданно стали союзниками Гитлера? Каким образом иностранец мог непосредственно обратиться с призывом к Красной Армии по какому-либо поводу, не говоря уже о мирном договоре с Гитлером, который все еще удерживал громадные территории России в своих руках? Эти вопросы только демонстрируют полное невежество Молотова, его абсолютное незнание американской психологии или же презрительное безразличие к тому, что подумают об этом лживом объяснении американцы...» Морис Хиндус отмечает также, что Литвинов (в отличие, конечно, от Вышинского) «в глубине души сильно страдал от такого «поручения» и был им несказанно возмущен — это было самое отвратительное «поручение» из всех, какие ему пришлось выполнять по принуждению Молотова».

Ничуть не желая обелять вышеназванного господина, для характеристики которого не жаль никаких, даже самых сильных эпитетов, должен, однако, заметить, что Молотов выполнял эту функцию, так сказать, протокольно, в качестве наркома иностранных дел, который только и может давать указания своим заместителям и своим послам. В «аргументации» явственно ощущается «логика» малограмотного аппарата Лаврентия Берии, который вместе со своим шефом действительно отличался полным невежеством и абсолютным незнанием чьей бы то ни было психологии, равно как испытывал презрительное безразличие к тому, что, кто и как подумает. Энкаведистская «версия» — о том, что Генрих Эрлих и Виктор Альтер осуждены «как агенты Гитлера» (?!) никем не опровергнута до сих пор, поскольку никакой аутентичной информации, упрятанной в пока еще недоступных архивах, по-прежнему нет.

Решение о создании Еврейского антигитлеровского комитета (август 1941 г.) не было отменено, но появилось (апрель 1942 г.) другое: о создании Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) при Советском информбюро. «Кураторами» его по-прежнему оставались крупные чины с Лубянки, но легальным шефом был Соломон Лозовский, которому эта роль, казалось бы, шла по всем статьям. Теперь это был уже не международный, а только советский комитет. Возглавил его великий актер Соломон Михоэлс, в состав комитета, а то и в состав его президиума вошли главным образом наиболее известные литераторы, писавшие на языке идиш: Перец Маркиш, Давид Бергельсон, Лев Квитко, Ицик Фефер, Давид Гофштейн и другие. ЕАК был призван исполнить ту миссию, которая предназначалась Антигитлеровскому комитету, задуманному, созданному, не осуществленному трагически погибшими Г. Эрлихом и В. Альтером.

Впрочем, эта миссия (в сталинском варианте) была теперь сильно сужена и фактически сводилась только к выколачиванию денег из богатых заокеанских евреев. Но и она могла быть осуществлена лишь в том случае, если за несколько абстрактным понятием «комитет» будут стоять достаточно известные в Америке и вообще на Западе имена. Прежде всего именно по этой

причине 24 мая 1942 г. — ровно через девять месяцев после первого — в Москве состоялся второй (и последний) митинг «еврейской общественности», принявший еще одно обращение «к братьям-евреям во всем мире»: слезный призыв оказать финансовую и материальную помощь в борьбе против гитлеризма. К числу тех, кто подписал первое обращение, прибавились новые всемирно известные имена: академики Лина Штерн и Александр Фрумкин, художник Натан Альтман, профессор Меер Вовси и другие. Митинг транслировался по радио. Было оглашено приветствие Лиона Фейхтвангера, что, казалось бы, сулило надежды. Ничего оно не сулило! В Советском Союзе плохо представляли себе реальный вес этого писателя в тех кругах, к которым был обращен клич о помощи.

Как ни печально в этом признаться, но даже самые громкие (по нашему представлению) имена руководителей новосозданного комитета (ни академиков, ни музыкантов, ни художников в их числе не оказалось) мало что кому-либо говорили за пределами своей страны. Лучше других было известно имя Михоэлса, но и то в основном понаслышке: ведь популярность актера зависит от частоты его живого появления перед зрителем, от прессы. Особенно похвастаться этим — не у себя дома, конечно, а вдали от родных пенатов — не мог даже великий Михоэлс. Практически не переводились и книги известных еврейских советских писателей. Не забудем: это были именно **советские** писатели. При всем своем таланте они ревностно пропагандировали большевистский «интернационализм», весь пафос их произведений и в прозе, и в поэзии, и в драматургии так или иначе сводился только к одной идее: благоденствия некогда забитых и замордованных евреев под солнцем ленинско-сталинских конституций. Узкий круг специалистов, конечно, кое-что знал и об этих произведениях, и об их авторах. Но для осуществления весьма утилитарного сталинского замысла, притом в кратчайший срок (на долгий уже не хватало времени), этого все-таки было мало. Тем более — вспомним снова — после скандального исчезновения двух всемирно известных деятелей международного еврейского движения, авторитет которых мог бы оказать Сталину неоценимую услугу.

Вот почему не оставалось ничего другого, как «подключить» к знаменитостям и несомненным талантам людей значительно более скромного уровня, неприметно работавших редакторами, переводчиками, консультантами. Внутри страны они были известны самому-самому узкому кругу или вообще никому не известны, зато в Америке (а расчет был именно на нее) их знали довольно неплохо. Знали именно те, к кому предстояло обратиться с протянутой рукой. Потому что раньше эти лица жили за границей, активно участвовали в работе различных национальных организаций, были лично знакомы с теми, от кого хоть что-то зависело. Конечно, бывший член американской компартии, потом переводчик Совинформбюро Леон Тальми или, скажем, бывший член руководства партии «Поалей-Цион» (сначала в Австрии, затем в США), ставший редактором издательства литературы на иноязыках в Москве, Илья Ватенберг никак не могли возместить отсутствие Эрлиха и Альтера, но свою скромную роль все же играли.

Скромную? Нет, скромнейшую. Связи налаживались плохо, время тянулось отчаянно медленно, реальных результатов все не было. Сталин был раздражен. Молотов непрерывно отчитывал своего заместителя Лозовского, который, напомню, **отвечал** за деятельность ЕАК, — требовал **результатов**. Тогда и родилась идея поездки в США.

Трудно точно сказать, кому именно она пришла в голову сначала. Да вряд ли это и важно. Скорее всего, действительно, Лозовскому, человеку не столько решительному, сколько сознававшему безвыходность положения: ведь еще немного, и Сталин потребует отчета о результативности работы ЕАК, а чего нет (в сталинском понимании), того нет... Несомненно, замысел поездки делегации комитета в США, чтобы на волне огромной симпатии к Советскому Союзу и массовой солидарности с жертвами фашистского геноцида в самых разных кругах американского общества осуществить «атаку» на бизнесменов и финансистов, — несомненно, этот замысел был поддержан и советским послом в Вашингтоне Максимом Литвиновым, который понимал, что при умелом подборе визитеров и хорошо продуманной программе поездка может дать отличный пропагандистский эффект.

Шла война, поездка даже в чисто техническом отношении была сопряжена с большими трудностями. К тому же Сталин вообще колебался: первые ростки государственного антисемитизма, которые стали пробиваться ближе к концу войны, сначала появились, само собой разумеется, в голове вождя и учителя. Что-то его удерживало от решительного «да», Лозовский настаивал, убеждал — впоследствии ему будет поставлено это в вину.

Наконец согласие было получено — с мизерной «квотой»: два места. Одно из них вне всякой конкуренции заведомо принадлежало Михоэлсу. Не по должности даже (председатель комитета), не по актерскому его таланту, а по известности и по способности влиять на умы и сердца. Второе было под вопросом. После долгих размышлений и невидимой миру закулисной борьбы (не в ЕАК, разумеется, и не в Совинформбюро, а на Лубянке) окончательный выбор пал на Ицика Фефера, поэта, ответственного секретаря ЕАК. Никакой особой способностью пропагандиста (применительно к традициям и вкусам американской публики — тем более) он не отличался, был вполне ортодоксальным догматиком, непогрешимым партийцем с 1919 года, но в пару к Михоэлсу искали **надежного** человека, на которого НКВД мог бы положиться в столь необычной — можно даже сказать, не имевшей себе прецедента — командировке.

Формальная «цель поездки», как она записана в решении так называемой «Инстанции» (эвфемизм ЦК — иногда политбюро, иногда секретариата, иногда одного из отделов, а в те времена — просто-напросто Самого), звучала так: «Усиление пропаганды достижений СССР и борьбы с фашизмом». Звучит безграмотно и нелепо, но зато — на партийно-бюрократическом языке — понятно и солидно.

Отметим еще раз: эта поездка (ее маршрут, кроме США, включал еще Англию, Канаду и Мексику) нужна была Сталину, а не Михоэлсу, не Феферу, не членам ЕАК. То есть им, конечно, она нужна была тоже, чтобы — в случае успеха — показать, сколь полезен их комитет и сколь плодотворна их общественная деятельность. Кремлю (или, если точнее, применительно именно к тому периоду нашей истории — Ставке)

поездка эта была необходима в самом прямом и буквальном смысле: без немедленных финансовых инъекций и увеличения поставок вооружения, продовольствия, одежды, медикаментов измотанная врагом, разоренная и разграбленная страна могла не выдержать.

Как водится, поездка была должным образом оснащена: посланцев Кремля снабдили необходимым пропагандистским материалом, который должен был им помочь в обработке американского общественного мнения, прежде всего еврейских организаций США. Полученный ими материал делился на две части. Одну составляли данные об огромных потерях, понесенных Советским Союзом в войне, об уничтоженных заводах и фабриках, шахтах и рудниках, о людских потерях, о неизбежном спаде производства, об оборонной продукции, выпускаемой в тылу. Другая часть представляла собой материалы о жизни советских евреев. Не столько о фашистском геноциде, сколько о благоденствии их «в семье свободных народов», о неслыханных успехах созданного для них сталинским гением нового отечества на Дальнем Востоке — вокруг ставшего вдруг всемирно известным заштатного городка Биробиджана. Эта «информация» содержала и какие-то сведения о природе края, о его месторождениях, о его народнохозяйственном потенциале и перспективах развития после победоносного завершения войны. Разумеется, все сведения были подготовлены, отфильтрованы и одобрены множеством экспертов и контролеров, снабжены всеми необходимыми подписями и «грифами». Ни Михоэлс, ни Фефер вообще в этих вопросах не разбирались: интересы отправлявшихся за океан гуманитариев были сосредоточены совсем на другом, папкам, которые они везли с собой, предстояло служить лишь подспорьем в предстоящих их выступлениях на массовых митингах, в дискуссиях и конференциях, во встречах с деловыми людьми.

Поездка, о которой уже достаточно много рассказано в печати, прошла великолепно. Успех превзошел все ожидания. Успех не только моральный: помощь, на которую рассчитывал Сталин, была оказана. Установленные Михоэлсом и Фефером связи имели затем деловое продолжение — контракты, дополнительные поставки, благотворительная помощь: в последующих

переговорах, в доведении дела до конца участвовали уже профессионалы — дипломаты, внешторговцы, военные специалисты. Сами же «курьеры» привезли в виде трофеев лишь тысячи газетных вырезок: об их триумфе восторженно писали журналисты самых разных направлений. Да еще Фефер привез роскошное меховое пальто, подаренное ему богатеем. Точно такое же этот даритель — от чистого сердца — просил передать Сталину. Фефер, при всем своем даровании не отличавшийся качествами титана мысли, не нашел ничего лучшего, как, докладывая о результатах поездки, облачиться в эту шубу и отправить ее «дубль» вождю и учителю. Не знаю, поморщился ли Сталин, сдержался ли, но о чем он подумал и даже какими словами мысленно отреагировал — об этом догадаться нетрудно.

С конца 1943 года (возвращение делегации ЕАК из-за океана) начался очень короткий, но и очень насыщенный событиями период деятельности комитета, который вполне можно назвать эйфорическим. Похоже, успех кое-кому вскружил голову, а трагедия европейского еврейства, получившая затем короткое и емкое наименование «Катастрофа», позволяла быстро решить вопросы, казавшиеся до этого неразрешимыми. Нереальными — так будет точнее. Главный из них касался создания на территории Советского Союза еврейского национального очага, который мог бы стать центром притяжения и для зарубежной диаспоры.

Как известно, идея собрать рассеянных по всему миру евреев на исторической родине, в Палестине, с разной степенью интенсивности существовала всегда, передаваясь из поколения в поколение на протяжении многих веков. С конца девятнадцатого столетия она овладевает умами уже как конкретная, практически осуществимая цель, к достижению которой приступает движение, получившее впоследствии (и ставшее ныне столь одиозным) название «сионизм». Очень широкое распространение получило это движение и в дореволюционной России. Деятели еврейской советской культуры, сосредоточившиеся в ЕАК, противопоставили

ему идею создать Еврейскую республику на территории СССР. Им — не без оснований, я думаю, — казалось, что этот замысел (прежде всего по соображениям большой политики) должен был встретить полное сочувствие и понимание в Кремле. К тому времени подготовка к созданию государства Израиль вступила в последнюю, решающую фазу, переговоры, которые шли за кулисами политической сцены, продвигались успешно, замысел этот, как мы знаем, был реализован менее чем через пять лет после поездки Михоэлса и Фефера в США, где они, конечно, обсуждали эту проблему и обогатились надлежащей информацией. В качестве ответственного секретаря ЕАК Ицик Фефер написал и представил в ЦК подробный отчет о командировке, изложив все, что удалось узнать в США и Англии на эту весьма беспокоившую Сталина тему: речь шла не только о судьбе евреев, но и сферах влияния на Ближнем Востоке.

Отчет Фефера, копия которого была послана Молотову и Берии, заслужил наверху благоприятные отзывы. Был, так сказать, оценен. Вполне удовлетворило Лубянку и его поведение в роли парткомиссара при беспартийном Михоэлсе. Успешное осуществление этой миссии плюс содержательный доклад о поездке повысили рейтинг Фефера в кабинетах лубянских руководителей, а повышение рейтинга привело и к повышению статуса. Фефер охотно согласился стать секретным осведомителем «соответствующего» ведомства, расценив сделанное ему предложение как акт высокого доверия. Ему был дан псевдоним «Зорин». Шесть лет беспорочной службы отражены во множестве донесений этого «источника», которые по-прежнему содержатся в тайных архивах бывшего КГБ.

Вскоре после этого и произошло событие, оказавшееся самой драматичной страницей в предыстории разгрома ЕАК, советской еврейской культуры и начала государственного антисемитизма в СССР, длившегося почти полвека. Событие это связано с попыткой реализовать замысел по созданию еврейского национального очага на территории Советского Союза. К тому времени никто уже не скрывал — едва ли не официально, — что образование так называемой Ев-

рейской автономной области в приграничной дальневосточной тайге ни к каким результатам не привело. Количество еврейских переселенцев составило даже в «золотую пору» ее существования, после выхода на экран пропагандистского, «зазывного» фильма «Искатели счастья», всего несколько тысяч человек, тогда как советские евреи до войны исчислялись миллионами. Искусственность этого «национально-территориального» образования, удаленность от мест исторического проживания евреев и тяжелые климатические условия не сулили надежды на то, что ситуация изменится к лучшему.

Приходилось выбирать другой «объект», более реальный, более привлекательный. «Объект» был найден. В истории этой, столь трагически судьбоносной для многих и многих людей, еще много неясного. Архивные находки сулят нам, несомненно, в достаточно близком будущем множество новых открытий. Несомненно, вопрос о том, какую территорию следует просить для «национального очага», обсуждался Михоэлсом и Фефером в США, о чем Фефер должен был проинформировать Кремль и Лубянку в секретной (а может быть, и не только секретной) части своего отчета. Оба они не могли видеть в разговорах на эту тему и в самой идее ни малейшей злокозненности — напротив, они искренне исходили из вполне патриотических соображений. Они, видимо, нисколько не сомневались в том, что эта идея будет наверху горячо одобрена и полностью поддержана. Разоренная страна в целом, а будущая «Еврейская республика» (союзная? автономная?) в частности не могли подняться на ноги без иностранной помощи — так, по крайней мере, тогда казалось, ведь именно за помощью их и послали в Америку. А раз так, надо было заручиться предварительной поддержкой заокеанских партнеров. Наконец, в самом еврейском национальном движении за границей, прежде всего в США, существовали различные течения, отнюдь не все были сторонниками создания государства на территории Палестины, а тем более массового заселения его так называемой «алией», то есть иммигрантами, выходцами из других регионов, — хотя бы уже потому, что это предполагало заведомо затяжной и мучительный конфликт с арабс-

ким населением региона и с противоборством великих держав, каждая из которых имела здесь свои интересы. Словом, создание «параллельного» национального очага в интернациональной стране (в «социалистическом отечестве — родине трудящихся всего мира») могло найти своих приверженцев и в зарубежных еврейских кругах, обсуждение с которыми такой потенциальной возможности — повторю это снова — никем, ни с какой стороны не ощущалось как нечто крамольное.

Насколько можно судить по дошедшим до нас обрывочным свидетельствам очевидцев, вопрос этот предварительно обсуждался где-то в сферах, и руководству ЕАК, которое при несомненном участии Михоэлса и Фефера решило выступить инициатором проекта, явно намекнули, что он приемлем и имеет хорошую перспективу. Посредником в предварительных переговорах был Лозовский — лицо сугубо официальное: заместитель наркома иностранных дел СССР (Молотова), чуть ли не ежедневно общавшийся со своим шефом, а то и с Самим. Его слово воспринималось неукоснительно как верховная мудрость: «зря не скажет»... Именно в такой обстановке и было составлено коллективное письмо на высочайшее имя с просьбой разрешить заселение Крыма евреями для последующего образования там Еврейской республики. Среди множества более или менее серьезных аргументов, обосновывавших это предложение, фигурировали и такие доводы, как «реанимированный» гитлеровцами на оккупированных территориях антисемитизм, как трагическая судьба, постигшая миллионы семей в результате геноцида, в частности, утрата эвакуировавшимися в глубь страны беженцами прежнего жилья и необходимость начинать жизнь сначала.

Впоследствии именно это письмо было объявлено «подрывной акцией международного сионизма», якобы инспирированной «лидером сионистов Хаимом Вейцманом, миллионером Розенбергом и другими еврейскими националистами, с которыми Михоэлс и Фефер встречались в США» и которые будто бы потребовали «добиться у советского правительства заселения евреями Крыма, создания там еврейской республики». Конечно, такое вздорное обвинение можно было

предъявить лишь тайно: оглашенное публично, оно заставило бы смеяться горьким смехом весь мир. Ведь названные лица, как и все их единомышленники, боролись всю жизнь именно с попыткой создать для евреев какой-либо очаг вне Палестины. Более того — даже с абстрактной идеей о существовании такой гипотетической возможности. Проект Михоэлса (если его вообще допустимо назвать проектом одного человека) мог встретить поддержку лишь у левой части диаспоры, отрицательно или хотя бы скептически относившейся к программе сионизма.

Сейчас исследователи той мрачной страницы недавней истории полагают, что отправка письма о «Крымской еврейской республике» была откровенной провокацией со стороны Сталина, Берии и их окружения — провокацией, целью которой было создать «базу» для начала широкой антисемитской кампании. Вряд ли это так. Можно, пожалуй, сказать и еще категоричней: это почти безусловно не так![1]

Скорее всего, в сегодняшних рассуждениях на эту тему происходит психологически понятная и не очень заметная поначалу временна́я подвижка. Первая половина сорок четвертого года это еще совсем не сорок седьмой и даже не сорок шестой год. Никакого далеко идущего, многоступенчатого замысла — подготовить расправу с ЕАК, с его руководителями, со всем советским еврейством — тогда еще не было даже в первом приближении. К тому же для расправы с неугодными ни в каких «обоснованиях» Сталин не нуждался: «обоснования» еще могли пригодиться на **публичном** процессе, но никак не на потайном. А эпоха публичных

[1] Несколько лет назад в Израиле изданы воспоминания Эстер Маркиш «Столь долгое возвращение...», где она рассказывает, что в конце 1947 г. Молотов и Каганович пригласили к себе группу руководителей ЕАК и посоветовали внести в политбюро предложение о создании в Крыму Еврейской автономной республики. Но архивные документы с непреложностью свидетельствуют: это предложение было внесено несколькими годами раньше. В конце сорок седьмого события разворачивались так, что для многоходовой провокации с письмом в политбюро не было ни надобности, ни времени. Что касается П. Маркиша, то он считал «исторически более справедливым» создать еврейскую автономию не в Крыму, а на землях бывшей республики немцев Поволжья. О «справедливости» не говорю: с этим все ясно. Но — так или иначе — любое предложение подобного рода было заведомо обречено.

кровавых шоу к тому времени уже отошла в прошлое. И наконец, никакого намерения ссориться с богатыми американцами, хотя бы и еврейского происхождения, у Сталина тогда не было и быть не могло.

Вполне вероятно, что лично с ним вопрос этот вообще предварительно никто не обсуждал. В конце концов речь шла пока только о предложении, а не о решении. Лозовскому достаточно было поговорить с Молотовым: посоветоваться, предупредить. Но Вячеслав Михайлович на принципиальную, глобальную акцию, тем более такого замаха, ни за что бы не отважился. Даже Берия вряд ли бы на это решился (да и зачем ему-то это было бы нужно?!), тем более что сам он — чудовище, деспот, палач — если в чем и не был замечен, так в антисемитизме.

Суммируя доступную нам информацию, можно, видимо, сказать, что, заручившись поддержкой, с одной стороны, каких-то кругов в Америке, с другой — окрыленные благожелательством советских верхов и оптимизмом Лозовского, деятели ЕАК решили использовать уникальный шанс, открыв своему многострадальному народу двери в райский уголок земли, который, в отличие от Биробиджана, несомненно привлек бы к себе тысячи и тысячи гонимых, поверженных, обездоленных, жаждущих очага. Не забудем, что Крым подвергнется варварской акции Сталина, депортировавшего в глубь страны по облыжному обвинению в тотальной измене все коренное население — крымских татар. Акция уже готовилась, решение, несомненно, созрело в голове вождя, и оно не могло не быть известно руководящему кругу, в том числе и Лозовскому. По тогдашней политической ситуации, особенно в обстановке неоправданной эйфории, охватившей деятелей ЕАК, казалось логичным, что «пособники оккупантов» понесут наказание, а жертвы геноцида получат закономерную компенсацию.

Конечно, даже не только с сегодняшних позиций, но и по вечным, не подверженным никаким «подвижкам» нравственным категориям решать судьбу одного гонимого народа за счет другого, тоже гонимого, было совершенно недопустимо. На чужих костях, на чужом горе, на чужой беде свое счастье не построишь. Была ли это собственная инициатива руководителей

ЕАК, или чья-то подсказка, или хотя бы и провокация, ничто, на мой взгляд, не оправдывает благородное рвение тех, кто в самый неподходящий (а казалось, наоборот, в самый подходящий) момент возмечтал разделить чужое наследство. Но, опять же справедливости ради, надо сказать, что идея освоения именно Крыма еврейскими переселенцами родилась не вчера, не в этот трагически неуместный период истории, а гораздо раньше и притом с участием руководителей партии и страны.

Когда в 1924 году были созданы КОМЗЕТ (Комитет по земельному устройству трудящихся евреев) и ОЗЕТ (Общество землеустроения трудящихся евреев), местом их устройства и землеустройства был избран именно Крым. Создание национального очага в Палестине тогда казалось делом довольно отдаленного будущего, поэтому иностранные благотворительные организации и, если пользоваться современным языком, деловые спонсоры горячо поддержали крымский вариант и именно в Крым направили основной поток материальной помощи: тракторы, другую сельскохозяйственную технику, племенной скот. Их получили первые переселенцы, откликнувшиеся на призыв собраться под крымским солнцем в его степной (не в приморской, заселенной татарами) части для национального возрождения.

Сам «дедушка» Калинин пришел в 1926 году на съезд ОЗЕТа и обратился с призывом осваивать крымскую землю: «Перед еврейским народом, — сказал он, — стоит большая задача — сохранить свою национальность, а для этого нужно превратить значительную часть еврейского населения в компактное население, измеряемое, по крайней мере, сотнями тысяч. Только при таких условиях еврейская масса может надеяться на дальнейшее существование своей национальности».

Правда, уже к 1928 году для «компактного населения» вместо Крыма был избран Дальний Восток. Одним из аргументов оказался тот несомненный факт, что успешно начавшееся освоение степных крымских территорий хлынувшими туда первыми еврейскими переселенцами пробудило у коренных жителей этих районов откровенные антисемитские настроения, кото-

рых раньше здесь никогда не было. Но это уже, как говорится, второй вопрос. Мы не обсуждаем сейчас, насколько правильной, дальновидной и перспективной была идея искусственного создания еврейского национального очага вне исторической родины — вообще, в Крыму — в частности. Я напомнил об этом имевшем место факте лишь для того, чтобы подчеркнуть: реанимированная идея крымской «колонизации» не содержала в себе ничего неслыханно нового, во-первых, и уж тем более ничего преступного, во-вторых. Самое худшее, на что она могла быть (и, по моему убеждению, должна была быть) обречена, это на то, чтобы оказаться отвергнутой. Поначалу так оно и было.

Авторами обстоятельно аргументированного, в весьма уважительном тоне написанного письма на имя Сталина следует считать Михоэлса, Фефера, вскоре умершего журналиста Шахно Эпштейна, а также главного врача больницы имени Боткина Бориса Шимелиовича, человека ясного ума, твердой воли и больших организаторских способностей: он играл в ЕАК очень активную роль. Письмо отредактировал, предварительно посоветовавшись с кем-то «наверху», Соломон Лозовский. 15 февраля 1944 года оно ушло в Кремль. «Резолютивная» часть письма состояла из двух пунктов: 1. Создать на территории Крыма Еврейскую Советскую Социалистическую Республику и 2. Назначить правительственную комиссию по этому вопросу.

Авторы письма не сомневались в положительном и притом очень скором ответе: ведь судьбу Крыма действительно надо было быстро решать. Они не делали из своего замысла никакой тайны: уже в марте сорок четвертого — нет, не о письме, а о предстоящем создании в Крыму ЕССР (!) — знала буквально «вся Москва»[1]. Нелепая, опасная и заведомо обреченная на про-

[1] Этот план сразу же встретил сопротивление отнюдь не только в партийных кругах. Он напугал тех представителей еврейской интеллигенции, которые были трезво мыслящими политиками, способными предвидеть реальные последствия безрассудства. Есть достоверные свидетельства того, что «крымскому проекту» решительно воспротивились Илья Эренбург и Максим Литвинов, но их голоса не были услышаны. Скорее всего, этому способствовали два обстоятельства: во-первых, оба «оппонента» были известны как сторонники еврейской ассимиляции, во-вторых же, через Лозовского кто-то явно злонамеренно тянул ЕАК в пропасть.

вал затея казалась настолько осуществимой, что члены руководства ЕАК стали готовиться, не дожидаясь ответа, к практическим шагам. Автор стихов, которые, благодаря мастерству талантливых русских поэтов-переводчиков, знали наизусть миллионы советских детей всех национальностей, — Лев Квитко, отложив на время поэзию, отправился в Крым, чтобы «изучить вопрос на месте», разобраться в тех практических проблемах, которые возникнут при переселении «компактных масс» на разоренную землю, внести свои деловые предложения. Несколько лет спустя эта бесплодная, но невинная, продиктованная самыми возвышенными целями акция будет на привычном языке МГБ квалифицирована так: «Выполняя преступные указания руководства ЕАК, выезжал в Крым для сбора сведений об экономическом положении области».

Хорошо налаженная, казалось, машина забуксовала. Предложение, содержавшееся в письме, отвергнуто не было. Но и поддержано не было тоже. По давно отработанной советской бюрократической манере письмо безответным утонуло в кремлевском архиве. Утонуло, чтобы вскоре выплыть уже на Лубянке.

Однако руководители ЕАК еще не теряли надежды. Ничто, казалось бы, не предвещало грядущих событий. В комитете, рассказывает дочь С. М. Михоэлса — Наталия Вовси-Михоэлс, «была создана специальная комиссия по розыску без вести пропавших... время от времени появлялись... партизаны и рассказывали о борьбе партизанских отрядов с фашистами... Поступали сообщения о лагерях смерти. Было создано Информационное бюро, куда стекались толпы, чтобы навести справки о своих близких. Стали появляться первые, чудом уцелевшие беженцы». В комитет все чаще и чаще стали приходить письма возвращавшихся домой из эвакуации евреев о притеснениях, которым они подвергались, пытаясь трудоустроиться, прописаться. Это была естественная реакция тех, кто с величайшим удивлением и растерянностью столкнулся с первыми, вероятно, еще не резко обнаженными, не демонстративно откровенными проявлениями **официального** антисемитизма, хотя бы и только на районном уровне. Отвыкнув от него за двадцать лет, предшествовавших

войне, а тем более ощутив себя жертвами фашистского геноцида в **антифашистской** войне, которую вел Советский Союз, они не могли представить себе, что «инициатива» идет откуда-то сверху. Им казалось, что все это единичные проявления какого-то «фашистского недобитка» или очередного «врага народа», о чем официально существующий Еврейский антифашистский комитет должен незамедлительно информировать высшие сферы для принятия мер. Именно так комитет (то есть его уважаемые руководители) и поступал. Не только на самый верх, но и в республиканские, областные, городские организации летели запросы, жалобы, протесты — вскоре в «компетентных органах» (читай: ЦК и МГБ) их скопилось изрядное количество. Реакция понятна. Точнее, известна.

Сталин создавал ЕАК, разумеется, не для этого. Мы знаем, зачем он его создавал. Эта цель, во-первых, уже была достигнута, во-вторых же, отпала сама собой с окончанием войны. Крутой поворот внешней политики — тем более после того, как Черчилль открыто и недвусмысленно откликнулся на него своей исторической речью в Фултоне, — сопровождался и поворотом в политике внутренней. Вызывающе дразнящие сигналы ЕАК об «отдельных» участившихся проявлениях антисемитизма приводили в ярость чиновников, хорошо осведомленных об истинном положении дел, ускоряя неизбежную ликвидацию этого странного «общественно-политического» института, слишком загостившегося на политическом небосклоне сороковых годов. Еврейский **антифашистский** (то есть откровенно пропагандистский, откровенно политический) комитет на глазах превращался в просто Еврейский комитет и уже по одному этому был обречен, но бурная, наступательная активность его руководителей, явно неадекватно реагировавших на изменение обстановки, действовала на Сталина, как красное на быка, чем способствовала скорейшему приближению неизбежного конца.

Александра Щербакова, под цекистской эгидой которого действовал ранее комитет (именно Щербаков в беседах с будущими руководителями ЕАК определил его функции и компетенцию), уже не было в живых. «Куратором» стал Михаил Суслов, личность и позиции которого слишком хорошо известны и не нужда-

ются в дополнительных комментариях. Именно он представил 19 ноября 1946 г. в политбюро за своей подписью докладную записку, обличающую ЕАК в том, что тот «скатился» на позиции национализма и сионизма, что дальнейшее его существование представляет, с точки зрения политической, опасность для государства и что, стало быть, его следует немедленно распустить.

Можно ли считать случайностью, что именно тогда же — и тоже в адрес политбюро (то есть Сталину) — ушла другая докладная записка? Она вышла из стен МГБ и официально называлась: «О националистических тенденциях некоторых деятелей Еврейского антифашистского комитета». Но речь в ней шла отнюдь не о «некоторых деятелях», а о комитете в целом как об организации враждебной, антисоветской, о принятии ко всем ее активистам «соответствующих» мер.

Сталин тогда еще не был готов к «соответствующим» мерам. Расстановка сил в Палестине и вокруг Палестины еще не определилась. Дразнить потенциальных союзников было в высшей степени неразумно. Высочайшего ответа не последовало. «Докладные» остались ждать своего часа. Между тем и на Старой площади, и на Лубянке разворачивалась борьба различных сил, борющихся за свое влияние, положение и карьерный рост. Внешнеполитический департамент ЦК (Международный отдел) курировал Андрей Жданов. Именно к нему (и явно не без его предварительного благословения) обратились в июле 1947 г. два сотрудника отдела — Баранов и Григорян — с предложением оказать помощь ЕАК и повысить его активность. Эта «докладная» тоже не имела никаких последствий, но ее существование дает нам косвенное, однако очень яркое представление о том, какая борьба шла внутри отнюдь не единой команды сталинских соратников. Еще одним тому подтверждением служит письмо, подписанное Сусловым и заведующим отделом пропаганды ЦК Георгием Александровым, датированное 7 ноября 1947 г. (неужели трудились даже в день светлого праздника? Очень возможно: Суслов горел на работе, а его аскетизм по алкогольной части общеизвестен). На этот раз письмо было направлено не просто в политбюро, а лично Вячеславу Молотову и секретарю ЦК Александру Кузнецову: авторы-

призывали их стать союзниками в борьбе за роспуск зловредного комитета.

Ответа не было. Сталин продолжал выжидать.

Но вся эта невидимая миру возня прикрывалась вполне благопристойным фасадом: вождь блистательно умел пускать пыль в глаза, используя доведенные до виртуозности коварные приемы «восточной» хитрости. Первые же пробившиеся наружу проявления повсеместного государственного антисемитизма были как бы опровергнуты присуждением Михоэлсу, Зускину, художнику Александру Тышлеру и другим участникам постановочного коллектива Сталинской премии за спектакль «Фрейлехс» в Государственном еврейском театре: на этот яркий, праздничный, веселый и грустный мюзикл (как сказали бы мы сегодня) валом валили тысячи поклонников подлинного искусства всех национальностей. То, что премия была совершенно заслуженной, ни у кого не вызывало сомнения. Но она «проходила» совсем не по «ведомству» искусства, служа неотразимым аргументом против высказанных или невысказанных упреков в раздувании антисемитизма или хотя бы потворствования ему.

Между тем в кабинетах на Старой площади и на Лубянке шла своя работа: уж там-то хорошо понимали, что́ есть дымовая завеса, а что́ суть, ею скрываемая. К этому времени у Сталина, Маленкова, Жданова и Суслова скопилось множество «докладных записок» с грифом «совершенно секретно»: все они были одного содержания, в них сообщались «дополнительные факты» о националистической, враждебной, шпионской деятельности Еврейского антифашистского комитета. Нет никакого сомнения: такой поток целенаправленной, лживой «информации» не мог идти в столь большие верха, если бы фальсификаторы не знали, что именно такие материалы от них ждут.

Сценарий, спешно сочинявшийся в это время «чекистами», делал главными героями двух американцев еврейского происхождения, которые в США относились к крайне левым и подозревались в связи с советскими секретными службами: журналистов Новика и Гольдберга. Новик был ветераном рабочего движения в США, с 1921 года состоял в компартии, располагаясь на самом просоветском ее крыле, редактировал газету

американских коммунистов-евреев «Морнинг Фрайхайт», где всегда печатались статьи, восторженно отзывавшиеся о «сталинской национальной политике». Гольдберг был автором таких статей. Возвратившись из Советского Союза, он опубликовал не только в «Морнинг Фрайхайт», но и в других американских газетах левого направления репортажи, где использовал полученные им в Москве пропагандистские фальшивки для восхваления Сталина, советской «дружбы народов» и вообще всего того, что было принято называть «советским образом жизни». Материалы были переданы через ЕАК, что очень скоро будет вменено в вину его руководителям, а сами материалы будут квалифицированы как шпионские.

Вот этих-то людей (напомню: подозревавшихся американской контрразведкой в связи с советскими спецслужбами) Лубянка представила Кремлю как агентов ЦРУ. Ей это было нужно, поскольку никаких других американских «эмиссаров», прибывших в Москву для контактов с ЕАК, попросту не было. Бессмысленно искать тут хоть какую-то логику. Новый вираж сталинской политики был чутко воспринят в том ведомстве, которое теперь возглавлял не Берия, а Абакумов, — и оно из подручных средств стало готовить материалы, явно рассчитанные на благосклонного читателя с неизменной трубкой в руке.

Еврейская тема выходит к тому времени на первый план в раздумьях первого человека страны. Уже через три недели после того, как Суслов и Александров призвали ближайших соратников нанести «удар по сионизму», Генеральная Ассамблея ООН приняла решение (29 ноября 1947 г.) о создании на землях Палестины («подмандатная» территория Англии с 1920 г.) государства Израиль. Никаких симпатий к этому будущему государству Сталин, конечно же, не испытывал, но держатель «мандата» Англия, теряя свои позиции, поддерживала тогда арабов, и уже по одному этому Москва горячо приветствовала обретение евреями своей исторической родины. Иные из деятелей ЕАК приняли, кажется, это «приветствие» за чистую монету. Затевалась сложнейшая политическая интрига, где неспособные разобраться в кремлевских игрищах, одержимые идеями, которые скоро обзовут «национали-

стическими», активисты гибнущего комитета становились обреченными на заклание жертвами. Они явно этого не понимали.

Готовить убийство, организованное не снизу, а сверху, долго не надо. И все же решение предшествует его исполнению. Это значит, что убрать Михоэлса Сталин задумал никак не позже чем в декабре 1947 г. Не позже, но, скорее всего, и не раньше. Стратегия, родившаяся в сталинской голове после названного решения ООН, исключала присутствие в стране признанного лидера еврейского национального движения, пользовавшегося огромным авторитетом во всем мире. Казалось бы, никакой государственной фигурой он не был, на политику никак не влиял, но его личность, а значит и мнение, а значит и позиция, а значит и слово — все это весило очень много. Он был лишним настолько же, насколько в другой период и по другим причинам был лишним Горький. Есть люди, непригодные для суда. Ни тайного, ни явного. И даже для расправы в тюремных подвалах. Лучше — помочь им уйти...

Есть и другие подтверждения тому, что роковым месяцем стал именно декабрь сорок седьмого. 19 декабря по указанию министра госбезопасности Абакумова без санкции прокурора (хотя какой бы прокурор в ней тогда отказал? И действительно, 8 января сорок восьмого года союзный прокурор Сафонов подмахнул свою подпись) был арестован доктор экономических наук, старший научный сотрудник института экономики АН СССР Исаак Гольдштейн. Что послужило даже формальным поводом для этого ареста, установить невозможно, но «сверхзадача» очевидна — она видна не только из целенаправленных вопросов следователей, но и из объяснений самого Гольдштейна, данных 2 октября 1953 г. Да, именно так: «родоначальник» гигантской мистерии, избранный на Лубянке в качестве первой жертвы, которая увлечет за собой всех остальных, — он остался жив, получив 29 октября 1949 г. без суда (постановлением так называемого Особого совещания) 25 лет лагерей. Скорее всего потому, что мог (так замышлялось) еще пригодиться.

Впрочем, мы забежали вперед. Протокол первого (!) допроса Гольдштейна датирован 9 января 1948 г., хотя

справка, хранящаяся в деле, бесстрастно сообщает, что с 19 декабря 1947 г. по 8 января 1948 г. он вызывался на допрос 17 раз и «давал показания» в общей сложности 69 часов. О том, как и какие он «давал показания», можно узнать из двух других документов: заключения военного прокурора подполковника юстиции Жукова (1955 год), на основании которого состоялась реабилитация деятелей ЕАК, и письменных объяснений выжившего и освобожденного из лагеря Гольдштейна от 2 октября 1953 г.

В заключении сказано: «После его (И. И. Гольдштейна. — *А.В.*) ареста следователь Сорокин и бывшие заместители начальника следственной части по особо важным делам (МГБ СССР. — *А.В.*)... Лихачев и Комаров по указанию Абакумова начали домогаться от Гольдштейна показаний о проводимой якобы им шпионской и националистической деятельности несмотря на то, что **никаких данных на этот счет в органах государственной безопасности не было** (подчеркнуто мною. — *А.В.*)... Гольдштейна подвергли избиениям, вынудили подписать сфабрикованный ими с участием работника секретариата Абакумова — Бровермана[1] протокол допроса, в котором (Гольдштейн. — *А.В.*) показал, что Лозовский, Фефер, Маркиш и другие под прикрытием ЕАК занимаются якобы антисоветской националистической деятельностью... проводят шпионскую работу».

А вот что писал в своих объяснениях после освобождения сам Гольдштейн: «19 декабря 1947 г. я был арестован в Москве, препровожден на Лубянку, а затем в следственную тюрьму в Лефортово (значит, сразу не дал желанных палачам показаний и отправлен на «обработку». — *А.В.*). Меня стали жестоко и длительно избивать резиновой дубинкой по мягким частям

[1] Это имя встречается в различных материалах проверок, которые шли начиная с 1953 г. множество раз. Броверман считался самым лучшим, если не единственным, грамотеем ведомства. Не участвуя лично ни в допросах, ни в избиениях, он превращал безграмотную стряпню костоломов и фальсификаторов в удобоваримое чтиво. Был затем арестован и предан суду вместе с Абакумовым, Леоновым, Лихачевым, Комаровым в декабре 1954 г. На суде упоенно уличал других подсудимых, выгораживая себя. Приговорен к 25 годам лагерей, но вышел на свободу задолго до окончания срока. Потом следы его затерялись.

и по голым пяткам. Били до того, что я ни стоять, ни сидеть не был в состоянии... Сорокин и еще один полковник (сопоставляя объяснения Гольдштейна с другими документами, следует прийти к выводу, что это был Комаров. — *А.В.*) стали меня так сильно избивать, что у меня на несколько недель лицо страшно распухло и я в течение нескольких месяцев стал плохо слышать... Меня заставили расписаться под этим протоколом... Всего меня избивали 8 раз, требуя все новых и новых признаний. Измученный следовавшими за собой (так в тексте. — *А.В.*) дневными и ночными допросами, терроризируемый избиениями, руганью и угрозами, я впал в глубокое отчаяние, в полный моральный маразм, стал оговаривать себя и других лиц в тягчайших преступлениях».

Следователь Георгий Сорокин подтвердил это заявление Гольдштейна. В ходе проверки ему предложили написать свои объяснения. Вот что сказано в них (датировано 3 января 1954 г.): «Указание Абакумова о применении к Гольдштейну мер воздействия Комаров выполнял в тот же вечер при моем участии... Прочитав протокол допроса, Абакумов мне говорил, что я плохо допросил Гольдштейна, неумело составил протокол допроса, а поэтому он должен быть поправлен Броверманом, который с кем-то из заместителей начальника следственной части... в моем присутствии подверг «обработке» этот протокол, который пошел в Инстанцию...»

Что называлось «Инстанцией» (писалось это слово обычно с большой буквы), мы знаем. Сопоставив даты, нетрудно понять, как складывалась и развивалась цепочка событий. Михоэлса убрали, но решения, как поступить с ЕАК и его руководителями, все еще не было. Тому было две причины: «внутренняя» и «внешняя». И никто не знает, какая из них была важней. Впрочем, обе они были настолько тесно переплетены, что делить их на более или менее важную вряд ли возможно.

Сказав, что экономист И. И. Гольдштейн был первой жертвой Лубянки в ее чудовищном заговоре против целого народа, я сознательно допустил на время одну неточность, следуя за канвой, которую набросали разоблачители этого заговора (Главная военная прокуратура) в 1953 — 1955 гг. (Отметим попутно, что

прокуратура была, конечно, лишь исполнителем: «авторы» потайных разоблачений находились на Старой площади.) На самом же деле **первыми** жертвами были другие, но и после смерти Сталина это не «афишировалось» даже в секретных документах. Теперь нам предстоит слить воедино (как оно и было в действительности) два вроде бы параллельных и не соединенных друг с другом потока.

Еще за девять дней до того, как был схвачен Гольдштейн, МГБ арестовало родственницу жены Сталина Надежды Сергеевны Аллилуевой — жену погибшего при загадочных обстоятельствах ее брата Павла — Евгению Александровну Аллилуеву. Именно ее, наверно, и следует считать **первой** жертвой, хотя к деятельности ЕАК она никакого отношения не имела и никто об этой деятельности ее не допрашивал. Ей вменялось в вину, что «на протяжении ряда лет у себя на квартире устраивала антисоветские сборища, на которых распространяла гнусную клевету в отношении главы Советского правительства» (то есть своего дальнего родственника Иосифа Виссарионовича Сталина). Те же обвинения были предъявлены ее второму мужу Николаю Молочникову[1] и дочери Кире Павловне Аллилуевой, артистке Малого театра, арестованной 6 января 1948 г. Те же — сестре Надежды Сергеевны Анне Сергеевне Аллилуевой, члену Союза писателей СССР (арестована 30 января 1948 г.). Те же — их приятельнице Лидии Александровне Шатуновской, выпускнице ГИТИСа, ученице Мейерхольда, театроведу[2] и ее вто-

[1] Хотя инженер Н. Молочников и был арестован, Е. А. Аллилуева из допросов на следствии поняла, что он являлся агентом МГБ, в течение многих лет снабжавшим «органы» информацией о жизни ненавистного Сталину «клана» Аллилуевых. После реабилитации и освобождения она с ним разошлась.

[2] Л. А. Шатуновская была в молодости членом семьи старого большевика, члена ЦИК и заместителя председателя Верховного суда СССР Петра Красикова. Близость к этой семье и брак с умершим еще в 1932 г. высокопоставленным советским хозяйственником позволили ей поселиться в Доме на набережной, где она познакомилась и подружилась со многими представителями партийной, государственной, военной элиты. После освобождения из лагеря жила и работала в Москве. В семидесятые годы вместе с мужем эмигрировала в Израиль. В 1982 г. издательство «Чалидзе паблкейшн» (Нью-Йорк) выпустило книгу ее мемуаров «Жизнь в Кремле».

рому мужу, профессору физики Леониду Тумерману, арестованным 27 декабря 1947 г. Все эти подробности, а тем более даты, чрезвычайно важны для того, чтобы следить за развитием событий.

Но какое отношение аресты семьи Аллилуевых и их друзей имеют к теме этого очерка? О том, как Сталин «любил» родственников своей жены, хорошо известно. Достаточно подробно описана и история уничтожения мужа Анны Сергеевны Станислава Реденса, казненного еще в 1938 г. (интересующихся отсылаю к книге Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу»). Патологическое стремление Сталина вырубить под корень эту семью не было секретом ни для Берии, ни для Абакумова, ни для остальных столпов тайной полиции. Теперь было решено связать в один узел разрозненные «факты», сочинив немыслимый сюжет и создав такую драматургию, на которую были горазды только лубянские мастера.

Л. А. Шатуновская была хорошо знакома с Михоэлсом, помогала ему в литературной работе, часто встречалась. В «докладной записке», пошедшей с Лубянки в Кремль, сообщалось, что именно через нее поступают к Михоэлсу, а оттуда в ЕАК, а оттуда американским шпионам некие сведения о «главе советского правительства» (даже документы с грифом «совершенно секретно» не допускали упоминания всуе имени божества) — разумеется, злостно клеветнические: какие другие еще могли бы интересовать иностранных шпионов? Это была «любимая мозоль» вождя, его «пунктик», который можно было использовать со стопроцентной гарантией на успех. Напомним: еще за несколько лет до описываемых событий первую любовь юной Светланы Аллилуевой — кинодраматурга Алексея Каплера — обвинили в том, что по заданию английской разведки он пытался проникнуть в «монаршью» семью, дабы раскрыть какие-то секреты вождя народов и продать их врагу...

Итак, сюжет номер один выстраивался следующим образом: презренные наймиты международного сионизма во главе с Михоэлсом, засевшие в ЕАК, получают «клеветнические сведения» о сокровенных тайнах великого Сталина через посредство Шатуновской от членов семьи Аллилуевых, которые вознамерились отомстить

ему за гибель Надежды, Павла, Станислава и других родственников, эти «клеветнические сведения» руководители ЕАК передают американским шпионам, а уж что те делают или собираются с ними делать, одному Богу известно... Видимо, этот личный мотив, задевший Сталина за живое, сыграл решающую роль в том, как стремительно и жестоко стали вскоре развиваться события.

Стремительно — да, и все же не сразу. Уже в начале января 1948 г., не дожидаясь, пока Броверман оформит, как следует, протокол, «Инстанцию» уведомили: арестованный Гольдштейн «вынужден признать, что еще в 1946 г. его знакомый Гринберг Захар Григорьевич (работник аппарата президиума ЕАК. — *А.В.*) сообщил ему, что Еврейский антифашистский комитет проводит антисоветскую националистическую работу, что возглавляет всю эту работу Михоэлс, который завязал широкие связи с еврейскими буржуазными националистами в США и пользуется полной поддержкой у американских сионистов».

«Возглавляет Михоэлс...» Ему оставалось «возглавлять всю эту работу» еще несколько дней...

Если вчитываться в документы и сопоставлять даты, то следует прийти к выводу, что убийство Михоэлса на время притормозило уже заготовленный по сценарию обвал. Ждали дальнейших указаний сверху; а их все не было. Грандиозные похороны, устроенные Михоэлсу, не укладывались в схему, по которой он тут же мог быть объявлен американским шпионом и сионистским агентом. Приведенная в очерке «Правая рука великого инквизитора» версия, будто Михоэлсу отводилась первоначально роль жертвы сионизма, а не его агента, находит косвенное, но убедительное подтверждение в доступных нам материалах. Допросы уже арестованных «заговорщиков», относящиеся к февралю — маю 1948 г., не содержат упоминания о какой-либо контрреволюционной деятельности убитого артиста. Его имя вдруг вообще исчезает из протоколов в каком бы то ни было контексте: позитивном, негативном, даже нейтральном. Зато оно упоминается в иных официальных документах: имя его присваивается ГОСЕТу (Государственному еврейскому театру), еврейской те-

атральной студии, а в Москве устраиваются два грандиозных вечера его памяти, о которых аршинными буквами извещают расклеенные по всему городу афиши. Я был на обоих. Помню выступления Ильи Эренбурга, Ивана Козловского, генерал-лейтенанта, писателя Алексея Игнатьева, Сергея Образцова, Александра Таирова... Свою поэму о Михоэлсе читал Перец Маркиш, стихи — Ицик Фефер, Лев Квитко и другие — все те, на кого уже лежали в лубянских сейфах распухшие от лживых доносов и выбитых показаний досье...

Уточним: разгром ЕАК и еврейской советской культуры был на время приторможен, но это вовсе не значит, что запланированные Лубянкой акции прекратились. 20 января 1948 г. был арестован заведующий отделом фотоинформации Совинформбюро Григорий Соркин. Его обвинили в шпионаже, причем опять среди «источников шпионской информации» на первом месте стояли ЕАК и учреждение, где он работал: Совинформбюро. Снаряды ложились уже совсем рядом с Лозовским: этот последний орган именно он и возглавлял.

Вот что рассказывал Соркин в мае 1954 года, пробыв в неволе всего шесть лет из отмеренных ему двадцати пяти: «... С 24 января по 22 февраля 1948 г., будучи в Лефортовской тюрьме, я ежедневно подвергался избиениям резиновой палкой, причем удары... наносились по всему телу, но больше всего на область ягодиц, в результате чего на ягодицах образовались кровоточащие раны, заживление которых продолжалось более 4 месяцев». Спустя шесть лет медицинская экспертиза обнаружила «рубцы звездчатой формы» — результат «травматического повреждения тупым предметом». Чего хотели от Соркина истязатели? Сам он их интересовал меньше всего. Они требовали подтвердить, что «Лозовский, Маркиш и другие деятели ЕАК продались американцам и сионистам». Михоэлс уже был убит и погребен — имя его среди «продавшихся» не упоминалось. Но когда возникнет необходимость выставить публично «еаковцев» как изменников и шпионов, «доказательства» искать не придется: Михоэлс вполне мог быть отнесен к числу «других»...

Как уже сказано, были определенные внешние причины, которые оттягивали принятие Сталиным какого-

либо решения и этим продлевали агонию ЕАК. Да и только ли ЕАК? Ведь его судьба автоматически влекла за собой решение тысяч судеб. Может быть, сотен тысяч. А может, и больше...

Близился день формального провозглашения государства Израиль. Ставка на его руководителей как на силу, противостоящую английским интересам, желание вытеснить Британию из региона и овладеть определенными позициями на Ближнем Востоке — все это казалось тогда в Москве отнюдь не прожектерством. Затевать, пусть даже без барабанного боя, широкомасштабную антисемитскую кампанию было решительно не с руки. Поэтому команды развернуть наступление не было. Но не было и отбоя.

Официальное рождение государства Израиль состоялось 14 мая 1948 г. Немедленно состоялось явно заготовленное заранее официальное признание новорожденного Советским Союзом, сопровождаемое поставкой оружия для отражения атаки арабских государств, выступивших против возрожденного государства. Кажется, США успели сделать это (объявить о признании де-юре) на несколько часов раньше, но официальные представители СССР упорно твердили, что первым государством, признавшим Израиль, был именно Советский Союз. Ни в большой политике, ни в дипломатической практике такое первенство не имеет никакого значения. Десятки государств неизбежно оказываются вторыми, третьими, двадцать третьими, и это ничуть не умаляет их достоинств и не делает их отношения с признанной на день, на неделю или даже на месяц позже страной менее прочными. Зачем же Сталину было нужно так настаивать на «золотой медали», принадлежащей только ему? Даже Вышинский, выступая в те дни на проходившем с большой помпой вполне деловом обсуждении макета учебника по теории государства и права, вдруг совсем «не на тему» сообщил: «Мы первыми, именно первыми, признали государство Израиль». Он не сомневался: аудитория — сотни юристов — разнесет по стране не только его сообщение, но и ту восторженную интонацию, с которой оно было преподнесено.

Эта акция преследовала тоже двойную цель. О стремлении заполнить вакуум, образовавшийся после

вытеснения англичан из Палестины, уже говорилось. Очень многие руководители нового государства были выходцами из России, Украины, Белоруссии, из районов, так или иначе относившихся к территории тогдашней советской империи. Не столько ностальгия и сентиментальность, сколько трезвый расчет (ведь в СССР оставалось несколько миллионов потенциальных граждан нового государства) побуждал, казалось, израильских руководителей ответить подобающим образом на демонстративный сталинский жест. Но в Израиле вели себя более осторожно. США, с которыми лидеры Израиля были в теснейшей связи, отнюдь не стремились к проникновению сталинского влияния на Ближний Восток. Англия срочно приспосабливалась к новой политической реальности. В объятия к Сталину никто не спешил бросаться.

Вторая цель состояла в том, чтобы нейтрализовать уже проникшие в общество слухи о меняющемся курсе в национальной политике. Слухи подкреплялись фактами: получить работу и жилье, поступить в институт лицам с неприемлемыми анкетными данными становилось все труднее. Теперь вроде бы эти слухи и тревожные настроения лишались почвы. Психологическое и политическое алиби на случай грядущих событий (аресты, ссылки, пропагандистская кампания и т. п.) казалось обеспеченным.

3 сентября 1948 г. в Москву с первой дипломатической миссией прилетела посол Голда Меир (в советской печати сообщалось о прибытии Голды Меирсон). Вскоре она посетила московскую синагогу: праздновался еврейский Новый год. Присутствующих было много, толпа запрудила маленькую улицу, на которой помещалась (и сейчас помещается) синагога. Израильскому послу устроили очень теплую встречу. Впоследствии, распространяясь через вторые, третьи и пятые руки, молва превратила празднование Нового года на тихой московской улице в «гигантское шествие по улице Горького, когда в честь Голды Меир было перекрыто на несколько часов движение в центре Москвы» (так написала, откликнувшись на один мой газетный очерк, москвичка И. П. Позднякова).

Центр не перекрывали, но необычное для советских нравов уличное торжество с участием иностранного

посла дало возможность ведомству Абакумова подтолкнуть Сталина к принятию нужного Лубянке решения. Ведь во Внутренней тюрьме и в Лефортове уже сидели «заговорщики», все материалы были готовы, торможение связывало «выбивал» по рукам и ногам.

Сталин принял решение. Поворот политики по отношению к Израилю отразила опубликованная 21 сентября 1948 г. в «Правде» статья Ильи Эренбурга «По поводу одного письма». Статья написана в форме ответа на письмо некоего Александра Р., «немецкого еврея из Мюнхена». То, что письмо сочинено, или, как теперь принято говорить, «смоделировано», не подлежит ни малейшему сомнению. Как не подлежит сомнению и то, что Эренбург выполнял прямой сталинский заказ: произошла перемена политики по отношению к Израилю, и об этом надлежало уведомить мир.

«Я хочу узнать, как относятся в Советском Союзе к государству Израиль? — вопрошал автор «письма». — Можно ли видеть в нем разрешение так называемого еврейского вопроса?» Бездарная прямолинейность вопроса, чисто советская фразеология (чего стоит это «так называемого»!) слишком очевидно выдавали заданность публикации: может быть, Эренбург намеренно постарался дать знать Западу, что исполняет верховную волю?

«Советское правительство первым (! — *А. В.*) признало новое государство, — напоминает Эренбург, — энергично протестовало против агрессоров, и, когда армии Израиля отстаивали свою землю от арабских легионов, которыми командовали английские (!! — *А. В.*) офицеры, все симпатии советских людей (так уж и все? — *А. В.*) были на стороне обиженных, а не на стороне обидчиков». Сталинский голос слышится и в тех пассажах, где прославленный писатель назойливо пишет об «атаках английских наемников», о «вторжении англо-арабских полчищ» и «англо-американского капитала».

Но целью публикации был, конечно, ответ на второй вопрос, содержавшийся в «письме». «...Разрешение «еврейского вопроса», — разъяснял Эренбург своему корреспонденту, — зависит... от победы социализма над капитализмом...» Все советские евреи, продолжал он, «считают советскую страну своей родиной, и все они горды тем, что они граждане той страны, где нет

больше эксплуатации человека человеком... Граждане социалистического общества смотрят на людей любой буржуазной страны, в том числе и на людей государства Израиль, как на путников, еще не выбравшихся из темного леса. Гражданина социалистического общества никогда не сможет прельстить судьба людей, влачащих ярмо капиталистической эксплуатации».

Поразительное косноязычие и примитивные пропагандистские штампы не имели ничего общего с блестящим публицистическим пером Ильи Эренбурга. Сердце и рука оказались в непримиримом конфликте. Но Сталину под такой статьей было нужно его имя. Уже зрели грандиозные и кошмарные планы — именно поэтому вождь счел необходимым напомнить устами Эренбурга, что не кто иной, как Сталин, заявил еще в 1931 году: «Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма».

Отметим: статья появилась ровно через три недели после прибытия в Москву первого израильского посла. Эйфорию, рожденную в некоторых кругах этим событием, следовало немедленно погасить. Но приезд этот сам по себе, конечно, не мог быть причиной крутых поворотов в политике. И тогда, в разгар драматических событий, и многие годы спустя, когда к ним возвращаются как те, кто их пережил, так и те, кто их изучает, большое, едва ли не судьбоносное значение придавалось и придается отдельным фактам, которые предстают как причина последовавших за ними арестов, высылки, всевозможных гонений. На самом деле перемены в сталинской политике были обусловлены значительно более глубокими причинами, нежели те, что кочуют из книги в книгу. Едва ли не все мемуаристы и, увы, даже историки придают чуть ли не роковое значение той встрече, которая произошла между Голдой Меир и Полиной Жемчужиной, женой Молотова. Встреча эта состоялась на приеме, который Молотов, как министр иностранных дел, устроил для дипкорпуса по случаю 31-й годовщины Октябрьской революции.

Следует напомнить, что Жемчужина была не просто женой Молотова, но и человеком, известным в партийных и государственных кругах. Не только женой второго лица в государстве, а еще и человеком со своей биографией. Была наркомом рыбной промыш-

ленности, возглавляла пресловутый трест «Жиркость» (знаменитое в 30-х годах «ТэЖэ», то есть ведомство государственной парфюмерии), входила в состав ЦК партии. Но главное — была близкой (а возможно, и единственной) подругой Надежды Сергеевны Аллилуевой — последней, кто видел ее живой и с кем она поделилась своими переживаниями буквально за несколько минут до своего трагического конца. Уже одно это делало ее неизбежной жертвой сталинской мести. Жемчужину неоднократно «критиковали» (то есть попросту травили), изгоняли с занимаемых ею постов, в феврале 1941 года, на 18-й партийной конференции, вывели из ЦК за какие-то «провалы в работе». Но до тех пор пока Молотов был «самым верным и самым близким соратником великого Сталина», до «крайних мер» дело не доходило.

В «Автобиографии» Голды Меир, написанной многие годы спустя, рассказано о том, как на приеме Жемчужина сама подошла к ней и сказала, что очень рада этой встрече. Не преминула добавить, что говорит на идише, выразила желание познакомиться с дочерьми посла, расспрашивала об израильских кибуцах... «Мы беседовали довольно долго, — пишет Г. Меир. — На прощание Полина Жемчужина сказала: «Если у вас все пойдет хорошо, то хорошо будет и всем евреям в мире».

Кто знает, испросила ли она разрешение министра иностранных дел на эту беседу? Проинформировала ли мужа-министра о ее содержании хотя бы потом? Но то, что каждое слово их длительной беседы тут же стало достоянием «органов», в этом нет никакого сомнения. «После разговора с нами, — заключает Г. Меир, — Полина Молотова была арестована». После — да. Но только ли из-за этого? Возможно, секретная информация «лично» вождю послужила последней каплей. Прочитав информацию, Сталин сказал своему любимцу, уже переставшему быть таковым: «Тебе надо разойтись с женой». Как свидетельствует конфидент Вячеслава Михайловича поэт Феликс Чуев, Полина Семеновна отреагировала в стиле партийной этики: «Если это нужно для партии, мы разойдемся». Развод оформили без проволочек: это было в конце 1948-го. А в феврале 49-го Жемчужину арестовали.

Этому предшествовала унизительная процедура «обсуждения личного дела» на заседании политбюро с участием «партийного актива». Среди приглашенных был и Александр Фадеев. Писатель Марк Колосов воспроизводит в своих воспоминаниях рассказ Валерии Герасимовой, первой жены Фадеева: «Жемчужину обвиняли политически — вражеская подрывная работа. К этому прибавили и ужасающую грязь. Схема такая: она, мол, сожительствовала со своим секретарем (молодой человек), он был агентом, ставленником капиталистического государства, кажется, Америки.[1] Пользуясь близостью с Молотовым, Жемчужина выведывала и передавала государственные тайны врагам нашей страны».

Член политбюро Молотов участвовал в обсуждении персонального дела жены, слушал весь этот оскорбительный вздор и (раз нужно для партии!) проголосовал вместе со всеми за ее исключение «из рядов». Почти за восемь лет до этого, когда Полину Семеновну изгоняли из ЦК, он осмелился воздержаться!..

К тому времени на Лубянке уже был сочинен сценарий, который отвечал двум важнейшим условиям: он не просто учитывал патологическую мнительность вождя, но и давил на самую-самую болевую точку (трагическая гибель жены, взаимоотношения с родом Аллилуевых и близких к ним людей); он был необычайно

[1] Этот эпизод требует уточнения. Секретарем Жемчужиной, в ту пору начальника главного управления текстильно-галантерейной промышленности Министерства легкой промышленности СССР, был не мужчина, а женщина (Мельник-Соколинская): ее арестовали вместе с шефом. Обе категорически отказались признать себя виновными в шпионаже, хотя никуда не могли уйти от бесспорного факта — пропажи секретных документов, что представляло собой самостоятельный состав преступления. Нет сомнения в том, что эти документы были похищены абакумовскими сотрудниками. Однако Сталину было нужно обвинить Жемчужину не в потере бдительности, а в том, что она продалась сионистам: удар не только по ней, но и по «самому близкому соратнику». Чтобы сломить ее волю, явно не без указания вождя, абакумовцы выбили из двух арестованных сотрудников министерства «признание», что они участвовали в «групповом сексе» с пожилой большевичкой. Так что, скорее всего, не партийная дисциплина, а это дикое оскорбление парализовало ее волю к сопротивлению. Поэтому вряд ли «адюльтер» обсуждался при рассмотрении персонального дела коммуниста Жемчужиной: оно предшествовало аресту и следствию, и этого эпизода тогда еще не существовало.

прост, предельно доступен для восприятия и, главное, отличался известной логичностью, если считать логикой умение подогнать друг к другу сочиненные больным воображением «факты». Убогая примитивность этого сценария и была его главным достоинством. Построен он был на одной ведущей «теме»: для того, чтобы выведать (зачем?) тайны личной жизни товарища Сталина, использовали через посредство международного сионизма еврейских жен видных советских деятелей или тех из евреев, кто каким-то образом еще уцелел на крупных постах.

Эта схема показалась настолько правдоподобной, что сразу же встретила понимание. Маховик стал раскручиваться с неслыханной быстротой. Арестовали Брониславу Соломоновну Поскребышеву — жену одного из ближайших к Сталину людей, Александра Поскребышева. Арестовали Эсфирь Хрулеву, в девичестве Горелик, жену генерала армии Андрея Хрулева, который в годы войны был командующим тылом и сыграл важнейшую роль в обеспечении победы. Арестовали генерал-майора авиации Георгия Угера, заместителя председателя Комитета по радарной технике, который возглавлял Маленков. Арестовали члена-корреспондента Академии наук СССР, известного экономиста Ревекку Левину. Список этот можно продолжить.

Каждому можно было «вменить» какую угодно измену, особенно двум последним (выдавали врагу военные тайны или секреты советской экономики). Но им вменили все то же: информация сионистов, а через них — американских спецслужб о личной жизни неназванного по имени главы советского правительства. Оказалось, что все они если и не прямо, то через чье-то посредство «имеют выход» на членов семьи Аллилуевых: генерал Угер волею обстоятельств, рассказ о которых увел бы нас слишком в сторону, жил в одной квартире с Евгенией Аллилуевой; под началом Левиной в Институте экономики Академии наук работал упомянутый выше Исаак Гольдштейн, который знал Е. Аллилуеву по работе в Берлине еще в двадцатые годы; Хрулева познакомилась с ней в эвакуации во время войны. И так далее, и так далее. Все оказались повязанными единой цепочкой. А ниточка от нее через

9*

Лидию Шатуновскую вела к Михоэлсу. И от него — ко всему ЕАК в полном составе...

Лишь одна «недостойная» жена (впрочем, может быть, и не одна, ведь их списков не существует) счастливо избежала общей участи, хотя и была — через посредство членов ЕАК — «связана с мировым сионизмом»: Роза Пересыпкина, жена маршала войск связи Ивана Пересыпкина. Именно в их загородном доме на Николиной Горе, среди знаменитых генералов, встречали новый, сорок девятый год их друзья Перец и Эстер Маркиши. За несколько дней до этого были арестованы поэт Ицик Фефер (в своей квартире) и артист, ставший после гибели Михоэлса художественным руководителем Еврейского театра, Вениамин Зускин (в больничной палате). С начала января аресты пошли лавиной — по нескольку человек ежедневно. Не только в Москве: Киев, Одесса, Минск... Одного из кандидатов в арестанты, русского поэта Михаила Голодного (Эпштейна), песни которого о красном командире Щорсе и матросе Железняке пользовались тогда огромной популярностью, постигла участь Михоэлса: средь бела дня его задавили автомашиной на московской улице. Остальные попали на Лубянку в январе — феврале сорок девятого. 26 января взяли «главного» — Соломона Лозовского. Имя Михоэлса замелькало во всех протоколах: «враг народа», «американский шпион», «агент сионизма»...

Тот факт, что к этому времени наверху уже было принято не какое-то частное решение, относящееся к одному «делу», пусть и масштабному, а разработан план сталинского (видоизмененного гитлеровского) решения «еврейского вопроса», подтверждается начавшейся одновременно с массовыми арестами шумной пропагандистской кампанией против так называемого «безродного космополитизма». Ей дала ход редакционная статья «Правды» под названием «Об одной антипартийной группе театральных критиков». Статья была опубликована 2 февраля 1949 г. — сразу же вслед за арестом Маркиша, Бергельсона, Квитко. Никто не знает и вряд ли узнает, почему Сталину пришла в голову мысль начать именно с театральных критиков. А почему под конец жизни он стал вдруг теоретиком языкознания? В любом случае и театральные критики,

и языковеды служили лишь поводом для «обобщений», для далеко идущих выводов с самыми крутыми последствиями. Критики оказались подходящей мишенью, ибо среди них было, действительно, много людей **определенной** (или, как тогда говорили, **соответствующей)** национальности. Если критик писал под псевдонимом, сообщалась в скобках его подлинная фамилия, чтобы ни у кого не осталось ни малейших сомнений, о ком и о чем идет речь.

Это была тщательно продуманная и хорошо организованная психологическая обработка населения перед грядущими катаклизмами, которые предначертал обезумевший диктатор. Ее не просто охотно, а с наслаждением осуществляли бездари и графоманы, обрадованные возможностью свести счеты со своими «гонителями» и опьяненные открывавшейся перед ними перспективой. Чтобы не повторять хорошо известное (об этом уже немало написано), процитирую полностью лишь одно сочинение — отклик на клич, прозвучавший со страниц сталинской «Правды». Лучше всяких пересказов оно введет нас в ту атмосферу, которая царила тогда на «культурном фронте».

Речь идет о поэме Сергея Васильева «Без кого на Руси жить хорошо». Она была публично прочитана автором на одном из собраний в Союзе писателей и подготовлена к печати в журнале «Крокодил». Однако публикация была отложена по внешнеполитическим причинам до того момента, когда начнутся события, о которых будет сказано ниже. Но «крокодильская» верстка чудом уцелела. Она сохранилась у мужественного борца за национальное равноправие, писателя Григория Свирского, который опубликовал ее в практически недоступной советскому читателю книге «Заложники», изданной крохотным тиражом в Париже в 1974 году. Оттуда я ее и заимствовал.

В каком году — рассчитывай,
в какой Земле — угадывай,
на столбовой дороженьке
советской нашей критики
сошлись и зазлословили
двенадцать злобных лбов.
Двенадцать кровно связанных,
Нахальницкой губернии,

уезда Клеветничьего,
Пустобезродной волости,
из смежных деревень:
Бесстыжева, Облыжева,
Дубинкина, Корзинкина,
Недоучёнка тож.
Сошлися — и заспорили:
где лучше приспособиться,
чтоб легче было пакостить,
сподручней клеветать?
Куда пойти с отравою
всей дружною оравою —
в кино, в театр, в поэзию,
иль в прозу напрямик?
Кому доверить первенство,
чтоб мог он всем командовать,
кому заглавным быть?
Один сказал; — Юзовскому!
— А может, Борщаговскому? —
второй его подсек.
— А может Плотке-Данину? —
сказали Хольцман с Блейманом.
— Он, правда, молод, Данин-то,
но в темном деле — хват!
Субоцкий тут натужился
и молвил, в землю глядучи:
— Ни Данину, ни Левину,
ни Якову Варшавскому
я первенства не дам!
Хочу я сам командовать
такою шайкой-лейкою,
хочу быть главным сам!
— Ужо, куда отважился! —
вскричал Малюгин яростно, —
Не быть тебе начальником,
ни в жизнь не допущу!
— А ты молчал бы, выродок! —
Малюгину вдруг Трауберг,
как ножик под ребро.
— Уж лучше Бояджиева
иль Оттена бывалого
заглавным посадить!
Нашелся, тоже, выскочка,
ублюдок, прости господи,
тьфу, пакость, драмодел!

Космополит, он смолоду,
как старый бык: втемяшится
в башку какая блажь —
колом ее оттудова
не выбьешь: упираются,
всяк на своем стоит!
Такой скандал затеяли,

что думают прохожие,
советские читатели:
чай, клад космополитики
тут делят меж собой?
Идут и чертыхаются,
цитатами бодаются,
что дале, то сильней.
За спором не заметили,
как село солнце красное,
как дверь гостеприимная
открылась в ВТО,
как в «Литгазете», в «Знамени»
и в «Новом мире» в сумерках
заснули сторожа.
— Давай сюда! — с оглядкою
друг другу шепчут странники, —
скорей, скорей сюда!
Кто на чердак ударился,
по дымоходу снизился,
кто в дырочку, кто в щелочку,
кто по трубе в окно.
Кто по верху вскарабкался,
кто внутрь прорвался по низу,
кто проскользнул ужом.
— Потом! — решили странники, —
потом старшого выберем,
не время тут артачиться,
кто будет главным значиться,
доспорим опосля!

Как порешили странники,
охальники-бездомники,
так сей же час и сделали:
один проник в кино,
один на шею прозы сел,
другой прижал поэзию,
а остальные спрятались
в хоромах ВТО.
И зачали, и почали
чинить дела по своему,
по-своему, по-вражьему,
народа супротив.
Юродствовать, юзовствовать,
лукавить-ненавистничать,
врагам заморским наруку,
друзьям Руси на зло.
У каждого начальника
по пять лихих сподручников,
по восемь заместителей,
по десять холуев.
Один бежит за водкою,
Второй мчит за селедкою,
а третий, как ужаленный,

летит за чесноком.
За дегтем двое посланы,
за сажей трое выгнаны,
а четверо с ведерками —
за серной кислотой.
— Зачем нам проза ясная?
— Зачем стихи понятные?
— Зачем нам пьесы новые,
спектакли злободневные
на тему о труде?
— Подай Луи Селина нам,
подай нам Джойса, Киплинга,
подай сюда Ахматову,
подай Пастернака!
— Поменьше смысла здравого,
а больше от лукавого,
взамен двух тонн свежатины
сто пять пудов тухлятины
и столько же гнильцы.
Один удар по Пырьеву,
другой удар по Сурову,
два раза по Недогонову,
щелчок по Кумачу.
Бомбежка по Софронову,
долбежка по Ажаеву,
по Грибачеву очередь,
по Бубеннову залп!
По Казьмину, Захарову,
по Семушкину Тихону,
пристрелка по Вирте.
Статьи строчат погромные,
проводят сходки темные,
зловредные отравные
рецензии пекут.
Жиреют припеваючи,
друг другом не нахвалятся:
— Вот это мы! Молодчики!
Какие гонорарищи
друг другу выдаем!
Спешат во тьме с рогатками,
с дубинками, с закладками,
с трезубцами, с трегубцами,
в науку, в философию,
на радио, и в живопись,
и в технику, и в спорт.
Гуревич за Сутыриным,
Бернштейн за Финкельштейном,
Черняк за Гоффенштефером,
Б. Кедров за Селектором,
М. Гельфанд за Б. Руниным,
за Хольцманом Мунблит.
Такой бедлам устроили,
так нагло распоясались,

вольготно этак зажили,
что зарвались вконец.
Плюясь, кичась, юродствуя,
открыто издеваяся
над Пушкиным самим,
за гвалтом, за бесстыдною,
позорной, вредоносною,
мышиною возней
иуды-зубоскальники
в горячке не заметили,
как взял их крепко за ухо
своей рукой могучею
советский наш народ!
Взял за ухо, за шиворот,
за руки загребущие,
за бельма завидущие —
да гневом осветил!

* * *

В каком году — рассчитывай,
в какой земле — угадывай,
на столбовой дороженьке
советской нашей критики
вдруг сделалось светло.
Вдруг легче задышалося,
вдруг радостней запелося,
вдруг пуще захотелося
работать во весь дух,
работать по-хорошему,
по-русски, по-стахановски,
по-пушкински, по-репински,
по-ленински, по-сталински,
без устали, с огнем.
Писать, душою радуясь,
творить, сил не жалеючи, —
и все во имя Родины,
во имя близкой, завтрашней
зари коммунистической,
во нмя правды утренней,
во имя красоты.

Эта «поэма», которая ни в косм случае не должна остаться в забвении, несколько опередила время, что свидетельствует не столько о тонком авторском предчувствии, сколько о хорошей осведомленности поэта. К моменту ее создания **светло** еще не сделалось, наступила лишь пора чуть забрезжившего **рассвета,** что и побудило отложить публикацию до лучших времен, когда мажорный финал этого бессмертного творения окажется в полном соответствии с реалиями жизни.

Пока же за плотными засовами лубянских кабинетов и тюрем шла спешная к этому подготовка.

Листая повергающие в отчаяние страшные архивные дела, я тщетно пытаюсь понять хоть какую-то закономерность, хоть какую-то логику, по которой одних готовили к большому процессу и растянули «следствие» на три года, а других — с теми же формулировками, с теми же «связями», словом, всё один к одному — без каких-либо проволочек отправляли в Военную коллегию или «пропускали» через Особое совещание (заочная «тройка») и чаще всего пускали в расход. Чаще всего, но не всегда.

Лозовский, Маркиш, Фефер и другие еще оставались подследственными, ждали суда и приговора, а за «связь» с ними — «изменниками», «шпионами», «предателями» и прочее (именно эти формулировки содержатся в документах) были отправлены в лагеря или прямо на тот свет десятки людей. Вот всего лишь несколько примеров. Наум Левин, главный редактор ЕАК, приговорен к расстрелу 22 ноября 1950 г. как «один из активных участников еврейского националистического подполья (?! — *А.В.*) в СССР... Вместе с врагами советской власти Михоэлсом, Фефером и другими сообщниками, под прикрытием ЕАК, проводил шпионскую и националистическую работу (что это значит? — *А.В.*) против Советского государства». Арестованный 18 января 1949 г. писатель Самуил Персов расстрелян 23 ноября 1950 г. (на следующий день после вынесения приговора) «за связь с Лозовским, Михоэлсом и Фефером». С той же формулировкой поэт и драматург Самуил Галкин 25 января 1950 года получил от Особого совещания всего-навсего десять лет. Другой писатель — Самуил Гордон (в наивной надежде укрыться от бури он устроился было бухгалтером Измайловского парка культуры и отдыха имени товарища Сталина, но славные ученики этого товарища отловили его и там) — за «передачу шпионских сведений (не о работе ли аттракционов в парке культуры? — *А.В.*) Феферу и Бергельсону» 21 июля 1951 года получил в подарок от Особого совещания пятнадцать лет лагерей. В тот же день, что Н. Левин и С. Персов, осуждена к расстрелу «за преступную связь с Фефером, Квитко и Галкиным» журналистка Мариам Айзенш-

тадт (Железнова), а двумя днями позже — к 25 годам лагерей заместитель начальника отдела Управления по награждениям и присвоению воинских званий Министерства вооруженных сил СССР Арон Токарь — «за связь с М. С. Айзенштадт (Железновой), а через нее с врагами народа Фефером и Квитко...» Но суд над теми, кто назван врагами народа, состоялся лишь два года спустя. Кто, однако, принимал тогда в расчет эти юридические «формальности»? По свидетельству Лидии Шатуновской, полковник Владимир Комаров так ей прямо и сказал на допросе: «Вот вы умная женщина, а политики наших органов не понимаете. Вы говорите о том, что вы только подследственная, но еще не осужденная. Поймите, что для нас этого различия не существует. Все виновны».

По двадцать лет лагерей получили Л. Шатуновская и ее муж Л. Тумерман, соответственно десять и пять Евгения и Анна Аллилуевы[1], а «следствие по делу ЕАК» все продолжалось. Формальным его началом считается арест 28 декабря 1947 г. сотрудника комитета Захара Гринберга, имя которого после зверских пыток назвал И. Гольдштейн. В июне 1953 г., когда произошел крутой поворот и садист В. Комаров сам оказался в тюрьме, он собственноручно дал такие показания: «...Абакумов... заявил, что... Гольдштейн интересовался личной жизнью руководителя Советского правительства и его семьи не по собственной инициативе и что за его спиной стоит иностранная разведка. Никаких материалов на этот счет у нас не было, тем не менее Гольдштейна стали допра-

[1] А. С. Аллилуева была арестована 30 января 1948 г. и осуждена Особым совещанием уже 29 мая того же года — в тот же день, что и ее сестра Е. С. Аллилуева. Когда до истечения определенного ей срока оставался всего месяц, 27 декабря 1952 г. то же Особое совещание без всякой мотивировки по чьему-то (легко догадаться!) указанию увеличило Анне Сергеевне срок вдвое — до десяти лет «за распространение клеветнических измышлений о Главе Советского Правительства». Пожалуй, эти три пышных заглавных буквы в «судебном» документе говорят сами за себя. Что касается дочери Евгении Сергеевны Киры Павловны, то и она была осуждена в тот же день на 5 лет ссылки, которую отбывала в Ивановской области. Ей вменено «снабжение информацией о личной жизни семьи лиц, работавших в американском посольстве». Все они реабилитированы в 1954 г. с поразительной формулировкой: «по указанию правительственной инстанции».

шивать в этом направлении. Вначале он не признавал такого обвинения, но после того, как по указанию Абакумова его побили, Гольдштейн дал показания... Абакумов... заявил... что показания Гольдштейна он держать не может и обязан о них доложить в инстанцию... В результате непроверенных показаний Гольдштейна, полученных в результате его избиения, был арестован Гринберг, показания которого послужили началом известному делу Еврейского антифашистского комитета».

З. Г. Гринберг подвергся спачала не пыткам, а льстивому шантажу. Коллега Комарова по преступному ремеслу полковник Лихачев пообещал ему немедленное освобождение за нужные показания. Их он вскоре получил, но выполнять свое обещание, разумеется, не собирался. «Следователи» просто-напросто перестали с Гринбергом встречаться. Он взывал к Лихачеву умоляющими и очень сдержанными письмами. «Четыре месяца тому назад, — писал он Лихачеву 19 апреля 1949 г., — Вы официально объявили мне, что дело мое прекращено и что я должен быть скоро освобожден, но, к сожалению, вышло не так. 16 месяцев я в заключении, а сил все меньше и меньше...» 22 декабря 1949 г., так и не дождавшись ни обещанного освобождения, ни приговора, Гринберг умер от инфаркта во Внутренней тюрьме.

Не дождался приговора и другой арестант, обвиненный в преступной связи с неосужденными еще «шпионами»: известный литературовед, профессор Исаак Нусинов, которого четырьмя годами раньше Николай Тихонов обозвал в газете «беспачпортным бродягой» — только за то, что в своей книге о Пушкине тот посмел утверждать, что у русского национального гения были предшественники на Западе. 31 октября 1950 г. тюремные врачи констатировали его смерть «от паралича сердца». Но тот факт, что это произошло в Лефортове, позволяет усомниться в правильности диагноза. И верно: архивные материалы содержат (с грифом «совершенно секретно») справку о результатах вскрытия. (Поразительно, что таковое имело место. Обычно это запрещалось, так как неизбежно выдавало истинные причины смерти.) Там сказано, что И. М. Нусинов умер «от опухоли твердой мозговой оболочки головного

мозга». Не надо быть специалистом, чтобы понять: профессора били палкой по голове.

Внимательно вчитываясь в архивные материалы и сопоставляя даты, приходишь к выводу: как бы ни были сфальсифицированы содержащиеся там документы, они все же проливают некоторый свет на тайны кремлевского двора. Так называемое «следствие» по делу ЕАК было закончено уже к концу марта 1950 г. (например, в деле подследственного номер один — Соломона Лозовского — есть даже точная дата: оно закончено 24 марта).

До сих пор мы неизбежно рассматривали дело ЕАК, или, если точнее, дела его руководителей, членов, сотрудников и всех, кто попал в орбиту внимания вездесущей Лубянки, — до сих пор мы рассматривали их как бы сами по себе, вне связи с тем, что происходило в Кремле. Для каждого, кто причастен к тому или иному делу, это закономерно. Но вождь мыслил шире и глубже. Все эти мелкие, ничтожные даже — для его орлиного взора — дела виделись им в контексте общего грандиозного замысла, постепенно зревшего в его воспаленном мозгу.

Патологическая мнительность Отца Народов повелевала ему повсюду видеть заговоры и интриги. Дело явно шло к новым грандиозным политическим процессам, где первую скрипку должен был играть попавший в опалу Молотов. Не случайно же ставший Сталину известным невиннейший факт — предоставление Молотову отдельного вагона при командировке в США для поездки из Нью-Йорка в Вашингтон — вызвал его болезненную реакцию, укрепив еще больше в своих подозрениях. Возможно, американцы сделали это, чтобы проявить внимание к посланцу Москвы, где, как им было отлично известно, вожди не ездят с простолюдинами в общем вагоне. Возможно, так им легче было прослушивать разговоры гостя с его командой. Но уж, во всяком случае, это никак не означало, что Молотов продался ЦРУ: вряд ли хоть одна разведка мира станет столь дешевым способом разоблачать своих агентов. Сталин же, получив соответствующую развединформацию, раздул ее в грандиозное дело. Он специальной шифровкой запросил заседавшего в ООН Вышинского, действительно ли такой факт имел ме-

сто. И, получив подтверждение, сделал выводы. На будущей скамье подсудимых места рядом с Молотовым должны были занять Микоян и Ворошилов, а может быть, кто-то еще. Отстраненный от руководства МГБ, Берия чувствовал себя весьма неуверенно. Хорошо все это знавший Абакумов блистательно играл на слабых струнках вождя. Имея в своем «активе» деятелей такого размаха, как Лозовский и руководители ЕАК, не следовало в новых условиях так скоропалительно и так неразумно расставаться с ними. Законченное было следствие возобновилось. Причина: «дополнительно получены материалы о вражеской деятельности Лозовского и других арестованных».

Ничего еще **получено** не было. Но могли они «получить» все, что угодно. Все, что потребует партия в лице ее Вождя и Учителя.

По моим подсчетам, в расследовании дела ЕАК прямое, непосредственное участие приняли как минимум 39 человек, но я абсолютно убежден, что их было гораздо больше. Мне хочется назвать их всех, хотя большого практического значения это не имеет, поскольку (не раз уже приходилось о том писать), по не совсем ясной для меня причине, их имена и даже инициалы ни в одном документе не проставлялись, что весьма затрудняет идентификацию большинства из них. Все же перечислю (в тех случаях, когда они мне известны, указываю имена): старший лейтенант Стругов, капитаны Демин, Жирухин, Марчуков, Меркулов, Ошкадеров, Родин, Смелов, Хребтатий, майоры Бурдин, Василий Зайцев, Лисицкий, Метеленко, Погребной, подполковники Артемов, Алексей Герасимов, Павел Гришаев, Каждан, Коняхин, Кузьмишин, Иван Лебедев, Макаров, Носов, Путинцев, Анатолий Рассыпнинский, Смоляков, Евгений Цветаев, Швец, Шишков, полковники Комаров, Лихачев, Романов, Рюмин, Сорокин, Холев, генерал-майоры Леонов и Питовранов, а также начальник секретариата Особого совещания при МВД СССР Иванов и офицер Жигалов, чье воинское звание мне установить не удалось. Повторяю, их наверняка было гораздо больше, я выписал лишь те фамилии, которые содержатся в доступных мне архивных документах.

Возглавлял следственную бригаду помощник начальника следственной части по особо важным делам подполковник госбезопасности Павел Иванович Гришаев. Он был самым юным из той удалой команды: ему исполнилось тогда всего тридцать лет. Карьера, на которую иным требовались годы и годы, он одолел буквально одним прыжком.

О работе в «органах» не помышлял, учился в техническом вузе. Но тут объявили «бериевский призыв» — чекистские ряды поредели, нужны были новые кадры. Так голубоглазый студент стал постовым у Боровицких ворот Кремля. Не раз, открывая для проверки дверцу машины, видел вождя и его верных соратников. Отдавал честь... На том же посту (это он сам мне рассказывал) стоял в печально знаменитую «паническую неделю» — между 15 и 22 октября 1941 г., когда передовые отряды фашистской пехоты уже разглядывали в бинокль дома на окраинах Москвы. Видел вереницы людей, тянувшихся со своим скарбом к вокзалам в надежде протиснуться в уходящие на восток эшелоны. Потом получил пулемет, установленный на Боровицкой башне: Кремль готовился к обороне.

— Как только в Москве было снято осадное положение, — рассказывал мне П. И. Гришаев, — отпустили на фронт. К тому времени я уже сумел окончить Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ): после эвакуации института одна студенческая группа все же осталась, вот так я и сдал госэкзамены. Что делал на фронте? В основном допрашивал пленных: ведь я знаю четыре языка — немецкий, английский, французский, испанский... Так сложилась жизнь.

Сложилась она неплохо: в 27 лет дипломированный юрист с четырьмя языками — молодой парень из дальней мордовской деревни — попадает в следственную группу советской части обвинения Международного нюрнбергского трибунала, допрашивает гросс-адмирала Редера и нацистского идеолога Фриче, ходит «под ручку» (так он сам мне поведал) с Вышинским, прибывшим в Нюрнберг с инспекционным визитом. А потом — сразу, вдруг! — невероятный, немыслимый взлет: один из ближайших помощников всесильного замминистра... И — попутно — аспирант родного ВЮЗИ...

Рассказывают, что он умудрялся конспектировать научные монографии и даже писать свои рефераты во время многочасовых допросов, давая тем самым — истинный гуманист! — передышку измученным подследственным. Еще более споро шла научная работа, когда подчиненные (воспользуемся штампованным эвфемизмом) «применяли к арестованным незаконные методы ведения следствия», а он сидел рядом, тут же, в том же самом кабинете, и, вместо того чтобы активно руководить, активно сочинял научные трактаты. Возможно, и тогда, когда допрашивал Анну Сергеевну Аллилуеву?

Аллилуевых, их родных и друзей вырезали под корень, но иные все же вернулись живыми. Вернулись — и предъявили моральный счет тем эрудитам и полиглотам, которые были причастны к крушению их судеб. Вести трудный поиск им не пришлось — одна из «клана Аллилуевых», Марьяна Зайцева, нашла своего мучителя все в том же ВЮЗИ: кандидат, доцент, уволенный, правда, из «органов» еще осенью 53-го по случаю «служебного несоответствия». Обратилась в горком — написала о своих злоключениях. Коллеги-партийцы отнеслись строго к бывшему подполковнику, исключили его из партии, зато горком проявил милосердие, учел, что, в отличие от его сотоварищей, к уголовной ответственности Гришаева все же не привлекли, значит, он не так уж виновен — словом, изгнание заменили спасительным «строгачом».

Подвергшийся взысканию ученый искупал вину упорным трудом. Не щадя сил работал на кафедре — читал лекции, давал консультации, принимал экзамены у сотен и тысяч студентов, которые ныне пашут на юридической ниве во всех уголках страны. Писал книги, из них особенно впечатляет одна — называется «Репрессия в странах капитала». Выговор сняли. Он обрел второе дыхание, защитил еще одну диссертацию — стал доктором и профессором. Получил высокое звание заслуженного деятеля науки: среди юристов оно почти не встречается — присвоено единицам, на пальцах пересчитать. И никто больше не бередил его старые раны: такое уж было время.

Предвестием грозы явилась публикация в «Известиях»: Юрий Феофанов опубликовал заметки с плену-

ма Верхсуда СССР: «Судьба под № 117...». Речь там идет о трагической судьбе Героя Советского Союза С. С. Щирова, чью жену насильно сделал своей любовницей сам Берия. Это надругательство привело Щирова на грань отчаяния, натолкнуло на безумный и дерзкий поступок (он пытался нелегально перейти турецкую границу). Заведомо обрекая себя на муки, он оказался в руках костоломов. Их фамилии перечислены в очерке — как и везде, без инициалов. Среди перечисленных есть и Гришаев.

Фамилия довольно распространенная, в глаза не бросается. Но коллеги — что-то помнившие, что-то знавшие — насторожились. А тут как раз аттестация: можно задать вопрос. Задали: не он ли?.. «Я в Ереван не ездил» — таким был ответ. (Автор очерка сообщает, что майор госбезопасности Гришаев вел в апреле 1949 года допрос Щирова в Ереване — по месту совершения «преступления».) Пойди проверь: ездил или не ездил? Но в 1949 году майором госбезопасности был. Может, однофамилец?

Опять ничем не кончилась эта «акция». Разве что с иными членами кафедры заслуженный деятель перестал разговаривать, а в остальном перемен никаких. Благополучно прошел аттестацию. О «деле ЕАК» и о роли в ней профессора-доктора все еще мало кто знал.

— ...Павел Иванович, вы последний (во всяком случае, один из немногих), кто мог бы рассказать сегодня о том, как вел себя на следствии Маркиш...

— Не помню.

— Зускин, Лозовский...

— Не помню.

— Штерн...

— Видел мельком, только однажды... Я вообще был подключен в последний момент. Следствие шло без меня. Ничего не знаю.

— Из материалов проверки известно, что вы скрыли от суда важнейший документ, полностью опровергавший все обвинения, — официальную справку: те, кому арестованные передавали «шпионскую информацию», были не агентами ЦРУ, а друзьями нашей страны. Шпионаж, стало быть, отпадал. И это было ясно уже тогда...

— Не помню...

— В деле сказано, что вы руководили следственной бригадой и в этом качестве подписали обвинительное заключение. Вы, а не кто-то другой.

— Не помню.

— Каких свидетелей обвинения вы допрашивали?

— Поэта Александра Безыменского[1]... Впрочем, не помню.

— Вы, руководя следственной бригадой по делу ЕАК, назначили литературную экспертизу. Кто подбирал экспертов — вы сами или «персоналии» вам спустили сверху? По какому принципу, например, вошел в экспертную комиссию критик Семен Владимирович Евгенов, отыскавший «национализм» и «контрреволюцию» в произведениях виднейших писателей?

— Не помню.

— В определении военной коллегии Верхсуда от 22 ноября 1955 года сказано: «Бывшие работники следственной части по особо важным делам МГБ СССР Рюмин, Комаров, Лихачев, Гришаев, Кузьмин и другие подтвердили, что к арестованным по данному делу применялись незаконные методы ведения следствия».

— Совесть свою я не марал. Она у меня чиста.

Он помнил все до мельчайших деталей: как стоял на посту, с кем встречался в тылу и на фронте, что делал потом, в Нюрнберге, как учился и как учил. Но стоило только добраться до службы в «следственной части», память тут же ему изменяла: решительно и безвозвратно. Впрочем, в очерке «Палачи» об этом феномене рассказано уже довольно подробно, так что случай с Гришаевым не является уникальным.

Совсем недавно удалось отыскать еще одного юриста, прямо причастного к делу ЕАК. Подполковник юстиции, военный прокурор Николай Лаврентьевич Кожура сначала подписался под тем, что дело расследовано правильно, никаких нарушений нет, — это было в 1952 году, а потом — что имеются грубые нарушения закона и оно должно быть пересмотрено, —

[1] Любопытно: именно этому свидетелю обвинения было поручено официально объявить в конце января 1949 г. о закрытии «еврейской секции» Союза писателей СССР, хотя сам он никогда не был еврейским писателем, числившись «вечным» комсомольским поэтом, автором популярной в двадцатые годы песни «Молодая гвардия» и других песен.

это было уже в 1955-м. Вот уж кто высветит все мрачные закоулки этой кровавой мистерии! Увы... «Ничего не помню! — сказал подполковник по телефону, решительно отказавшись от встречи. — Дело ЕАК? Вроде было такое... Но точно сказать не могу».— «Как, совсем ничего не запомнилось?» — «Ничего абсолютно! Только знайте: моя совесть чиста».

Интересно, сколько таких «непомнящих» удастся еще разыскать? И сколько — затаившихся и скрытых архивной пылью — никогда не удастся? Какой смысл они вкладывают в слово «совесть»? Каким содержанием его наполняют? «Я сейчас и я тогда, — заметил Гришаев, — это разные люди. Человек не стоит на месте, он развивается. Наверное, у нас с вами сегодня нет различий во взглядах».

Очень возможно. Но одно обстоятельство мешает мне в это поверить: за все прошедшие годы — за 35 лет! — ни разу (ни разу!) не сделал профессор попытки очиститься. Не покаянием (это вещь глубоко интимная), а рассказом хотя бы — о том, что известно только ему. Жестким и неуклончивым. Ведь мемуары эти бесценны. Если только честны. Но, увы, профессор предпочитает не помнить. Напротив — забыть. Ему тяжело? Да, несомненно, но не от того, что содеяно,— от того, что всплыло наружу.

Что же осталось у них позади, если никто, буквально никто так и не захотел сбросить с себя груз воспоминаний? Значит, не тянет, не давит. Ушли, ничего не поведав миру, Молотов и Маленков, Ворошилов и Суслов, Андреев и Каганович, Булганин и Шверник. Дожили свой век и не разомкнули уста тысячи палачей — больших, средних и малых. Да если бы и разомкнули... Что, кроме лжи, мы смогли бы услышать?

Заслуженный деятель, доктор, профессор... Неисповедимы пути господни, поразительны зигзаги судьбы. Правовед, уж он-то доподлинно знает, что больше ему ничего не грозит. Ни в суде, ни в райкоме. Какая же сила заставляет сейчас, на склоне лет, пред лицом неизбежного держать в себе эту страшную бездну? За что-то цепляться... Ждать и надеяться: вдруг опять пронесет?! Какую клятву, данную дьяволу, он так свято блюдет? Кого продолжает бояться?

Нет, никого он не боится. Уже после того, как в

очерке «Заслуженный деятель» («Литературная газета» от 15 марта 1989 г.) я рассказал о его поразительной биографии, профессор предпочел подобру-поздорову перейти на жизнь пенсионера, но отнюдь не раскаяться и не счесть себя побежденным. Он печатно потребовал лавров (именно лавров!), напомнив о том, что причастен к символу справедливости — суду над фашизмом в Нюрнберге. Несомненно, причастен, но и Вышинский «причастен», и Абакумов, и Меркулов, и Кобулов, и Лихачев. С какой стороны причастны? Задача этих участников состояла отнюдь не в обнажении истины, в ее сокрытии. Той, которая была невыгодна политически. Могла привести к раскрытию таких тайн, как, к примеру, секретные протоколы пакта Молотова—Риббентропа.

По наивности я думал, что человек, десятилетия утаивавший даже от самых близких свою роль в беззаконии и терроре, если и не выразит сожаление о позорном прошлом, то будет хотя бы помалкивать и постарается, чтобы о нем самом в этом прошлом как можно скорее забыли: вот уж, право, кому сейчас не до славы! Я ошибся...

Кто спорит: человек меняется, прозревает, новые общественные условия позволяют ему иными глазами увидеть и себя самого, и пройденный путь. В принципе это бесспорно. Но какими же **иными** глазами смотрит сейчас на себя ближайший соратник сначала Абакумова, а потом его заклятого врага Рюмина — один из немногих, если не единственный, доживший до наших дней и способный, казалось бы, порвать с прошлым **честным** рассказом о нем? Теперь уже ясно, что такого рассказа мы не дождемся. Ничего не забыли эти люди, ни от чего не отреклись. Их поразительная верность отцу народов и «подписке о неразглашении», которую они давали преступному ведомству, заставляет думать отнюдь не о фанатичной преданности режиму, а о ложности расхожего мнения насчет извинительной «слепой веры» заблудших овец: нет уж, извините, налицо вовсе не ослепление, а сознательное соучастие в тех кошмарных деяниях, готовность и сегодня их обелить, стимулированная доступной любому (юристу тем более) простенькой мыслью: давность-то давно истекла, ни к какому ответу их призвать уже невозможно!

Что же все-таки притормозило расправу с «группой» Лозовского? Почему громкое дело, запланированное на середину пятидесятого года, отодвинулось на двадцать четыре месяца и оказалось совсем не громким? Страшным, трагическим, но не публичным, а тайным...

Причин много. Выделим три из них. Сначала о первой.

Внимание Лубянки, но главное, самого Сталина целиком переключилось на более грандиозное и куда больше пугавшее Хозяина так называемое «ленинградское дело». В июле сорок девятого был арестован Яков Капустин[1], в августе Алексей Кузнецов[2], Петр Лазутин[3], Петр Попков[4], Михаил Родионов[5], Николай Соловьев[6], в сентябре — Николай Вознесенский[7] и другие партийные деятели высокого ранга. Раздувавшийся Абакумовым «кремлевский заговор» приковал к себе куда большее внимание вождя, чем происки каких-то сионистов, устремивших свой взор на Крым. С аллилуевцами расправились поодиночке, а злополучный ЕАК ждал своей очереди. Имена большинства следователей, занимавшихся его деятелями, мы най-

[1] Яков Федорович Капустии — второй секретарь Леиииградского горкома партии. С его ареста иачалось все «дело». Абакумов доложил Сталииу, что Капустии английский шпиои. В тридцатые годы ои стажировался в Англии как иачииающий инжеиер и уже тогда, по возвращении, обвиииялся в шпиоиаже, ио чудом спасся.

[2] Алексей Александрович Кузиецов — секретарь ЦК КПСС. Во время блокады одии из оргаиизаторов защиты города. По упорно распростраиявшимся слухам иамечался Сталииым в его «иаследники» по партийиой линии.

[3] Петр Григорьевич Лазутии — председатель исполкома Леисовета.

[4] Петр Сергеевич Попков — первый секретарь леииииградских обкома и горкома партии, члеи президиума Верховиого Совета СССР. Как и А. А. Кузиецов, один из оргаиизаторов обороиы города во время лениииградской блокады.

[5] Михаил Иваиович Родиоиов — председатель Совета Миииистров РСФСР.

[6] Николай Васильевич Соловьев — в момеит ареста первый секретарь Крымского обкома партии. В 1938—46 гг. председатель Ленинградского облисполкома, руководитель всего снабжеиия блокироваииого Леиинграда.

[7] Николай Алексеевич Возиесеиский — члеи политбюро ЦК, первый заместитель председателя Совета Министров СССР и председатель Госплаиа СССР. Академик. Предположительиый (по слухам) преемник Сталииа иа посту главы правительства.

дем в протоколах «ленинградского дела»: их перебросили на более важный объект.

В сентябре — октябре 1950 года, когда состоялись один за другим два главных процесса по этому делу, можно было вернуться к ЕАКовцам (и новое движение следствия действительно началось), но тут возникла скандальная интрига на самых-самых лубянских верхах, которая не только снова переключила внимание вождя, но и вызвала необходимость спешно менять сценарий.

Пока метастазы дела ЕАК вяло расползались во все стороны, ожидая, когда следователи, наконец, освободятся и снова дружно примутся за работу, в орбиту внимания Лубянки по доносам ее сексотов попал «активный еврейский националист», профессор 2-го московского медицинского института Яков Этингер. Поскольку впрямую с ЕАК профессор никак связан не был, ничего, кроме «антисоветских разговоров», да притом в узком кругу, доносы не содержали, арест сразу же не состоялся. Профессора взяли только в ноябре 1950 года. Абакумов сам его допрашивал, но не разглядел возможности раздуть из малой искры большое пламя. Этингера по традиционной схеме (поскольку ни в каких злодеяниях он не признался) перевели в Лефортовскую тюрьму для «обработки», где он и умер от острой сердечной недостаточности.

Эта весьма ординарная с точки зрения нравов и практики Лубянки история, была ловко использована чекистом среднего уровня — старшим следователем по особо важным делам Михаилом Рюминым, который отважился на, казалось бы, немыслимый авантюрный поступок: в личном письме Сталину он бросил вызов своему всесильному министру, утверждая, что тот потворствует террористам, вознамерившимся убить дорогого Иосифа Виссарионовича и его ближайших соратников. И что, в частности, именно этим объясняется внезапная смерть профессора Этингера, который слишком много знал о совершенных и готовящихся убийствах, а потому и был фактически ликвидирован опасавшимся каких-то раскрытий Абакумовым.

Есть разные версии по поводу того, явился ли этот донос, действительно, единоличным актом безумца, действовавшим по принципу «или пан, или пропал». Не исключено, что было именно так, но, возможно, за

Рюминым стояли какие-то силы, которые умело направляли его руку, играя на непомерном его честолюбии. К тому времени в Кремле уже шла вовсю отчаянная борьба за власть как раз между самыми ближайшими соратниками, Берия — яростный ненавистник Абакумова — был оттеснен от контроля за МГБ, необходимость пробиться к этому ключевому посту толкала на спешные и решительные ходы. Но мы не будем касаться сейчас этой самостоятельной и серьезнейшей темы, ибо она неизбежно уведет нас далеко в сторону. Здесь важно отметить, что и в Кремле, и на Лубянке произошли события, которые не могли не отразиться на ходе следствия по делу ЕАК. Уже хотя бы потому, что дело «зачинал» Абакумов, который вдруг превратился в арестанта, в государственного преступника. По невыясненным со сколько-нибудь надежной достоверностью причинам письмо Рюмина, минуя все преграды, попало к Сталину. (Это более чем странно. Если его не передал из рук в руки тот, кто был вхож прямо к Хозяину, оно должно было пройти через такой фильтр, как личный секретарь Сталина Александр Поскребышев, который сам был чекистом. Получается, что он действовал на руку Берии, зная желание Хозяина отдалить Берию от Лубянки. В итоге сам же и пострадал, изгнанный за верную службу и подвергшийся репрессиям.) Вслед за Абакумовым были арестованы его заместители Николай Селивановский и Евгений Питовранов, а также главные творцы дела ЕАК — Леонов, Комаров, Лихачев, Шварцман, причем последнему вменялось в вину то же самое, что он вменял своим недавним «клиентам»: национализм, сионизм, вражеская деятельность и прочее — весь джентльменский набор.

Совершенно ясно, что в этой обстановке задуманное теперешними арестантами дело ЕАК не могло не претерпеть каких-то изменений. Безраздельным хозяином следствия стал Рюмин, совершивший кратковременный, но молниеносный и феерический карьерный скачок. Он стал генералом, возглавил следственную часть по особо важным делам, а потом занял и кресло заместителя министра госбезопасности. Теперь дело начинает нести следы его личного, и притом весьма яркого, творческого присутствия.

Такова вторая причина задержки, из которой естественно вытекает третья, может быть, самая главная.

Стало очевидным, что ни история с Крымом, ни передача безвестным американцам каких-то якобы секретных бумаг, ни даже сбор сведений о личной жизни вождя — все эти обвинения не могли впечатлить массу. Впечатлить настолько, чтобы вызвать всенародную ярость и стать основой для «окончательного решения» все никак не решавшегося «еврейского вопроса». Такие, весьма стандартные и, в условиях эмоциональной инфляции, уже не возбуждавшие никого обвинения не могли помочь реализации задуманного замысла.

Почва в стране была подготовлена, не хватало простейшего и безотказно действующего сюжета, который без всяких усилий смог бы ошеломить и призвать патриотов к таким действиям, по сравнению с которыми всемирно известная «хрустальная ночь» в гитлеровской Германии тридцать восьмого года показалась бы детской забавой. Такой сюжет Рюмин нашел: врачи-убийцы. Его детищем, его голубой мечтой стало именно это «дело». Публичное, а не тайное — за закрытыми дверями. Дело ЕАК становилось прологом к тому, самому Главному. Первым актом двухактной кровавой трагедии.

Первый состоялся. Второй не наступил: вмешалась Божья Воля.

Суду были преданы пятнадцать человек. Список возглавлял Соломон Лозовский. За ним следовали писатели Ицик Фефер, Лев Квитко, Перец Маркиш, Давид Бергельсон, Давид Гофштейн, академик Лина Штерн, врач Борис Шимелиович, актер Вениамин Зускин, историк Иосиф Юзефович, журналист Леон Тальми, сотрудники ЕАК — редакторы и переводчики — Илья Ватенберг, Чайка Ватенберг-Островская и Эмилия Теумин. Пятнадцатый обвиняемый, заместитель министра госконтроля РСФСР Соломон Брегман перед началом процесса тяжело заболел и вскоре умер естественной смертью, если, конечно, смерть в застенке после пыток и унижений можно назвать естественной.

Дело слушала военная коллегия Верховного суда

СССР под председательством генерал-лейтенанта юстиции Чепцова, фамилия которого многократно упоминается в этой книге. С ним вместе заседали военные судьи, генерал-майоры юстиции Дмитриев и Зарянов. Ни прокурора, ни адвокатов не было: пресловутый сталинский закон от 1 декабря 1934 г. продолжал действовать. Заседания происходили в основном все на той же Лубянке — в чекистском клубе имени Дзержинского, в присутствии следователей и других сотрудников «органов». Процесс проходил с 8 мая по 18 июля 1952 года, хотя в приговоре по совершенно непонятным причинам указано, будто он длился всего неделю — с 11 по 18 июля. Кому и зачем была нужна еще и эта ложь в «совершенно секретном» документе? О том, как проходил процесс, что делалось за кулисами, кто какую роль играл, — от себя не скажу ни слова. Просто приведу полный текст письма генерала Чепцова на имя министра обороны СССР маршала Жукова, которое написано им в связи с разбирательством дела о партийной ответственности всех, повинных в фальсификациях (поэтому автор письма указал не государственный, а партийный пост Жукова). Отрывки из этого письма приведены мною в «Литературной газете» от 15 марта 1989 г. Полный текст (без какой-либо редакционной, даже технической правки и без исправления фактических ошибок) публикуется впервые.

ЧЛЕНУ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС
товарищу ЖУКОВУ Г. К.

По вашему предложению сообщаю об обстоятельствах расследования и судебного рассмотрения дела по обвинению ЛОЗОВСКОГО С. А. и других.

Вначале хочу указать на то, что в связи с ограниченным временем, данным мне, я могу не полностью осветить факты, но изложу вопрос правдиво и объективно.

В конце марта 1952 года или в начале апреля меня вызвал к себе б. министр МГБ СССР т. Игнатьев С. Д. и в присутствии быв. его заместителя Рюмина (осуж-

денного в 1954 году за фальсификацию уголовных дел) сообщил мне, что они с Рюминым докладывали дело ЛОЗОВСКОГО и др. на Политбюро ЦК КПСС, которым было принято решение о предании суду за антисоветскую деятельность ЛОЗОВСКОГО и др. и что этим же решением предложено осудить обвиняемых ЛОЗОВСКОГО, ФЕФЕРА, ЮЗЕФОВИЧА, ШИМЕЛИОВИЧА, КВИТКО, ГОФШТЕЙНА, МАРКИША, БЕРГЕЛЬСОНА, ВАТЕНБЕРГ И., ВАТЕНБЕРГ-ОСТРОВСКУЮ, ЗУСКИНА, ТАЛЬМИ и ТЕУМИН к расстрелу, а обвиняемую Лину Штерн к 3 годам высылки в отдаленные местности СССР.

Следует здесь указать, что, как теперь известно, начиная с 1935 года был установлен такой порядок, когда уголовные дела по наиболее важным политическим преступлениям руководители НКВД СССР, а затем МГБ докладывали т. Сталину или на Политбюро ЦК, где предварительно решались вопросы вины и наказания арестованных.

При этом судебных работников, которым предстояло такие дела рассматривать, предварительно до решения директивных органов с материалами дел не знакомили и на обсуждение этих вопросов в ЦК не приглашали.

При таком порядке Военная коллегия приговоры часто выносила не в соответствии с материалами, добытыми в суде. Свои сомнения по делам судьи в ЦК не докладывали, либо из-за боязни, либо исходя из доверия к непогрешимости решений т. Сталина, хотя по ряду дел судьи могли видеть, что дела в директивных органах докладывались необъективно.

Однако я должен здесь отметить, что в бытность мою на работе Председателя Военной коллегии фактически с начала 1949 года по 1956 год и по ряду дел, которые были предметом досудебного обсуждения в директивных органах, всегда в случае моего несогласия с предварительным решением, докладывал ЦК о своей точке зрения, как это было и по делу ЛОЗОВСКОГО, о чем я скажу ниже.

По указанию руководства Верховного Суда СССР дело это рассматривалось в судебном заседании под моим председательством вместе с двумя другими членами суда в течение длительного времени — с 8 мая по

18 июля 1952 года, т.е. более двух месяцев, и вызвано это было не только большим объемом дела, но и тем, что в ходе судебного процесса у нас, у судей, появилось много сомнений в правдоподобности предъявленных ЛОЗОВСКОМУ и другим обвинений.

Следует показать, что в то время у Верховного Суда СССР не было специального помещения, где бы можно было проводить судебные процессы, и мы были вынуждены слушать это дело в зале клуба МГБ СССР, где, как после выяснилось, б. зам. министра МГБ СССР Рюмин не только не помогал объективно разобраться с делом, но и мешал и неоднократно угрожал мне за желание тщательно разобраться с делом.

После тщательного изучения материалов следствия до судебного заседания я установил следующую историю возникновения этого дела.

В 1946 году сотрудниками аппарата ЦК КПСС было произведено обследование деятельности Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). В записке, составленной в результате обследования, утверждалось довольно подробно с приведением множества фактов, что деятельность этого комитета носит ярко националистический характер и он далеко зашел за пределы своей компетенции (пропаганда борьбы с фашизмом, пропаганда наших экономических и культурных достижений), в результате он стал как бы центром притяжения для еврейских националистов. В записке был сделан вывод лишь о необходимости роспуска ЕАК. В 1947 г. эта записка б. Секретарем ЦК КПСС тов. Кузнецовым была направлена б. министру МГБ СССР Абакумову (осужден) для расследования.

В 1947 г. Лозовский был снят с работы в Совинформбюро за проявление национализма и злоупотребления по службе, а затем был исключен решением ЦК КПСС из партии.

В 1947 г. Абакумовым были арестованы некий Гольдштейн и Гринберг, которые на неоднократных допросах в МГБ СССР показали, что под руководством членов президиума ЕАК в СССР ведется антисоветская националистическая и шпионская деятельность. В сентябре 1948 г. был арестован член президиума ЕАК ГОФШТЕЙН, а в декабре 1948 г. ответственный секретарь ЕАК ФЕФЕР, которые на первых допросах

дали подробные показания об антисоветской деятельности членов президиума ЕАК, проводимой под руководством ЛОЗОВСКОГО, руководившего до 1946 г. работой комитета.

В январе 1949 г. Абакумовым были арестованы ЛОЗОВСКИЙ и другие лица, осужденные по этому делу.

Все арестованные, в том числе и ЛОЗОВСКИЙ, на допросах признали себя виновными в националистической и шпионской деятельности в пользу США и в том, что якобы ЕАК был подпольным центром националистической и шпионской деятельности. К концу предварительного следствия четверо из арестованных — БРЕГМАН, ШИМЕЛИОВИЧ, ШТЕРН и МАРКИШ отказались от своих показаний и отрицали свою вину. Это обстоятельство было скрыто Рюминым от директивных органов.

В следствии по этому делу, помимо Абакумова и Рюмина, который заканчивал расследование дела и докладывал его в ЦК, участвовали 34 следователя (часть которых осуждена). За следствием наблюдало несколько военных прокуроров, которые участвовали в допросах арестованных.

До начала процесса нам, судьям, Рюминым и прокурорами было сообщено, что длительный период времени (месяцев 6) все арестованные находились в тюрьме, которой ведал б. председатель КПК Шкирятов и который также проверял предъявленное обвинение арестованным путем их личных допросов (в деле есть такие протоколы допроса Лозовского и других). Надо отметить, что ЛОЗОВСКИЙ на допросах давал Шкирятову яркие показания о своей и др. антисоветской деятельности.

Все это — установление обследованием, произведенным группой работников аппарата ЦК, фактов националистической деятельности ЕАК, признание своей вины на следствии почти всех арестованных, показания многочисленных свидетелей обвинения, участие в следствии военных прокуроров, проверка дела быв. председателем КПК Шкирятовым, которому мы раньше верили, наконец, упомянутое выше решение политбюро ЦК КПСС — создавало впечатление перед судебным процессом о том, что дело якобы расследовано объективно и обвинение предъявлено было всем арестованным правильно.

К этому надо было прибавить, что и общественное мнение в отношении арестованных по этому делу, как известно, тогда было создано отрицательное.

Для объективного подкрепления обвинения Рюминым была произведена литературная экспертиза, которая дала заключение о том, что в своих литературных работах обвиняемые проводили националистическую деятельность, другие эксперты подтвердили, что при посредстве обвиняемых в США было послано много статей, в которых содержались сведения, составляющие государственную тайну. Эксперты, являясь членами КПСС, вместе с тем были и крупными специалистами в своей области знаний.

Для большей убедительности обвинения Абакумовым и Рюминым были подобраны в качестве обвиняемых в прошлом опороченные перед Советской властью.

Так, обвиняемые КВИТКО, ГОФШТЕЙН, МАРКИШ, ТАЛЬМИ, БЕРГЕЛЬСОН (литераторы) бежали после Октябрьской революции в Германию, США, Палестину, откуда возвратились некоторые из них лишь в 1930 г., обвиняемые ВАТЕНБЕРГ И. (в прошлом один из крупных руководителей партии «Поалей-Цион» в Австрии и США) и его жена ВАТЕНБЕРГ Ч. прибыли из США в СССР в 1938 г. Остальные обвиняемые в прошлом — выходцы из чуждых нам партий и имели близкие родственные связи с заграницей.

В доказательство вины ЛОЗОВСКОГО приводилось и то, что он дважды в 1914-м и 1917 г. по настоянию т. Ленина за антипартийную деятельность исключался из партии и что в 1918-м и 1919 г. являлся организатором и руководителем партии с.д. интернационалистов.

Эти биографические данные всех подсудимых подтвердились на суде и отвечали действительности, но они вместе с тем сами по себе не могли являться основным доказательством их вины без других объективных данных, подтверждающих их участие в антисоветской деятельности в период их работы в ЕАКе в 1942—1946 гг.

В первые же дни процесса у состава суда возникли сразу сомнения в полноте и объективности расследования дела.

До начала судебного следствия ряд осужденных заявили ходатайства о приобщении документов, опро-

вергающих их обвинение, в чем им при расследовании дела было отказано.

На первый вопрос суда — признают ли они себя виновными — 5 из 15 обвиняемых стали отрицать свою вину полностью, ссылаясь на то, что их показания на следствии были неправильные и даны ими вынужденно, под физическим воздействием со стороны следователей. Остальные подсудимые признавали вину либо полностью, либо частично.

В то время, как все подсудимые признавали отдельные факты проявления национализма в своих литературных работах и в деятельности ЕАК, подсудимый ФЕФЕР упорно на протяжении многих дней изобличал всех подсудимых в антисоветской деятельности, в том числе и ЛОЗОВСКОГО, как организатора и руководителя этой преступной организации. Однако под влиянием перекрестного допроса на суде ФЕФЕР стал давать путаные, не внушающие доверия показания.

После длительного и тщательного исследования на суде материалов дела в целях установления объективной истины я решил устроить отдельные закрытые допросы подсудимых, свидетелей и экспертов вне стен МГБ СССР, в одной из комнат Военной коллегии. Это было необходимо сделать и потому, что быв. зам. МГБ СССР Рюмин был заинтересован в исходе дела и мешал объективному рассмотрению. По поведению отдельных подсудимых можно было предполагать, что следователи в перерывах влияют на них. Рюмин установил подслушивание судей в их совещательной комнате, на ряд недоуменных наших вопросов к нему по поводу следствия он и его помощники явно говорили нам неправду.

На закрытом отдельном допросе, спустя месяц после начала процесса, подсудимый ФЕФЕР заявил суду, что он с 1944 года являлся негласным сотрудником МГБ СССР[1], что после ареста и угроз избиением под-

[1] По инициативе А. А. Чепцова Военная коллегия произвела проверку и установила, что это заявление соответствует действительности. И. Фефер действовал под псевдонимом «Зорин» и выполнял задания своих хозяев не только до, но и во время процесса. Он слишком поздно понял, что обманут и что его ждет та же участь, как и тех, на кого он «стучал». Фефер отважился, наконец, на правдивый рассказ перед судьями, но судьба его была предрешена.

писывал все протоколы допросов, изготовленные следователями и что перед судебным процессом был предупрежден следователем о необходимости подтверждать свои показания на суде. В дальнейшем в ходе процесса он стал подтверждать лишь отдельные факты националистических проявлений со стороны своей и др. подсудимых в их литературной деятельности и в работе их в ЕАК.

Аналогичные показания дал и подсудимый ЮЗЕФОВИЧ, который являлся секретным сотрудником МГБ с 1938 г.

Вызванные в суд эксперты-литераторы, хотя и подтвердили отдельные факты националистического проявления в еврейской литературе и деятельности ЕАК со стороны каждого из подсудимых (пропаганда исключительности и обособленности еврейского народа, идей внеклассового единения евреев всего мира и воспевание библейских образов и пр., постановка вопроса о создании в Крыму еврейской автономной республики, организация трудоустройства евреев, требование открытия отдельных школ для евреев, обсуждение вопросов быта евреев, обсуждение вопросов помощи государству Израиль и др. вопросов, выходящих за пределы компетенции ЕАК).

Однако на суде не было добыто доказательств существования подпольного националистическо-еврейского центра, так как все эти националистические проявления проводились легально и, я бы сказал, при попустительстве надлежащих органов. В свою очередь подобная практика в работе ЕАК явилась результатом того, что вокруг комитета группировались действительные националистические элементы.

Это предположение суда было впоследствии подтверждено Генеральным прокурором СССР при проверке им дела в 1955 г.

Обвинение в шпионской деятельности подсудимых в пользу США на суде также не было достаточно доказано, а по отдельным актам было опровергнуто. Все обвиняемые эту часть отрицали. Вызванные в суд эксперты по этому пункту обвинения при допросе резко изменили свое прежнее заключение, не могли подтвердить секретности сведений, помещенных в отдельных статьях, отосланных ЕАКом в Англию и США;

не могли объяснить, какое отношение имеют подсудимые к авторству этих статей и их отсылке в США, не представили доказательств тому, что действительно ли эти статьи отосланы в США, признали, что превысили свои полномочия, утверждая в акте экспертизы, что подсудимые занимались шпионажем, и, наконец, 2 эксперта, подписавшие акт экспертизы, признали, что они увидали друг друга только на суде.

На мои требования к Рюмину и его помощнику Гришаеву представить нам доказательства того, что находившиеся некоторое время в Москве американцы Гольдберг и Новик являются американскими разведчиками, как это голословно утверждалось в обвинительном заключении, Рюмин и Гришаев от этого уклонились.

Между тем подсудимый ЛОЗОВСКИЙ и другие обвинялись в передаче этим американцам шпионских сведений, в частности, ЛОЗОВСКИЙ обвинялся в передаче американцу Гольдбергу записки о колониальной политике Англии, составленной институтом № 205 при ЦК КПСС и якобы содержащей секретные сведения.

Лично я навел справки в отделе ЦК КПСС и установил, что американец Новик являлся к моменту судебного процесса членом компартии США с 1921 г., редактором коммунистической газеты в США, а Гольдберг — прогрессивный деятель США, положительно настроенный к СССР. Вызванный в суд свидетель Пухлов — сотрудник отдела ЦК КПСС — показал, что упоминаемая записка составлялась им, что секретных сведений не содержала и передана ЛОЗОВСКОМУ для передачи Гольдбергу с ведома отдела ЦК.

На предварительном следствии ФЕФЕР утверждал, что при поездке его и МИХОЭЛСА в 1943 г. в США они по заданию ЛОЗОВСКОГО и ЕАК вошли в связь с некоторыми американскими капиталистами, договорились с ними о материальной помощи, о проведении националистической деятельности в СССР и передали им шпионские сведения.

Однако на суде он это стал отрицать и заявил, что все встречи их в США с американцами контролировались работниками посольства СССР, назвал их фами-

лии, однако на следствии никто из них не был допрошен.

Все это выяснилось к концу судебного процесса. Ясно, что выносить приговор по этому делу при таких непроверенных и сомнительных материалах было нельзя.

В ходе длительного судебного следствия я часто в перерывах заходил к б. министру МГБ СССР т. Игнатьеву, которого информировал о том, что происходит на процессе, ибо я ему верил как партийному работнику, как и сейчас верю в то, что он был и есть честный, партийный работник. Я ему говорил, что есть факты фальсификации со стороны Рюмина и его следователей и что Рюмин обманывает его. Рюмина эти же мои действия озлобляли. Я лишь после смерти т. Сталина из объяснений т. Игнатьева, данных им ЦК КПСС по делу врачей, узнал, что Рюмин пользовался полным доверием т. Сталина, который в то же время т. Игнатьеву не доверял. Этим я только объясняю, что т. Игнатьев не мог меня тогда поддержать по делу ЕАК, а может быть, в этом сказалась его неопытность в работе МГБ.

Прервав процесс в начале июля 1952 г., я обратился к быв. Генеральному прокурору т. Сафонову с просьбой совместно со мной пойти в ЦК КПСС и доложить о необходимости возвращения дела на доследование. Однако он от этого отказался, заявив мне: «У тебя есть указание Политбюро ЦК, и выполняй его». Не поддержал меня и б. Председатель Верховного Суда СССР т. Волин. Тогда я обратился по телефону к бывшему Председателю КПК при ЦК КПСС Шкирятову, который сам вел следствие по делу ЛОЗОВСКОГО и др., но он, узнав от меня, что я хочу ставить вопрос о возвращении дела на доследование, заявил мне, что он убежден в виновности ЛОЗОВСКОГО и др., отказался меня принять и рекомендовал обратиться к секретарям ЦК.

Я тогда, как и многие, верил ему, как совести нашей партии, и не мог предполагать, что он был двурушником.

После этого я информировал тов. Шверника Н. М., бывш. тогда Председателем Президиума Верховного Совета СССР, и получил от него совет обратиться с

этим вопросом к секретарю ЦК Маленкову. Я позвонил по телефону Маленкову и просил его принять и выслушать меня. Узнав от меня, что я хочу с ним говорить о возвращении дела ЛОЗОВСКОГО и др. на доследование, он мне сказал, что подумает и, возможно, вызовет.

До встречи с Маленковым я о положении с этим делом подробно проинформировал быв. зав. административным отделом ЦК КПСС т. Громова Г. П., который одобрил мою позицию по делу и также рекомендовал обратиться к Маленкову. В этот период времени я был вызван к б. секретарю ЦК КПСС т. Пономаренко для переговоров относительно возможного моего возвращения на работу в аппарат ЦК КПСС, где я работал до перехода моего на службу в прокуратуру, а затем в конце 1948 г. в Военную коллегию.

Я тогда подробно доложил т. Пономаренко о моих сомнениях по делу ЛОЗОВСКОГО в присутствии т. Громова и его заместителя т. Егорова и получил тот же совет — обратиться к Маленкову.

Через несколько дней я был вызван к Маленкову, который помимо меня вызвал также к себе Рюмина и т. Игнатьева.

Я полагал, что Маленков меня поддержит и согласится с моими доводами о возвращении дела на доследование для тщательной проверки всех материалов обвинения. Однако этого не случилось. Он, видимо, больше верил подобным проходимцам, пролезшим в МГБ СССР, как Рюмин. Выслушав мое сообщение о доводах к возвращению дела к доследованию, изложенных выше, он дал слово Рюмину, который стал меня обвинять в либерализме к врагам народа, в том, что я намеренно тяну рассмотрение дела свыше двух месяцев и тем самым ориентировал подсудимых на отказ от показаний, данных ими на следствии, обвинял в клевете на органы МГБ СССР и отрицал применение физических мер воздействия к ЛОЗОВСКОМУ и др. Я вновь заявил, что Рюмин творит беззаконие, однако Маленков, задав мне несколько вопросов о работе Военной коллегии, заявил буквально следующее: «Что же вы хотите нас на колени поставить перед этими преступника-

ми, ведь приговор по этому делу апробирован народом, этим делом Политбюро ЦК занималось 3 раза, выполняйте решение ПБ». Я был тогда обескуражен таким ответом. Ведь Маленкова тогда мы знали как ближайшего помощника т. Сталина, верили ему, не допускали мысли, чтобы он был недостойным руководителем партии, каким он предстал перед нами после разоблачения его фракционной деятельности против нашей партии.

Я тогда, предполагая, что он до приема меня докладывал этот вопрос т. Сталину, чему у меня некоторое подтверждение есть, заявил Маленкову, что я передам его указание судьям, что мы, как члены партии, исполнили свой долг, доложив в ЦК свои сомнения по делу, выполним указание Политбюро с убеждением, что у Политбюро ЦК по этому делу есть особые соображения.

После беседы с Маленковым в здании ЦК меня догнал Рюмин и, обругав меня площадной бранью, угрожал мне расправой. Как установлено следствием по делу Рюмина, он в VIII и IX-1952 г. начал готовить материалы на меня.

Выполнив указание Маленкова и осудив ЛОЗОВСКОГО и других к тем мерам наказания, которые нам были указаны, я вопреки настояниям Рюмина о немедленном приведении приговора в исполнение предоставил всем осужденным право на подачу просьб о помиловании с тем, чтобы помимо обсуждения в Президиуме Верховного Совета СССР этих просьб, в которых все подсудимые категорически отрицали свою вину, вопрос этот еще раз был бы предметом обсуждения в Политбюро ЦК, так как тогда существовал порядок, по которому решения Президиума Верховного Совета СССР о помиловании осужденных к смертной казни утверждались Политбюро ЦК КПСС. Кроме того, на имя т. Сталина после вынесения приговора мною было направлено заявление ЛОЗОВСКОГО, в котором он полностью отрицал свою виновность. Однако никаких указаний не поступило, и приговор был приведен в исполнение.

Считаю, что я принял все зависящие от меня меры к законному разрешению этого дела, но меня в тот момент абсолютно никто не поддержал, и мы, судьи,

тогда, как члены партии, вынуждены были подчиниться категорическому указанию б. секретаря ЦК Маленкова.

ЧЛЕН КПСС С 1927 года —
партбилет № 04521575
15.08.1957 (А. ЧЕПЦОВ)

Казнь свершилась 12 августа 1952 года. Аресту или высылке подверглись все близкие и дальние родственники осужденных — им даже не сообщили ни о самом процессе, ни о его результатах. У некоторых продолжали принимать передачи для своих арестованных мужей уже после того, как те были расстреляны.

Все внимание было переключено теперь на «дело врачей». В тюрьме уже находились самые выдающиеся медики страны, среди них брат Михоэлса — виднейший терапевт, генерал, профессор Меер Вовси. Причем отнюдь не только евреи: профессор Владимир Виноградов (личный врач Сталина), Борис Егоров, Николай Шерешевский и другие широко известные деятели медицинской науки и практики. Но все они, независимо от происхождения, считались агентами международного сионизма. Им вменялось в вину умерщвление Жданова и Щербакова, подготовка террористических актов против Сталина и его соратников.

Суд над Лозовским и другими проходил втайне, суду над врачами предстояло стать публичным, то есть исполнить ту задачу, которая первоначально возлагалась на дело ЕАК. Ни об аресте деятелей ЕАК, ни о вынесенном им приговоре нигде не сообщалось, о «злодеяниях» же врачей было сообщено заблаговременно, причем (случайно ли?) эта радостная весть пришла к советскому народу (и ко всему миру) точно в пятую годовщину (день в день!) убийства Михоэлса: 13 января 1953 года. Отвлекая внимание доверчивых простаков на Западе, через несколько дней после этого Сталин выдал премию мира, носившую его имя, Илье Эренбургу. Меж тем газеты захлебывались от славословий в честь доктора Лидии Тимашук, награжденной орденом Ленина «за помощь в разоблачении врачей-

убийц». Две кликушествующие дамы от журналистики, сочинившие оды новоявленной героине, — Елена Кононенко и Ольга Чечеткина — обессмертили этим свои имена. Донос заурядной стукачки, утверждавшей, что Жданова умертвили лечащие врачи, поступил еще при Абакумове, который не придал ему серьезного значения. Теперь это ставилось ему в вину. Вряд ли когда-нибудь мы узнаем, была ли Тимашук подсуетившейся одиночкой, действовавшей на свой страх и риск, или выполняла чье-то секретное поручение. Так или иначе, ее дерзкая акция пришлась ко двору.

Статья в «Правде» о «врачах-убийцах», давшая начало новому витку оголтелой антисемитской кампании, появилась после того, как схема будущих событий была уже полностью разработана и утверждена. Короткая, но массированная пропагандистская кампания завершается публичным процессом, где выносятся, разумеется, всем без исключения смертные приговоры. Казнь совершается на Красной площади. Разъяренная толпа намеревается вырвать несчастных у охраны, чтобы подвергнуть их суду Линча, но солдаты героически отбивают натиск толпы. Осужденных вешают на Лобном месте. Немедленно вслед за этим повсеместно начинаются еврейские погромы. На следующий день «Правда» печатает, а радио передает обращение знаменитостей еврейского происхождения Сталину — просьбу спасти их соплеменников от справедливого народного гнева депортацией в безлюдные районы Дальнего Востока, где они должны будут искупать вину убийц и предателей. Сталин отечески соглашается удовлетворить эту просьбу.

Есть серьезные свидетельства того, что идея депортации принадлежит доктору философских наук Дмитрию Чеснокову, главному редактору журнала «Вопросы философии», который совершенно неожиданно в октябре 1952 г., на XIX съезде партии, стал членом президиума ЦК (то есть, по старой и позднейшей терминологии, членом политбюро) и переместился в кресло главного редактора журнала «Коммунист», что в партийной иерархии считалось значительно более высоким постом. Скорее всего, бурным скачком своей карьеры он обязан именно этой, истинно философской идее. К началу весны 1953 г., когда идея должна была

воплотиться в жизнь, Чесноков успел уже подготовить теоретический труд, где научно обосновывал с марксистско-ленинских позиций историческую неизбежность и справедливость принятых партией и лично товарищем Сталиным мер[1].

Процесс намечался на март, но уже в феврале были наспех сколочены на Дальнем Востоке тысячи непригодных даже для хлева бараков (есть непроверенная версия, будто они были подготовлены еще раньше), запасные пути под Москвой забили товарными вагонами без нар, в отделениях милиции крупных городов срочно составлялись списки подлежащих депортации граждан, а двое других ученых, ничуть не менее знаменитых, — историк Исаак Минц и философ Марк Митин, оба академики, вкупе с журналистом Яковом Хавинсоном, который одно время состоял директором ТАСС и был известен под псевдонимом «Маринин», сочинили текст того самого письма, на которое должен был великодушно откликнуться великий Сталин. Будущих «авторов» по заранее заготовленному списку вызывали в редакцию «Правды», в кабинет омерзительного перевертыша Давида Заславского, ставшего штабом всей операции. Почти все согласились письмо подписать (как ни горько, даже Василий Гроссман), и ни одного, я думаю, нельзя упрекнуть за это. Но иные, однако же, отказались — под каким-то благовидным предлогом. Отказался генерал Яков Крейзер. Отказался певец Марк Рейзен. Отказался писатель Вениамин Каверин. Но главное — отказался Илья Эренбург. Главное — потому что он не просто отказался, а в тот же день написал Сталину письмо. Текст письма опубликован французским биографом И. Эренбурга Эвой Берар. Поскольку у нас о самом наличии такого письма и писалось, и говорилось, но текст его неизвестен, я вынужден, не имея оригинала, привести его в обратном переводе с французского.

---

[1] Пребывание философа на партийном Олимпе длилось недолго. Уже 6 марта 1953 г., на следующий день после смерти вождя, он был оттуда изгнан. Но карьера его продолжалась. Он побывал и первым секретарем Горьковского обкома, и председателем Государственного комитета по радио и телевидению, и на других крупных постах. До самой смерти в 1973 г. так ни разу и не напомнил о самой блестящей из своих философских концепций.

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Ввиду исключительной важности проблемы, с которой я столкнулся и которую я не могу решить сам, позволяю себе побеспокоить Вас.

Товарищ Минц и товарищ Маринин ознакомили меня сегодня с текстом письма в «Правду» и предложили мне подписать его. Считаю своей обязанностью поделиться с Вами моими сомнениями и попросить Вашего совета.

Я полагаю, что единственным радикальным решением еврейской проблемы в нашем социалистическом государстве является ассимиляция и слияние людей еврейского происхождения с теми народами, среди которых они живут. Я боюсь, что коллективная инициатива, исходящая от некоторого числа представителей русско-советской культуры, которых не объединяет ничего, кроме их происхождения, рискует обострить националистические тенденции.

Меня очень беспокоит тот удар, который может быть нанесен этим «письмом в редакцию» по нашим усилиям углубить и расширить всемирное движение за мир. Каждый раз, когда меня спрашивали в разных комиссиях и на пресс-конференциях об исчезновении в Советском Союзе школ и газет на языке идиш, я неизменно отвечал, что «черта оседлости» полностью уничтожена после войны и что новые поколения советских граждан еврейского происхождения не желают быть изолированными от тех народов, среди которых они живут. Публикация письма, подписанного учеными и композиторами еврейского происхождения, рискует оживить гнусную антисоветскую кампанию.

Для прогрессивных французов, итальянцев или англичан термин «еврей» означает не национальность, а исключительно религиозную принадлежность, и клеветники могут использовать это «письмо в редакцию» в своих подлых целях.

Вы понимаете, дорогой Иосиф Виссарионович, что я не могу сам принять категорическое решение, и лишь поэтому я решаюсь писать Вам. Речь идет о важном политическом шаге, и поэтому я позволяю себе просить Вас поручить кому-либо поставить меня в известность о Вашем отношении к моему отказу поставить подпись под этим документом. Если ответственные товарищи

проинформируют меня о том, что публикация письма и моя подпись могут принести пользу защите Родины и Движению за мир, тогда я подпишу «письмо в редакцию»[1].

Есть свидетельства, что «ответственными товарищами», которым Сталин поручил побеседовать с Эренбургом, были Маленков и Каганович. Но это не столь важно. Гораздо важнее то, что акция затормозилась. А может быть, и была отменена. Может быть, ибо мы не знаем в точности, что было бы, если бы процесс все-таки состоялся. Он не состоялся: дорогой Иосиф Виссарионович скончался. Сам по себе или при помощи Лаврентия Павловича — за пределами этого очерка. Александр Яковлев в интервью, которое он дал французскому советологу Лили Марку, полагает, что письмо Эренбурга сыграло важную роль в принятом Сталиным решении. Значит, процесс врачей не состоялся бы? После поднятого шума это было бы невозможно. Провести его при закрытых дверях тоже было невозможно — по тем же причинам. Но публичный процесс неизбежно предполагал выводы. Какими бы они были?

Первой, естественно, вышла на волю Полина Жемчужина — на второй день после похорон Сталина: Берия ее вручил лично мужу в старом своем кабинете — он снова (на «сто дней»!) вернулся к рулю Лубянки.

4 апреля (со дня смерти тирана прошел лишь месяц) весь мир облетела новость: врачи ни в чем не виновны, их «признания» получены строжайше запрещенным законом путем. Называлось и имя «главного виновника» — Михаила Рюмина. Он к тому времени в

---

[1] Вряд ли И. Эренбург не знал, что профессиональные борцы за мир и штатные «прогрессивные деятели» Запада (не все, конечно, но многие) как поддерживали раньше любую акцию Кремля, так поддержали и на этот раз. В хорошо ему известной и горячо любимой Франции видные «левые» дружно запели в унисон с советской печатью, проклиная врачей-убийц — агентов международного сионизма: Жорж Коньо, Пьер Эрве, Максим Родинсон, Франсис Кремье, Анни Бесс, хорошо известная теперь как Анни Крижель. Но, даже зная все это, Эренбург «бил» точно, используя те единственные аргументы, которыми располагал и которые могли подействовать на его адресата.

МГБ уже не работал: быстро разочаровавшись в своем новом любимце, Сталин в ноябре 1952 года перевел его в Министерство госконтроля СССР старшим государственным контролером. Министром был человек Берии — Всеволод Меркулов. Не исключено, что Берия и подобрал Рюмину место: чтобы контролер все время был под контролем.

Арестовал Рюмина уже 16 марта ныне широко известный полковник Хват, мучитель Николая Вавилова, а указание об аресте дали самые близкие Берии люди — Богдан Кобулов и Павел Мешик, вместе с Берией казненные в конце того же года. Еще один ближайший сотрудник человека в пенсне — Лев Влодзимирский (и он будет казнен вместе с Берией), занявший пост, недавно принадлежавший Рюмину (начальник следственной части по особо важным делам), теперь руководил следствием по его делу. Он и написал Берии рапорт (от 15 мая 1953 г.), красноречиво говорящий сам за себя: «...Рюмин на допросах ведет себя вызывающе, голословно отрицает свою виновность... Нахально отвергает правильность предъявленных ему фактов, избрал это методом поведения на следствии... Считаем необходимым (подписано вместе с полковником Соколовым —*А. В.*) наказать Рюмина, поместив его в карцер Лефортовской тюрьмы». Берия наложил резолюцию: «Согласен», подтвердив тем самым, что перемен в его ведомстве нет и не предвидится.

Не знаю, карцер ли подействовал, пытки или совесть заговорила, но в июле пятьдесят третьего Рюмин признал, что следствие по делу ЕАК «велось необъективно... показания арестованных в ряде случаев фальсифицированы...

Я лично допрашивал арестованных Шимелиовича и Маркиша... Показания по наиболее важным вопросам и, в частности, по шпионажу, а также относительно создания Еврейской Республики в Крыму при корректировке (!! —*А.В.*) были слишком усилены. При подписи протокола Шимелиович возражал против необъективных записей, однако я сумел уговорить его и только лишь в одном случае, где речь шла о создании Еврейской Республики в Крыму, разрешил ему внести в текст протокола собственноручные исправления.

Через некоторое время после подписания этого

протокола Шимелиович написал заявление о том, что от всех своих показаний он отказывается... Отказ от показаний протоколом допроса оформлен не был. Причем еще в тот период, когда дело Шимелиовича находилось в производстве другого следователя, то к арестованному применялись жестокие меры физического воздействия.

Должен признать, что в 1952 г., когда я уже являлся заместителем министра госбезопасности, многие арестованные по делу ЕАК на допросах делали попытку отказаться от своих показаний как от вымышленных, однако я запретил передопрашивать арестованных и записывать их отказ, заявив, чтобы следователи не подвергали ревизии показания, которые арестованные давали ранее...

Когда суд пытался возвратить это дело на доследование, я настаивал на том, чтобы был вынесен приговор по имеющимся в деле материалам... Я постоянно чувствовал и понимал, что рано или поздно за эти преступления следственным работникам, в том числе и мне, придется нести ответственность».

Дело Рюмина, сравнительно небольшое по объему и, судя по всему, расследовавшееся в ускоренном порядке, примечательно тем, что такие, поражающие своей откровенностью (впрочем, кто знает, как полученные) показания перемежаются однообразными рапортами следователей примерно такого содержания (цитирую рапорт следователя Кузяйкина): «...Начиная с сентября 1953 г. Рюмин ведет себя неискренне, шантажируя следователей своей якобы близостью к руководителям Советского государства, высказывает угрозы». Не прознал ли он уже, что арестовавшие его, допрашивавшие и даже загнавшие в карцер Лефортовской тюрьмы Берия, Кобулов, Мешик, Влодзимирский и прочие сами уже под арестом и что опять, в который раз, все ошеломительно меняется, делая немыслимо крутые повороты, суля надежду на перемену и в его судьбе.

Но этой надежды, конечно же, не было. Никакой. Новым временщикам он был совершенно не нужен. В июле 1954 г. Рюмина предали суду. Его судили генерал-лейтенант юстиции Зейдин и генерал-майоры юстиции Степанов и Сюльдин: эти имена или совсем

не встречаются или встречаются крайне редко в делах, которые рассматривала военная коллегия Верхсуда СССР периода «культа личности». За Рюминым тянулся длинный шлейф злодеяний — одно их перечисление увело бы нас далеко в сторону, каждая загубленная судьба, которая была на его совести (не было совести, значит, и на ней ничего не было), заслуживает отдельного рассказа. Приведу лишь один документ, ибо касается одного из героев этого очерка. Уже известный нам Павел Гришаев подтверждает 15 апреля 1953 г., что «вместе с Рюминым оформлял 19 октября 1951 г. арест Райхмана[1], Эйтингона[2] и Шейнина, причем никаких материалов на них вообще не было. Рюмин тогда объяснил, что арест якобы производится по указанию главы Советского правительства, который, просматривая показания Шварцмана, принял такое решение». Увы, придется защитить и Рюмина, и Гришаева: все так и было не «якобы», а на самом деле — указание дал Сам...

Суд установил, что Рюмин лично истязал как арестованных деятелей ЕАК, так и арестованных по делу врачей профессора Бусалова и профессора Василенко, используя не только металлические палки, но и каленое железо...

Смертный приговор, вынесенный 7 июля 1954 г., Рюмин обжаловать не мог, но подал ходатайство о помиловании, которое по заключению генерального

[1] Леонид Федорович Райхман — генерал-лейтенант КГБ. Имеет прямое касательство к Катыньской трагедии, к темным аферам вокруг Нюрнбергского процесса и прочим операциям Лубянки. В пятидесятые годы дважды арестовывался и дважды освобождался. В книге «Сталинская секретная полиция», изданной в 1985 г., Роберт Конквест пишет, что Райхман расстрелян. Между тем он благополучно здравствовал в своей московской квартире до марта 1990 г., успешно занимаясь космологией. Беседовавший с ним журналист Владимир Абаринов характеризует его как «неординарную личность». В сороковые — пятидесятые годы был женат на народной артистке СССР, выдающейся балерине Ольге Лепешинской, которая сначала была с ним, по предположению В. Абаринова, в деловых отношениях. Арест Л. Ф. Райхмана прервал этот союз.

[2] Наум (Леонид) Александрович Эйтингон вошел в историю дважды: как «генерал Котов», участвовавший в гражданской войне на испанской земле, командуя партизанскими силами, которые действовали в тылу франкистских войск, и под собственным именем как руководитель операции по убийству Троцкого. Успех принес ему сначала ордена, в том числе орден Ленина, а потом тюрьму.

прокурора СССР Романа Руденко было отклонено. 22 июля 1954 г. Рюмина расстреляли. А жертвы его — те, что остались в живых, постепенно, не торопясь (сами-то они торопились, а юстиция не очень), возвращались домой. Вернулись Аллилуевы, вернулась из джамбульской ссылки академик Лина Штерн, вернулись арестованные и высланные родственники казненных по делу ЕАК. Даже получив разрешение вернуться, они все еще продолжали подвергаться унижениям и преследованиям. Им долго не сообщали о том, что же сталось с их мужьями, отцами, братьями, потом отказали в московской прописке, потребовав срочно покинуть столицу. Этому издевательству пришел конец лишь после того, как состоялся, наконец, акт формальной реабилитации.

Прокуратура долго и тщательно проводила новую проверку, хотя абсурдность обвинений, возведенных на честных людей, была очевидна для любого непредубежденного человека. Лишь 22 ноября 1955 г. состоялось заседание военной коллегии, которое вел (случай едва ли не уникальный) сам председатель Верховного суда СССР А. А. Волин. Приговор 1952 года был отменен за отсутствием в действиях осужденных состава преступления.

На этом акте элементарной и запоздалой человеческой справедливости по-прежнему стоял гриф «совершенно секретно». Он остается на нем до сих пор.

СОДЕРЖАНИЕ

Ваксберг А.
В 14 Нераскрытые тайны. — М.: Изд-во «Новости», 1993. — 304 с. (Серия „Время. События. Люди")

ISBN 5-7020-0429-9

Палачи и жертвы эпохи Большого Террора — тема книги Аркадия Ваксберга. В нее вошли очерки, тематически, хронологически и сюжетно связанные друг с другом. Внутренняя драматургия оправдала и сделала органичным соседство под одной обложкой героев и мучеников с их убийцами, многие из которых разделили судьбу своих жертв.

В $\frac{4700000000}{067(02)\text{-}93}$ **Без объявл.**

ББК 67.99(2)95

Аркадий Иосифович Ваксберг
НЕРАСКРЫТЫЕ ТАЙНЫ

Заведующий редакцией	*Л. Д. Соболев*
Редактор	*Е. И. Бонч-Бруевич*
Младший редактор	*Н. В. Потатуева*
Художественный редактор	*А.И. Хисиминдинов*
Фоторедактор	*Т. Д. Рождественская*
Корректор	*А. А. Иванов*
Технический редактор	*Л. А. Крюкова*
Технолог	*В. И. Руденко*

ИБ 10527

Сдано в набор 25.06.92. Подписано в печать 16.10.92.
Формат 84×108/32. Гарнитура Таймс. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л. 17,31. Тираж 25000 экз.
Заказ № 220. Изд. № 8995.

Издательсто «Новости»
107082, Москва, Б. Почтовая ул., 7.

Отпечатано с готовых диапозитивов в Московской типографии № 13. 107005, г. Москва, Денисовский пер., д. 30.



Все, что пишет Аркадий Ваксберг, этот неутомимый разоблачитель советской действительности, отличается трезвостью анализа и вместе с тем необычайной гражданской страстностью. Его статьи и книги, особенно биография прокурора Вышинского, убедительно свидетельствуют о том, что джинна, выпущенного перестройкой, уже никому не удастся загнать обратно.

Джон ЛЕ КАРРЕ

